This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Июль 1947
1394 5426.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Мая Июня 1947
1394 Б426.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Б - 426

ИВ. ИВАНОВЪ.

ПИСЕМСКІЙ.

Изданіе журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1898.

ИВ. ИВАНОВЪ.

Ivanov, I. F.

ПИСЕМСКІЙ.

Изданіе журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1898.

RM

XII. стр.

Представленія Писемскаго объ идеяхъ и людяхъ сороковыхъ годовъ. 67

XIII.

Вопросъ объ общественныхъ идеалахъ Писемскаго въ дореформенную эпоху. 74

XIV.

Писемскій и крѣпостное право. 79

XV.

Чиновничья служба Писемскаго и его административный идеалъ.—Значеніе службы и провинціальной жизни въ талантѣ и произведеніяхъ Писемскаго. 89

XVI.

Періоды въ литературной дѣятельности Писемскаго.—Основныя задачи его творчества. 97

XVII.

Чиновничій и административный міръ въ произведеніяхъ Писемскаго.—Карьера дореформеннаго школьника. 103

XVIII.

Психологія школьничьей среды. 107

XIX.

Дореформенное общество. 115

XX.

Типы дореформенной интеллигенціи.—Рудины. 123

XXI.

Герои демонизма и разочарованія. 131

XXII.

Крѣпостной народъ.—Его жизнь и его міросозерцаніе въ произведеніяхъ Писемскаго. 138

XXIII.

Горькая судьбина и рѣшеніе крѣпостного вопроса. 146

XXIV.

Тысяча душъ и рѣшеніе чиновничьяго вопроса 153

XXV.

Калиновичъ. 161

XXVI. стр.

Вопросъ о положительныхъ герояхъ Писемскаго. 170

XXVII.

«Простые люди».—Дилемма между художественными изображеніями и личными сочувствіями Писемскаго. 175

XXVIII.

Писемскій и движеніе шестидесятыхъ годовъ. 180

XXIX.

Публицистика Писемскаго. 183

XXX.

Литературная дѣятельность Писемскаго въ пореформенную эпоху.—Откровенная тенденціозность на почвѣ художества.—*Взбаломученное море.* 191

XXXI.

Идейная безвыходность Писемскаго и его искренность—писательская и личная. Публицистическія драмы и послѣдніе романы. 199

XXXII.

Общественное и литературное положеніе Писемскаго въ послѣдніе годы жизни.—Аналогія съ судьбой Гоголя 205

XXXIII.

Писемскій и Гоголь.—Родственныя черты талантовъ и основное различіе натуръ. 211

XXXIV.

Психологическое объясненіе литературной судьбы Писемскаго . . . 218

XXXV.

Заключеніе. 225

ПИСЕМСКІЙ.

I.

Алексѣю Феофилактовичу Писемскому во всей русской литературѣ, точнѣе, въ исторіи русскаго общественнаго сознанія, выпала едва ли не самая исключительная и въ полномъ смыслѣ странная участь. Повидимому, у писателя были—если не всѣ, по крайней мѣрѣ, главнѣйшія основанія разсчитывать на прочную славу и признательность соотечественниковъ. Большой и даже очень большой художественный талантъ у него никто не оспаривалъ и не могъ оспаривать; неподкупность и искренность его литературной дѣятельности также признавалась, она печатно и громогласно была засвидѣтельствована даже такими горячими и тяжелыми на этотъ счетъ судьями, какимъ былъ юношески-откровенный Писаревъ... Чего же еще требуется для увѣнчанія писательскаго имени?

И между тѣмъ, лавры и вѣнки миновали Писемскаго. Правда, слава сначала будто весьма ласково улыбнулась ему. Въ теченіе, по крайней мѣрѣ, десяти лѣтъ его имя было окружено почетомъ и всеобщимъ интересомъ, на страницахъ самыхъ строгихъ журналовъ блистало рядомъ съ именемъ Тургенева, и критики затруднялись рѣшить, какое изъ нихъ звѣзда первой и второй величины. Но это были мимолетные и невозвратные дни. Немногіе годы популярности и почетной извѣстности скоро и безслѣдно потонули въ потокѣ длинныхъ тягостныхъ лѣтъ вражды, насмѣшекъ и даже презрѣнія. Но и на этомъ не кончилась жестокая игра судьбы. Въ смѣхѣ и гнѣвѣ все-таки есть извѣстная страсть, нѣкоторое чувство интереса къ предмету нападеній. Для писателя существуетъ нѣчто несравненно болѣе горькое,—молчаніе, т. е. забвеніе и нравственная смерть. И оно тяжелѣе всего, когда простираетъ свою власть одинаково на современниковъ и на потомство.

Писемскій именно въ этой формѣ вынесъ свою кару.

Задолго до кончины онъ постепенно умиралъ духовно среди старыхъ и молодыхъ поколѣній. Лишь изрѣдка и кое-гдѣ упоминалось его имя и подвергались поверхностному, нерѣдко злорадному суду его новыя произведенія. Когда, наконецъ, пришла смерть, за гробомъ не оказалось ни друзей-читателей, ни поклонниковъ таланта. По словамъ очевидцевъ, всего четыре кареты провожали писателя къ могилѣ, не говорилось сильныхъ рѣчей и періодическая печать холодно и оффиціально отдавала послѣдній долгъ покойнику...

И это не потому, чтобы некому было говорить и писать, не потому, чтобы русское общество вообще не умѣло и не желало оплакивать своихъ утратъ.

Нѣтъ. Всего недѣлю спустя смерть другого писателя вызвала всеобщій трауръ русской интеллигенціи и у многихъ только просто грамотныхъ людей исторгла искреннія слезы. А еще позже похороны третьяго писателя превратились въ «день скорби» для всѣхъ, кому только вѣдома русская литература... И оба покойника были литературные сверстники и сподвижники Писемскаго,—скончавшись въ славѣ, они и за могилой остались любимыми авторами свой родины.

А между тѣмъ, для него до сихъ поръ не настало «потомство», то потомство, которое—принято думать—возмѣщаетъ несправедливости и исправляетъ ошибки современниковъ. До сихъ поръ рѣдко кто сочтетъ одинаково настоятельнымъ долгомъ прочесть сочиненія Тургенева, Достоевскаго, Гончарова и Писемскаго. Послѣдній авторъ, будто, что-то если не совсѣмъ лишнее, то постороннее для русской классической литературы, нѣчто въ родѣ какого-нибудь современнаго журнальнаго беллетриста. Развѣ только случайность и скука могутъ заставить насъ раскрыть книги писателя, когда-то стоявшаго въ одномъ ряду съ своими даровитѣйшими соперниками, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже опережавшаго ихъ.

Какой смыслъ этого факта? Было бы безполезно и неосновательно пускаться въ мелодраматическія жалобы на извѣстное наше равнодушіе и нелюбопытство. Того и другого особенно по временамъ у насъ бываетъ вполнѣ достаточно, и все-таки одною ссылкой на общественные изъяны мы рѣшили бы вопросъ односторонне. Несомнѣнно, есть доля вины и на другой сторонѣ.

Какъ бы общество ни стояло низко по своей умственной куль-

турѣ и отзывчивости, оно всегда ищетъ въ литературѣ и беретъ у нея то, что̀ ему *нужно* и что для него *важно* въ данную минуту. Популярность Писемскаго начала падать съ первой половины шестидесятыхъ годовъ, т. е. въ самую живую и идейно-приподнятую эпоху во всей исторіи русскаго общества. Этимъ объясняется, почему старый приговоръ оказался такимъ прочнымъ и вліятельнымъ.

Направь противъ Писемскаго оружіе насмѣшки и негодованія другіе люди и въ другое время, его звѣзда не покинула бы своего зенита и онъ съ своими творческими силами несомнѣнно выигралъ бы сраженіе. Но нравственно-литературная и въ особенности гражданская авторитетность его противниковъ, по крайней мѣрѣ въ глазахъ современныхъ свидѣтелей борьбы, рѣшили вопросъ не въ его пользу. Шестидесятые годы отвергли и осудили Писемскаго, какъ человѣка и какъ писателя въ самый разгаръ новыхъ общественныхъ теченій. Таковъ, въ общихъ чертахъ, смыслъ рѣшительнаго драматическаго момента въ личной жизни и литературной дѣятельности Писемскаго.

Дальнѣйшій ходъ событій былъ далеко не такого свойства, чтобы устранить или хотя бы отчасти смягчить этотъ моментъ. Напротивъ. Судьбы русскаго общественнаго развитія неуклонно создавали нарочитый темный фонъ, на которомъ прошлое являлось въ новомъ, часто почти идеальномъ свѣтѣ. Идеи и настроенія этого прошлаго пріобрѣтали все бо̀льшую внушительность и обязательность, и его приговоры, особенно въ области литературно-общественной мысли, менѣе всего рисковали подвергнуться пересмотру и отмѣнѣ. Въ результатѣ грозная туча, налетѣвшая когда-то на Писемскаго, многіе годы висѣла и, слѣдуетъ признать,—продолжаетъ висѣть до сегодня надъ его именемъ и его произведеніями.

Мы заранѣе можемъ согласиться, — подобныя кары не совершаются безвинно надъ какими бы то ни было дѣятелями. Но относительно Писемскаго вопросъ въ сильнѣйшей степени усложняется. На писателя возстали именно тѣ, кто раньше осыпа̀лъ его восторженными хвалами и свидѣтельствовалъ объ его нравственной и литературной правоспособности. Она не могла исчезнуть и, какъ увидимъ, дѣйствительно не исчезла до самаго конца, а между тѣмъ, положеніе самого автора въ общественномъ мнѣніи потерпѣло настоящую катастрофу. И—что особенно любопытно—тѣнь, легшая на злополучный періодъ жизни Писемскаго,—распростра-

нилась и на его лучшіе ранніе годы, *цѣликомъ* окутала его талантъ и личность и въ ряду писателей-современниковъ его фигурѣ присудила мѣсто Марино Фальери.

Уже самъ по себѣ подобный эпизодъ, совершившійся на памяти еще живыхъ поколѣній, представляетъ великій психологическій и историческій интересъ. Достаточно самаго поверхностнаго представленія о немъ, чтобы почувствовать здѣсь нѣчто *исключительно-русское*, національное, бытовое въ самомъ строгомъ смыслѣ, чтобы въ личной драмѣ Писемскаго признать единственную въ своемъ родѣ главу европейской литературы. И эта глава могла быть написана только *нами* и при совершенно опредѣленныхъ условіяхъ *нашего* общественнаго просвѣщенія.

Для насъ, слѣдовательно, независимо отъ общаго влеченія къ талантливому писателю, въ характеристикѣ Писемскаго и его дѣятельности существуетъ еще особенная привлекательная сторона. Предъ нами рѣдкій случай яркаго и устойчиваго проявленія общественной мысли, разлада интеллигентнѣйшей публики съ однимъ изъ даровитѣйшихъ представителей художественнаго слова. Процессъ и тяжущіеся, очевидно, заслуживаютъ всего нашего вниманія во всѣхъ отношеніяхъ. Біографія и частныя «приключенія» русскихъ писателей вообще довольно часто смахиваютъ на курьезы и экстренныя происшествія, невѣдомыя въ лѣтописяхъ другихъ литературъ. Но врядъ ли какой еще другой русскій писатель, кромѣ Писемскаго, можетъ бросить столь своеобразный свѣтъ на самобытнѣйшія черты нашей *интеллигенціи* и русскаго *литературнаго дѣятеля*.

Намъ трудно будетъ во всемъ объемѣ воспользоваться выгодами нашего вопроса по очень простой причинѣ. Процессъ, оригинальная тяжба публики съ писателемъ, возникшая тридцать лѣтъ назадъ, не закончилась, въ сущности—даже не перешла въ юридически-спокойное, безпристрастное разбирательство дѣла. Настроенія и чувства, даже не благопріобрѣтенныя, а унаслѣдованныя отъ старшихъ, все еще замѣняютъ личное знакомство съ предметомъ и самостоятельную вдумчивость въ него. Предубѣжденіе, т. е. безсознательно-воспринятое и стихійно-развившееся представленіе—могущественнѣйшій врагъ истины и справедливости. И мы, говоря о Писемскомъ, принуждены считаться именно съ этой силой, и счеты, конечно, становятся тѣмъ рискованнѣе, чѣмъ больше законныхъ основаній у современныхъ читателей питать чувства признательности и уваженія къ бывшимъ противникамъ нашего автора.

Но мы отнюдь не намѣрены интересующую насъ личность превращать въ героя и не питаемъ ни малѣйшей склонности во что бы то ни стало создавать побѣдителей изъ побѣжденныхъ и жертвъ изъ торжествующихъ. Мы увѣрены, сильнѣйшій адвокатъ Писемскаго—самъ Писемскій, и нуждается онъ только въ одной для всякаго талантливаго писателя съ нашей стороны вполнѣ обязательной услугѣ — въ тщательномъ изученіи его таланта и его произведеній. Близкое личное знакомство съ Писемскимъ-авторомъ лучше всего разрѣшитъ спорные вопросы, и наша задача на столько же проста, на сколько и непритязательна. Мы желаемъ опредѣлить собственно не размѣры художественнаго таланта Писемскаго: это сдѣлано давно и безповоротно. Наша цѣль—раскрыть психологическую и нравственную сущность даровитой творческой натуры писателя, привести въ связь съ этой сущностью—смыслъ и содержаніе многочисленныхъ произведеній Писемскаго и установить ихъ историческое и общественно-культурное значеніе въ русской литературѣ.

Рѣшеніе этой задачи прямымъ и, намъ думается, вполнѣ естественнымъ путемъ распутаетъ прискорбный многолѣтній процессъ и вполнѣ точно опредѣлитъ роли обѣихъ сторонъ. А главное, мы разсчитываемъ въ результатѣ нашихъ разсужденій оставить у нашихъ читателей то самое убѣжденіе, какое вызвало насъ на предстоящую работу. При какихъ бы то ни было общественныхъ направленіяхъ, при всевозможныхъ литературныхъ вкусахъ и увлеченіяхъ публики, при самомъ горячемъ и искреннемъ отношеніи къ общимъ вопросамъ и судьбѣ гуманныхъ и просвѣтительныхъ идей, Писемскій долженъ занимать одно изъ виднѣйшихъ и прочныхъ мѣстъ въ ряду нашихъ художниковъ слова и поборниковъ мысли. Да, *поборниковъ мысли*, какъ бы это смѣло ни звучало,—мысли, проникающей творческія созданія истиннаго таланта, даже если бы обладатель лантата преднамѣренно и не стремился къ этому и самъ лично не сознавалъ всей значительности своихъ «поэтическихъ сновъ».

II.

Исконнымъ и неизлѣчимымъ недугомъ русскихъ людей считается чрезвычайная склонность и способность къ подражанію всему иноземному. Всѣ европейскіе народы, попеременно, были учителями и учениками другъ у друга, и цивилизація ничто иное,

какъ громадная, безпрестанно обновляющаяся ланкастерская школа. Но ни одному народу не приходилось научиться столь многому и въ столь короткое время, какъ намъ, и естественно, съ нами происходило то же самое, что бываетъ съ наголодавшимся человѣкомъ.

Онъ стремится во что бы то ни стало воспользоваться пищей, мысль о томъ, дѣйствительно ли она полезна и легко ли ее будетъ переварить, его не безпокоитъ во время процесса питанія. Это механическое поглощеніе, а не органическое усвоеніе. Картину такого именно поглощенія представляетъ исторія европейскихъ идей и вкусовъ на русской почвѣ. Естественно, съ самаго начала здѣсь оказалось множество нездоровыхъ, уродливыхъ явленій, гораздо больше, чѣмъ, напримѣръ, во Франціи въ періодъ англоманіи или во всей Западной Европѣ въ эпоху испаноманіи и галломаніи. И уродливость, и пестрота были тѣмъ ярче, что въ Россіи одновременно царили всевозможныя «маніи», между тѣмъ какъ на Западѣ роли дающихъ тонъ націй смѣнялись и размежевывались по извѣстнымъ столѣтіямъ.

Въ результатѣ—русскій человѣкъ такъ и остался типичнымъ *Jean de France*, рѣдкостнымъ произведеніемъ природы, у котораго тѣло родилось въ Россіи, а сердце принадлежитъ той или другой заграничной коронѣ. Иностранцы это отлично знаютъ, давно привыкли всю высшую умственную жизнь и даже искусство нашего отечества считать своего рода «удѣломъ» западной старой культуры, и до послѣднихъ дней не могутъ помириться съ мыслью, чтобы мы, даже въ лицѣ завѣдомо геніальныхъ художниковъ литературы, могли сказать что-либо *свое*, *русское*, для европейца новое и небезполезное. По крайней мѣрѣ, нашелся же, два года тому назадъ, французскій академикъ, взявшій на себя задачу—обличить величайшихъ русскихъ романистовъ въ компиляціи и подражательности французской беллетристикѣ! Положимъ, подобная мысль могла придти въ голову только образцово невѣжественному и легкомысленному парижанину фельетонисту, въ родѣ Леметра. Но вѣдь фельетонный болтунъ въ то же время и «безсмертный», а потомъ—такого сорта господа точнѣе всѣхъ серьезныхъ критиковъ и ученыхъ отражаютъ идеи и инстинкты большинства своихъ современниковъ, и первенствующій французскій журналъ, давшій у себя мѣсто вздорной фанфаронадѣ Леметра, засвидѣтельствовалъ этимъ совершенно опредѣленную психологію своихъ подписчиковъ и читателей.

Если такъ просвѣщенные европейцы судятъ о новѣйшихъ фактахъ нашей литературы, даже и для нихъ поразительныхъ по талантливости и значительности содержанія, что же могутъ думать они о болѣе раннихъ нашихъ успѣхахъ въ той же области? Здѣсь даже и не представляется, въ сущности, вопроса, потому что сами же русскіе критики коротко и ясно заявятъ о всемогуществѣ и неограниченности западныхъ вліяній и извѣстную фразу Бѣлинскаго «русская литература—растеніе пересадочное», распространять вширь и вглубь, мало считаясь съ людьми и обстоятельствами. А между тѣмъ, благодарнѣйшей и въ высшей степени поучительной задачей было бы точно намѣтить предѣлы этой «пересадки» и отдѣлить прививки отъ ствола, экзотическіе фрукты отъ туземныхъ плодовъ.

Потому что стволъ и его собственные *почвенные* соки жили и энергично развивались въ самыя, повидимому, счастливыя времена европейской оранжерейной растительности. Въ исторіи нашей литературы давно замѣтна одна оригинальная, ей исключительно свойственная черта—преобладаніе сатиры надъ всѣми другими жанрами. Большинство даровитѣйшихъ русскихъ писателей—сатирики или всецѣло, или въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ. Даже такія могучія лирическія натуры, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ, написали по сатирическому роману и даже гуманнѣйшій талантъ Тургенева не могъ уклониться отъ общаго теченія, и отъ «Рудина» до «Нови» приносилъ обычныя жертвы національной музѣ русской поэзіи. Это—фактъ общепризнанный, но, сколько намъ извѣстно, не было подчеркнуто его внутреннее содержаніе. А оно-то именно и является сущностью русской сатиры и въ то же время, слѣдовательно, русской литературы.

Наша сатира, отъ начала до послѣднихъ дней, при всей своей разносторонности, жесточайшіе и упорнѣйшіе удары всегда направляла на *русскихъ европейцевъ*, осмѣивала и часто жестоко поражала прежде всего Иванушекъ съ французскими сердцами—все равно, въ костюмѣ ли «петиметровъ» Кантемира или въ новѣйшемъ маскарадномъ уборѣ революціонеровъ «Дыма» и «Нови». Рѣшительно ни въ одной странѣ, ни въ одномъ обществѣ такъ безпощадно не встрѣчали всякаго рода обезьянничанье, какъ у насъ. Мы усерднѣе и смѣшнѣе всѣхъ подражали чужимъ нравамъ, беззавѣтнѣе и наивнѣе увлекались чужими идеями, но мы за то также самоотверженнѣе и искреннѣе всѣхъ другихъ сознавались въ своемъ грѣхѣ.

У лучшихъ русскихъ писателей особеннымъ сочувствіемъ пользуется мотивъ, съ которымъ никакъ не могутъ примириться европейскіе критики и читатели. Иноземцамъ онъ покажется искусственнымъ, мелодраматическимъ вымысломъ, даже фарсомъ. Мы говоримъ о публичномъ покаяніи героевъ Достоевскаго и гр. Толстого. Въ дѣйствительности, разумѣется, не каждый день встрѣчаются сцены Раскольникова и Никиты, но вѣдь и вообще не каждый день и не у каждаго человѣка звучатъ сокровеннѣйшія струны его нравственнаго міра. А между тѣмъ, именно эти звуки и говорятъ намъ о подлинной основной правдѣ человѣческой личности.

Такъ и «мелодраматическій» эффектъ русскихъ писателей. Онъ подсказанъ имъ инстинктивнымъ чутьемъ народной психологіи, и мы заговорили о немъ именно потому, что онъ какъ нельзя вѣрнѣе соотвѣтствуетъ основному характеру русской сатиры. Народъ, создавшій самыхъ жалкихъ и смѣшныхъ «Иванушекъ», одновременно выдвинулъ и самыхъ сильныхъ и правдивыхъ судей надъ своими уродливыми дѣтищами. Ни въ одной литературѣ нельзя найти такихъ горькихъ сарказмовъ и уничтожающихъ каррикатуръ на «чужеманію», ни одинъ народъ съ такимъ мужествомъ и постоянствомъ не вскрывалъ своихъ траги-комическихъ духовныхъ недуговъ. Всѣ насмѣшки иностранцевъ надъ русскими «мѣщанами въ дворянствѣ», надъ «полуцивилизованными скиѳами», надъ «дрессированными медвѣдями», дѣтски-кроткія и банальныя рѣчи сравнительно съ отечественными стрѣлами по адресу тѣхъ же пасынковъ европейскаго просвѣщенія. Съ другой стороны, французская, напримѣръ, сатира прошлаго вѣка противъ «англомановъ»—полюбовная семейная бесѣда рядомъ съ художественной живописью русскихъ поэтовъ, даже не сатириковъ,—на темы объ екатерининскихъ вольтерьянцахъ, московскихъ чайльдъ-гарольдахъ и позднѣйшихъ «хористовъ» новѣйшихъ идей. Да, можно смѣло признать, русская литература сторицей искупила свой національный грѣхъ и, явившись на первыхъ порахъ дѣйствительно «пересадочнымъ растеніемъ», сама болѣе всего способствовала искорененію чужеземныхъ плевелъ, и въ результатѣ, претворяя здоровые чужіе соки въ свою кровь, создала *свою* туземную «породу» талантовъ и плодовъ.

Но борьбой съ наноснымъ недужнымъ европеизмомъ русская сатира не ограничилась. Характеръ всякой борьбы зависитъ отъ силы сопротивленія и отъ нравственныхъ свойствъ противника.

Въ данномъ случаѣ, предметомъ нападеній оказывались люди высшихъ, руководящихъ классовъ, значительные, слѣдовательно, по своему положенію и въ то же время почти всегда лично ничтожные. Вся *нравственная* сила ихъ, всѣ претензіи на *личную* исключительность оправдывались только ихъ прикосновенностью къ «высшему просвѣщенію», т. е. къ европейскимъ модамъ—все равно, костюмнымъ или умственнымъ. Русскій «Иванушка» считалъ себя существомъ высшей породы именно потому, что жилъ въ Парижѣ и вывезъ оттуда нѣсколько, по его мнѣнію, тончайшихъ манеръ и умнѣйшихъ мыслей. Если бы снять съ него французскій кафтанъ, запретить ломаться и говорить французскія фразы, подлинный русскій глупецъ такъ и остался бы глупцомъ безъ всякой подмѣси и иллюзіи. Но соусъ иностранной кухни, хотя бы даже самый недоброкачественный, мгновенно превращаетъ доморощеннаго дурака въ «интереснаго кавалера», и здѣсь же подвертывается романтическая представительница прекраснаго пола, кровью сердца и лепетомъ устъ подписывающая это превращеніе. Фонвизиновская комедія пребудетъ неизмѣнной, и по составу, и по ролямъ дѣйствующихъ лицъ, и по мотивамъ комизма. Иванушки могутъ поумнѣть съ теченіемъ времени и одновременно Совѣтницы уступятъ мѣсто болѣе достойнымъ жертвамъ, но сущность останется та же: собственное ничтожество натуры, природная ограниченность ума и картинно накинутый на плечи модный плащъ. У Иванушки онъ состоялъ изъ обезображенныхъ морсо энциклопедической философіи, у Онѣгина—изъ незаконно-присвоенной байронической мизантропіи, у дальнѣйшихъ героевъ — изъ безсмысленно заученныхъ «послѣднихъ словъ науки». А рядомъ, попрежнему, будетъ витать то или другое—сначала «романтическое» и «чувствительное» созданіе, потомъ femme emancipée «безъ предразсудковъ», въ родѣ г-жи Кукшиной.

Все это, конечно, только поддонки тѣхъ самыхъ направленій и идей, во имя коихъ они лицедѣйствуютъ преимущественно предъ дамскимъ партеромъ, и въ дѣйствительности они неизмѣримо вреднѣе для идей, чѣмъ самые ожесточенные враги вообще всякаго умственнаго развитія. Десятокъ Иванушекъ—а ихъ всегда много—можетъ до такой степени уронить благороднѣйшую мысль, проведши ее чрезъ свой мозгъ и языкъ, какъ этого не сдѣлаетъ ни одинъ талантливѣйшій и умнѣйшій противникъ той же мысли. Опаснѣйшее оружіе противъ людей и мыслей и, въ особенности, въ глазахъ большой публики—смѣхъ, между тѣмъ, отъ великаго

до смѣшного, дѣйствительно, не болѣе шага: эта истина оправдывается ежедневно и при всевозможныхъ случаяхъ. Иванушки какъ разъ дѣлаютъ этотъ роковой шагъ и серьезнѣйшую пьесу серьезнѣйшимъ образомъ превращаютъ въ фарсъ.

Съ подобнымъ бытовымъ жанромъ пришлось имѣть дѣло русской литературѣ, и притомъ—жанромъ, необычайно распространеннымъ и живучимъ. Едва только былъ поверженъ на землю одинъ Jean de France, на смѣну ему вставалъ другой, еще болѣе «интересный» и, слѣдовательно, еще болѣе опасный. Въ результатѣ, наша сатира усвоила въ высшей степени своеобразное настроеніе. Оно вполнѣ отвѣчало горячему и непрерывно-настоятельному развитію борьбы, и въ то же время непосредственно опредѣлялось отрицательными доблестями врага. Въ противовѣсъ безсмысленному, рабски-покорному, мнимо-европейскому обезьянству Иванушекъ сложился типъ его безпощаднаго гонителя, въ разгаръ войны усвоившій и весьма часто открыто проявлявшій не менѣе крайнія нравственныя свойства, только противоположнаго характера. Намъ легко назвать ихъ. Они были подсказаны русскимъ сатирикамъ не теоріями и не тенденціями, а совершенно естественными инстинктами—*національнаго достоинства* и *здраваго смысла*. Во имя одного—сатира возставала противъ нравственнаго ничтожества своихъ жертвъ, во имя другого—выставляла на всеобщій позоръ ихъ умственное уродство. И тотъ, и другой протестъ, по силѣ увлеченія своими основными принципами, неизбѣжно долженъ былъ подняться на высоту, равную тлетворному дѣйствію ненавистнаго недуга.

Такъ на самомъ дѣлѣ и оказалось.

III.

Наши поэты съ совершенной ясностью сами раскрыли психологію русской сатиры. Припомните, напримѣръ, одинъ изъ монологовъ Чацкаго, навлекшій особенно много нареканій на героя и даже на автора. Чацкій раздраженъ встрѣчей съ французикомъ изъ Бордо и въ особенности чувствами Иванушекъ дамскаго пола, онъ начинаетъ громить рабскій, безтолковый европеизмъ своихъ соотечественниковъ, договаривается до прославленія «старины святой» и даже—китайскихъ нравовъ.

Чацкій все это высказываетъ въ страстномъ порывѣ оскорбленнаго національнаго чувства. Онъ, конечно, отнюдь не облекся бы въ долгополую московскую ферязь и убѣжалъ бы изъ Китая еще

скорѣе и дальше, чѣмъ изъ Москвы. Но сущность его рѣчи—его задушевнѣйшее личное чувство, онъ дѣйствительно до глубины сердца оскорбленъ психопатическими припадками европействующихъ дамъ и въ порывѣ молодой искренности говоритъ больше, чѣмъ хотѣлъ бы.

Это—примѣръ возбужденнаго національнаго самолюбія.

Другой—по поводу раздраженнаго здраваго смысла—тургеневскій романъ «Дымъ», крайне рѣзкія, отчасти каррикатурныя фигуры передовой молодежи рядомъ съ простымъ, умнымъ человѣкомъ—Литвиновымъ. Здѣсь уже самъ авторъ, очевидно, поддался гнѣвному настроенію и охватилъ неудержимымъ презрѣніемъ всякое слово, всякій жестъ новѣйшихъ Иванушекъ.

Оба примѣра мы нарочно взяли у авторовъ, менѣе всего страдающихъ національной гордостью и недовѣріемъ къ европейскимъ идеямъ. Чацкій отнюдь не послѣдователь Карамзина и Тургеневъ не славянофилъ, одинъ будетъ искать «оскорбленному чувству уголокъ», между прочимъ, и въ той странѣ, откуда появился столь возмутившій его французикъ, а другой отъ молодости до преклонныхъ лѣтъ оставался «западникомъ», и оба они невольно повысили тонъ своего негодованія и презрѣнія предъ вопіющимъ отечественнымъ зломъ.

Что же будутъ чувствовать другіе, не столь гибкіе по натурѣ и не такъ склонные къ культурной разносторонности, у кого стихійная прикованность къ народной почвѣ и національная цѣльность духовнаго склада исключаютъ свободную воспріимчивость къ какимъ бы то ни было внѣшнимъ вліяніямъ и въ особенности къ идеямъ? Это могутъ быть въ высшей степени умные люди, богато одаренные во многихъ отношеніяхъ, но инстинктивно недовѣрчивые къ теоретическимъ новшествамъ, вообще ко всему, что непосредственно не вытекаетъ изъ наглядной реальной дѣйствительности. Для нихъ не существуетъ отвлеченной красоты идеала, и вопросъ о жизненности, практической плодотворности совершенно покрываетъ собой всякое представленіе объ *общихъ* достоинствахъ той или другой идеи.

Легко понять, подобное міросозерцаніе особенно успѣшно должно было выработаться на русской почвѣ. Оно являлось прямо неизбѣжнымъ логическимъ противовѣсомъ отчаянному и въ полномъ смыслѣ комическому донъ-кихотству разнаго сорта лицедѣйствующихъ «европейцевъ», и такъ-называемый «здравый смыслъ» и «національное чувство» пріобрѣтали тѣмъ больше нравствен-

наго значенія, чѣмъ усерднѣе Иванушки дискредитировали идеи и чужеземныя вѣянія. Писателю и самому простому смертному отнюдь не требовалось быть стремительнымъ патріотомъ и членомъ славянофильской партіи, чтобы подобно, напримѣръ, тому же Тургеневу, искренно защищать «народную правду», пристальное, проникновенное изученіе русской народной жизни и «смиренное» до послѣдней степени вдумчивое отношеніе къ нравственному и внѣшнему строю крестьянскаго быта, чтобы, наконецъ, подобно тому же «западнику», нарисовать съ нескрываемымъ сочувствіемъ фигуру почвеннаго русскаго человѣка, въ лицѣ мужика Хоря.

Этотъ Хорь, чей «здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ»—замѣчательнѣйшая фигура въ нашей литературѣ, и настоящій эпическій герой нашей дѣйствительности. Въ немъ именно воплощены черты тѣхъ рускихъ людей, которые съ великими художественными силами ополчились на великую язву русскаго просвѣщенія, и на полѣ долголѣтней битвы подчасъ даже измѣняли мудрому, спокойному юмору Хоря, впадали въ сильныя чувства и крѣпкія слова.

Мы могли бы вызвать предъ читателемъ длинный рядъ борцовъ и эпизодовъ борьбы, но для насъ достаточно будетъ нѣсколько страницъ изъ этой поистинѣ воинственной литературы.

Здравый смыслъ и національное чувство выступаютъ на сцену у первыхъ же гонителей русской галломаніи. Уже Сумароковъ поётъ гимны русскому языку, его *старинной* красотѣ и жестоко издѣвается надъ «глупостью» тѣхъ, кто «по французски бредитъ». У Фонвизина — неизвѣстно противъ чего яростнѣе нападки и безпощаднѣе смѣхъ, противъ ли русскаго невѣжества въ лицѣ Простаковой или европейскаго просвѣщенія въ лицѣ Иванушки. Именно европейскаго просвѣщенія. Знаменитый авторъ «Недоросля» первый показалъ, какъ легко борьба противъ уродствъ россійскаго европеизма переходитъ въ отрицательную критику вообще европейскихъ идей и порядковъ, какъ «здравый смыслъ» и вообще *естественныя* добродѣтели *простого* человѣка—душа, сердце—рѣшительно и непримиримо противоставляются уму, книгамъ и даже образованности.

Стародумъ, т. е. самъ авторъ, среди всевозможныхъ проповѣдей о гуманности, просвѣщеніи и въ особенности о чувствительности и добродѣтели, высказываетъ «истину», на первый взглядъ безобидную, но на самомъ дѣлѣ чреватую самыми удивительными послѣдствіями.

«Я боюсь для васъ нынѣшнихъ мудрецовъ», говоритъ Стародумъ Софьѣ. «Мнѣ случилось читать изъ нихъ все то, что переведено по русски. Они, правда, искореняютъ сильно предразсудки, да воротятъ съ корня добродѣтель».

Неизвѣстно, въ какихъ французскихъ «философскихъ» книгахъ *на русскомъ языкѣ* Стародумъ могъ вычитать такіе ужасы. На сколько извѣстно, именно *по русски* никакъ нельзя было имѣть и читать подобныхъ произведеній, въ особенности въ эпоху «Недоросля». Очевидно, у автора чувства устремились дальше дѣйствительности, и онъ это доказалъ своими впечатлѣніями заграничнаго путешествія.

Если въ комедіи еще можно отличить Иванушку отъ подлиннаго ученика французской философіи, въ письмахъ все слилось въ одну, одинаково мрачную, картину и писатели оказались, пожалуй, даже хуже какого угодно русскаго Jean de France. Напримѣръ, въ одномъ письмѣ Фонвизинъ пишетъ: «*Д'Аламберты. Дидероты* въ своемъ родѣ такіе же шарлатаны, какихъ видалъ я всякій день на бульварѣ; всѣ они народъ обманываютъ за деньги, и разница между шарлатаномъ и философомъ только та, что послѣдній къ сребролюбію присовокупляетъ безпримѣрное тщеславіе».

Такъ можно было выражаться, особенно какъ разъ о двухъ названныхъ философахъ, только въ состояніи полнѣйшаго ослѣпленія извѣстнымъ *общимъ* настроеніемъ. Естественно, во Франціи оказывается почти все хуже, чѣмъ въ Россіи, даже общественныя отношенія и правосудіе ниже русскихъ крѣпостническихъ порядковъ съ Простаковыми и Скотиниными во главѣ и русскихъ судовъ съ добродѣтелями фонвизинскаго Совѣтника. Въ результатѣ вся французская нація обманъ считаетъ «правомъ разума», а «кавалеры св. Людовика»—воры по принципу и по привычкѣ... Авторъ возвращается домой съ твердымъ намѣреніемъ— «быть снисходительнѣе къ тѣмъ недостаткамъ, которые оскорбляли меня въ моемъ отечествѣ».

И между тѣмъ, Фонвизинъ менѣе всего мракобѣсъ и Киѳа Мокіевичъ русскаго патріотизма. Онъ только человѣкъ съ твердымъ «здравымъ смысломъ» и глубокимъ національнымъ чувствомъ, столкнувшійся съ позорными дѣтищами отечественнаго обезьянничества. Не обладая достаточными культурными свѣдѣніями и идейной чуткостью, онъ подвелъ рѣшительный итогъ по неполнымъ, хотя и вполнѣ достовѣрнымъ даннымъ. Благодушная

иронія Хоря надъ «сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ» превратилась у сатирика въ желчный смѣхъ и даже ненависть.

Одинъ Фонвизинъ съ подобной психологіей не представлялъ бы большого интереса, если бы за нимъ не шелъ рядъ другихъ, еще болѣе талантливыхъ и «здравомыслящихъ» русскихъ писателей.

Въ послѣднее время—трудно и сказать въ который уже разъ—подвергся новому тщательному разбору вопросъ о Крыловѣ. Геніальный баснописецъ, рядомъ съ превосходными и по истинѣ мудрыми притчами и поученіями, написалъ нѣсколько аллегорій и исторій весьма сомнительнаго свойства. Ихъ смыслъ и совершенно очевидное содержаніе искони повергало въ недоумѣніе самыхъ искреннихъ почитателей крыловскаго таланта и его «дѣдовской» мудрости.

Многіе, до послѣднихъ дней, считаютъ нравственнымъ долгомъ—во что бы то ни стало защитить баснописца отъ невыгодныхъ для его репутаціи подозрѣній, пускаются въ тонкій разборъ знаменитыхъ сказаній о водолазахъ, о сочинителѣ... Въ дѣйствительности Крыловъ не нуждается ни въ тонкихъ толкованіяхъ, ни въ защитительномъ краснорѣчіи.

Вся его философія — вовсе не его личное оригинальное достояніе. Это все тотъ же Хорь и наиболѣе «странныя» идеи Крылова цѣликомъ можно найти въ изреченіяхъ Стародума и письмахъ Фонвизина. «Здравый смыслъ», практическая «сметка» и догадка стоятъ противъ «дерзкаго ума» и еще болѣе «дерзкихъ умствованій». Чѣмъ уступаетъ фонвизиновская характеристика французскихъ писателей въ парижскомъ письмѣ 14-го іюня 1778 года, отъ изображенія сочинителя въ крыловской баснѣ, написанной много лѣтъ спустя послѣ смерти «Даламбертовъ» и «Дидеротовъ»? Рѣшительно—ни однимъ словомъ. Крыловъ только прибавилъ историческіе, по его мнѣнію, непосредственные плоды философіи, т.-е. бѣдствія французской революціи. Фонвизинъ находилъ, что философы хуже *бульварныхъ шарлатановъ*: рѣчь шла о мирномъ времени,—Крыловъ, имѣя въ виду политическую смуту, объявитъ сочинителя преступнѣе *разбойника* съ большой дороги. Настроеніе и его основа въ обоихъ случаяхъ тождественны.

Тоже и водолазы. Еще Стародумъ произнесъ Софьѣ цѣлое обвинительное слово противъ ума и «нынѣшнихъ мудрецовъ», именно *дерзкаго* ума, съ неудержимой силой стремящагося къ

осуществленію своего *умственнаго* идеала. Такой умъ—полнѣйшая противоположность «здравому смыслу», обладающему способностью считаться со всевозможными обстоятельствами и послѣдствіями. Потому что «здравый смыслъ» ничто иное, какъ прямое внушеніе, производимое на человѣка наглядной дѣйствительностью, «мудрая» комбинація внѣшнихъ силъ и личнаго выигрыша, «пребѣглый умъ», по выраженію Фонвизина, или «дерзкій умъ», по выраженію Крылова—чистая, хотя часто и замысловатая теорія, безплодное или вредное умствованіе. Отсюда побѣда огородника-практика надъ «философомъ»-теоретикомъ», позорное пораженіе «механика-мудреца» и трагическая смерть «дерзкаго» водолаза.

Но, вы замѣчаете, «мудрость» поэта весьма различна въ исходной идеѣ и въ окончательномъ выводѣ. Теоріи, вычитанныя изъ книгъ и построенныя безъ всякаго отношенія къ жизни и ея естественному развитію, конечно, отрицательное явленіе, литературная дѣятельность, направленная на идеализацію «порока», величайшее преступленіе, хитроумное мудрованіе надъ простыми вещами—глупая комедія. Все это—несомнѣнныя истины, но въ рукахъ автора онѣ утрачиваютъ свой *частный* характеръ, противоставляются *общимъ* добродѣтелямъ нравственности, мудрой простотѣ, природной даровитости. Въ результатѣ—потерпѣвшими оказываются идеи, науки, книги вообще, а не ихъ каррикатурныя отраженія, торжествуетъ здравый смыслъ, сметка и догадка. И такова цѣль самого автора. Иначе онъ не написалъ бы въ тонѣ *общаго разсужденія* исторіи съ сочинителемъ и разбойникомъ, не подчеркнулъ бы въ столькихъ притчахъ жалкую роль «ученой» мудрости и «книжной» науки и въ баснѣ «Червонецъ» не повторилъ бы съ буквальной точностью фонвизинскаго разсужденія на счетъ опасности, вмѣстѣ съ уничтоженіемъ предразсудковъ, «грубости»—уничтожить также и добродѣтель, «испортить нравы» и «ослабить духъ».

Очевидно, писатель больше боится просвѣщенія, чѣмъ жаждетъ его. Онъ не говоритъ намъ: хотя идеи и просвѣщеніе въ головахъ глупцовъ и производятъ уродливую смуту, просвѣщеніе все-таки необходимо. Нѣтъ. У Крылова, какъ и у его предшественника, другой порядокъ мыслей. Хотя въ ученьи «мы зримъ» «многихъ благъ причину», все-таки «дерзкій умъ» гибеленъ и просвѣщенье «часто нравовъ развращенье». Въ результатѣ—не столько борьба съ учеными глупцами и просвѣщенными уродами, сколько недовѣріе къ наукѣ и просвѣщенью.

И первоисточникъ этого настроенія намъ давно извѣстенъ. Крыловъ едва ли не еще болѣе энергичный гонитель отечественныхъ европейцевъ, чѣмъ Фонвизинъ, вся его сатирическая дѣятельность вдохновлена проповѣдью противъ галломаніи и «щегольства» Иванушекъ обоего пола. Его «здравый смыслъ», еще болѣе народный и національный, чѣмъ у автора «Недоросля», долженъ былъ еще энергичнѣе возмущаться нравственнымъ ничтожествомъ и умственнымъ рабствомъ соотечественниковъ. Въ результатѣ у Крылова—типъ французовъ нахальнѣйшій и болтливѣйшій въ мірѣ парикмахеръ, знатокъ политики: онъ «съ такою же легкостью вертѣлъ государствами, какъ пудреною кистью». Воспитанникъ подобныхъ просвѣтителей графъ Припрыжкинъ, распутный петиметръ. Онъ—раззоритель цѣлаго края—городовъ и деревень, французская нація—покорительница народовъ, она взимаетъ за всевозможные пустяки и духовную отраву такую дань, какой не собиралъ и Римъ. Такимъ мотивамъ посвящена журнальная и драматическая сатира Крылова. Прибавимъ еще также старую тему—о тщеславіи, сварливости и себялюбіи писателей и ученыхъ. Послѣ этого сколько угодно можно оговариваться въ пользу науки и просвѣщенія, необычайно яркіе образы и сцены изъ области *пороковъ* и *преступленій* людей, будто бы просвѣщенныхъ, будутъ покрывать мрачнымъ, по крайней мѣрѣ тѣневымъ фономъ—вообще просвѣщеніе. У сатирика, столь усердно живописующаго отрицательныя стороны западныхъ идей, вообще литературы и отчасти науки, несомнѣнно живетъ то самое настроеніе, какое въ наше время заставило гр. Толстого пошлости и глупости тунеядныхъ, *хорошо воспитанныхъ* господъ обозвать плодами *просвѣщенія*.

Крыловъ и даже Фонвизинъ, вѣроятно, не подписали бы всѣхъ новѣйшихъ изреченій въ духѣ Жанъ-Жака, но ихъ тяготѣніе въ эту сторону очевидно и оно явилось въ результатѣ совершенно законной, но слишкомъ полемической защиты здраваго смысла и національнаго чувства отъ шутовства и рабства Иванушекъ и Припрыжкиныхъ. Вмѣсто того, чтобы строго и спокойно разграничить каррикатурное явленіе отъ здоровой дѣйствительности, авторы всю силу «страсти и гнѣва» направили на каррикатуру и подчасъ, несомнѣнно, даже противъ собственной воли дискредитировали и то, что было нормальнаго и желательнаго въ извѣстной области.

Этотъ процессъ съ замѣчательной яркостью и послѣдовательностью обнаружился у самаго сильнаго художника того же типа.

И именно этотъ художникъ преимущественно любопытенъ для насъ; онъ ближе всѣхъ другихъ по роду таланта и по многимъ психологическимъ особенностямъ къ Писемскому. Недаромъ нашъ авторъ «страстно знакомился» съ великимъ сатирикомъ и занимался «внимательнымъ изученіемъ и повѣркой его эстетическихъ положеній». Мы увидимъ, и увлеченіе, и работа должны были явиться у Писемскаго инстинктивно. Здѣсь осуществлялось ничто иное, какъ глубокое сродство художественныхъ душъ.

IV.

Во всѣхъ европейскихъ литературахъ врядъ ли можно указать писателя, превосходящаго автора «Мертвыхъ душъ» талантомъ открывать мелочи и пошлости человѣческой жизни и врядъ ли кто изъ русскихъ сатириковъ собралъ больше подобныхъ «перловъ», чѣмъ собрано ихъ въ поэмѣ и комедіяхъ Гоголя. И между тѣмъ, рѣшительно ни у кого такой могучій геній сатиры не уживался рядомъ съ задушевнѣйшимъ и нерѣдко восторженнымъ лиризмомъ. Это не творческій лиризмъ, онъ не создастъ живыхъ художественныхъ образовъ, но онъ способенъ со всею силой прочувствованной правды выразить настроеніе, набросать картину, ослѣпить васъ блескомъ мгновенныхъ движеній растроганнаго сердца, и въ особенности въ минуты невольной грусти, меланхолическихъ впечатлѣній, дорогихъ воспоминаній.

Здѣсь Гоголь—великій лирикъ. Изображеніе дѣтскихъ дорожныхъ впечатлѣній или характеристика судьбы двухъ писателей—одни изъ поэтичнѣйшихъ «стихотвореній въ прозѣ», какія только знаетъ наша литература. Это—пространныя «отступленія», но искры того же лиризма разсѣяны всюду, по всѣмъ произведеніямъ автора. Онѣ часто едва замѣтны, бросаются поэтомъ будто случайно и безъ всякаго намѣренія, но знаменитый конецъ первой части «Мертвыхъ душъ» ничто иное, какъ снопъ такихъ же искръ. Гимнъ русской тройкѣ и русскому прогрессу, столь смутившій Бѣлинскаго, отнюдь не новый какой-либо симптомъ гоголевскаго настроенія. Подобнаго гимна слѣдовало ожидать на каждой страницѣ, и можно только удивляться, какъ долго поэтъ таилъ въ себѣ именно *эту* «вьюгу вдохновенія». Оно безпрестанно прорывалось у него въ сильныя минуты творчества и въ словахъ поэта неизмѣнно сквозилъ тогда затаенный влюбленный восторгъ и глубокое нѣжное чувство.

мечтаній, что у читателя не останется ни малѣйшаго желанія сколько-нибудь позаимствоваться доблестями «интереснаго героя». Послѣ Евгенія Онѣгина все еще, пожалуй, будетъ биться сердце не одной Татьяны, но послѣ Батманова или Бахтіарова станетъ навѣрное совѣстно самой романтической провинціальной барышнѣ.

То же самое и во всѣхъ другихъ случаяхъ.

Писатель, лично пережившій сладостный юношескій трепетъ предъ новыми словами и идеалами, постарается впослѣдствіи спасти хотя бы кое-какіе лепестки въ увядшемъ вѣнкѣ Рудина. Правда, онъ жестоко ополчится противъ фразёра и безвольнаго мечтателя, но во имя благородныхъ мечтаній и хорошихъ идей онъ все-таки причалитъ его чёлнъ къ благородному хотя и трагическому берегу, онъ спасетъ «лучшую часть» своего героя, потому что въ этой части бьется или когда-то билось собственное дорогое чувство автора. И въ результатѣ, у многихъ читателей можетъ возникнуть даже недоумѣніе: ужъ не положительный ли, въ самомъ дѣлѣ, герой столь краснорѣчивый и въ концѣ исторіи столь симпатичный Рудинъ? Даже, Онѣгина нѣкоторые, слишкомъ стремительные критики, въ родѣ Писарева, отождествляли съ самимъ авторомъ: до такой степени сильна иллюзія *достоинствъ* разочарованнаго москвича!

Ничего подобнаго не произойдетъ съ нашимъ поэтомъ.

Эльчанинова или Шамилова ничей самый близорукій взоръ не сочтетъ перлами созданія и реальныя Наташи, при всемъ своемъ желаніи, не найдутъ у себя двухъ отвѣтовъ на вопросъ: стоило ли героинямъ увлекаться подобными героями? И причина столь рѣшительнаго впечатлѣнія все та же. Авторъ ни душой, ни тѣломъ не причастенъ рудинству, какъ совершенно чуждъ и чайльдъ-гарольдству. Всѣ эти повѣтрія не всколыхнули его необычайно устойчивой и положительной, въ народномъ русскомъ смыслѣ, самобытной и крѣпкой натуры. Онъ отъ начала до конца игралъ роль скептически и насмѣшливо настроеннаго зрителя, и естественно подмѣтилъ много смѣшного и страннаго, много «недѣльнаго», что могло ускользнуть отъ снисходительнаго невольно милующаго взора другого автора.

Отсюда необычайно яркое и полное изображеніе всего жалкаго, комичнаго и пошлаго у европейцевъ изъ Москвы, отсюда наповалъ бьющая эпиграмма, цѣлый рядъ эпизодовъ и положеній, не оставляющихъ ни единаго положительнаго проблеска въ судьбѣ и характерѣ несчастной жертвы. Онѣгинъ окончитъ

комъ-мудрецомъ» можетъ перейти въ грубую филиппику противъ «сочинителя» и птичья физіономія, неизбѣжная при англійскомъ разговорѣ, уступитъ мѣсто явно нетерпимому чувству къ «дурачью», желающему «открыть ларчикъ инструментомъ, а не просто», и путешествующему именно для этого—въ Англію... Любопытно это совпаденіе гоголевскихъ рѣчей съ крыловской мудростью, и оно простирается еще дальше.

Напримѣръ, полковникъ Кошкаревъ и Костанжогло—ихъ роли и характеры—по существу будто списаны съ героевъ крыловской басни «Философъ и огородникъ». На одной сторонѣ—книги, слѣпое подчиненіе теоріямъ и наносному чужому уму, на другой — непоколебимый здравый смыслъ, практичность, совершенно простой незамысловатый трудъ, вообще здѣсь русскій народный умъ,— тамъ «дурь изъ чужи». О глупости и каррикатурности Кошкарева нечего было бы и спорить: это фактъ очевидный, но онъ даетъ право Костанжогло, т.-е. самому автору, поднять жестокую войну противъ вообще какихъ бы то ни было идеальныхъ стремленій, не оправдываемыхъ настоятельными практическими нуждами. Въ воинственномъ порывѣ будутъ захвачены и «политическіе экономы»: «дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ»; глупцы педагоги и профессора: они «множествомъ всякихъ свѣдѣній и предметовъ» мѣшаютъ «самобытному развитію ума» и не обучаютъ юношей «ручнымъ ремесламъ, укрѣпляющимъ тѣло», и въ особенности преподаватели «съ новыми взглядами и новыми углами и точками воззрѣній» и «донъ-кишоты», заводящіе необычайно мудреныя школы и больницы и практикующіе «человѣколюбіе». Все это повергается въ прахъ гоголевскимъ русскимъ идеальнымъ человѣкомъ, достигшимъ «имущества существеннаго, а не мечтательнаго».

Правда, Костанжогло считаетъ нужнымъ оговориться: «конечно, въ грамотѣ нѣтъ ничего дурного, скорѣе хорошее». Но обратите вниманіе на эту оговорку—*скорѣе хорошее*. Это значитъ: пожалуй, допустимъ, можетъ быть, надо полагать—недурно учить мужика грамотѣ, а все-таки грамота—изъ области «мечтательнаго имущества», а не «существеннаго», и даже вреднаго: «выйдетъ изъ школы такой человѣкъ, что никуда не годится, ни въ деревню, ни въ городъ, только что пьяница, да чувствуетъ свое достоинство»...

Вы скажете: это, конечно, бываетъ. Да, но для Костанжогло это не случайное явленіе, а законъ, онъ не хочетъ знать о трезвыхъ и годныхъ ученикахъ школы, для него нужны непремѣнно

никуда негодные пьяницы. То же самое и о высшемъ просвѣщеніи. Польза его подлежитъ великому сомнѣнію.

Напримѣръ, Костанжогло «учился на мѣдныя деньги», а Хлобуевъ «слушалъ лекціи въ университетѣ»; но какое же можетъ быть сравненіе? Это сознаетъ даже самъ Хлобуевъ и мы должны съ особеннымъ вниманіемъ прислушаться къ его рѣчамъ. Онѣ должны въ будущемъ не одинъ разъ припомниться намъ...

Чичиковъ пороки русскаго человѣка приписываетъ недостатку просвѣщенія. Хлобуевъ, очевидно, вдохновленный авторомъ, не рѣшается такъ опредѣленно рѣшить вопросъ.

«Богъ вѣсть отчего! Вѣдь вотъ мы и просвѣтились. Я слушалъ лекціи въ университетѣ, а что изъ того, что я былъ въ университетѣ? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще какъ бы больше выучился искусству побольше издерживать денегъ на всякія новыя утонченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые нужны деньги».

Но, можетъ быть, Хлобуеву наука пошла не въ прокъ по его же винѣ, и что собственно самъ университетъ неповиненъ въ прискорбныхъ результатахъ «просвѣщенія»? Выходитъ, нѣтъ. Хлобуеву желательно на всѣхъ пунктахъ разбить «донъ-кишотовъ».

«Оттого ли, что я безтолково учился? Нѣтъ, вѣдь такъ и другіе товарищи. Два, три человѣка извлекли себѣ настоящую пользу, да и то оттого, можетъ быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и стараются узнать то, что портитъ здоровье да и выманиваетъ деньги. Такъ изъ просвѣщенія-то мы все-таки выберемъ то, что погаже; наружность его схватимъ, а его самого не возьмемъ».

И въ окончательномъ выводѣ, по мнѣнію Хлобуева, неурядицы въ личной и общественной жизни русскаго человѣка происходятъ не отъ невѣжества, а «отчего-то другого». Отчего именно?—отвѣтъ дается фигурой и философіей Костанжогло, необычайно горячаго защитника русской самобытности и практическаго смысла. «Смотрите на пользу, а не на красоту», осаживаетъ онъ невинный восторгъ Чичикова красивыми видами. «Въ сторону красоту! Смотрите на потребности!» И когда этотъ идеальный русскій человѣкъ излагаетъ свою почвенную мудрость, свободную отъ всякаго доказательства, автору рисуется изъ ряду вонъ торжественный моментъ. «Лицо его поднялось кверху, морщины исчезли. Какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанія, сіялъ онъ весь и, казалось, какъ бы лучи исходили изъ его лица...»

И подумать, — весь этотъ спектакль по поводу смѣтъ и разсчетовъ, какъ «всякая дрянь даетъ доходъ»!..

Вотъ до какого лиризма оказалось возможнымъ дойти послѣ совершенно, повидимому, безобидныхъ изліяній въ честь русской отваги и широкой натуры. Но мы и здѣсь не должны представлять, будто поэтъ рѣзко уклонился въ сторону. Напротивъ, все зданіе выросло ровно и послѣдовательно на давно уже заложенномъ фундаментѣ. Рѣзкая, безъ всякихъ ограниченій отповѣдь по адресу русскихъ любителей иностранныхъ языковъ, носила въ зернѣ всѣ позднѣйшія выходки Костанжогло противъ «донъ-кишотовъ», забавная характеристика «необыкновеннаго подлеца», ученаго, созидающаго какую угодно «истину» на вздорномъ и беззастѣнчивомъ подборѣ и толкованіи цитатъ, сцена изъ фарса съ политическими экономами—«дурачьемъ» и педагогами такого же качества,—а въ заключеніе удивительное единодушіе ни въ чемъ не похожихъ другъ на друга людей—Костанжогло и Хлобуева какъ разъ на счетъ сомнительной пользы просвѣщенія.

Авторское настроеніе до такой степени ясно и такъ рѣзко подчеркивается при всякомъ удобномъ случаѣ, что никакихъ недоразумѣній здѣсь быть не можетъ. Европейское просвѣщеніе и университетская наука представлены Кошкаревымъ и Хлобуевымъ, а никѣмъ другимъ, и «Несравненный Александръ Ивановичъ», «диво-воспитатель», здѣсь не у мѣста, потому что онъ съ своими «ручными ремеслами» и практическими уроками относительно «службы» менѣе всего могъ создать «донъ-кишотовъ» школъ и больницъ и всякаго «человѣколюбія». Противъ Кошкарева и Хлобуева стоятъ Костанжогло и Муразовъ, оба сильные исконными доблестями крыловскихъ положительныхъ героевъ—смѣткой, практическимъ смысломъ и полной неприкосновенностью къ чужеземнымъ ересямъ и «дерзкому уму».

Разъясняя, такимъ путемъ, чувства и идеи русскихъ оригинальнѣйшихъ писателей, мы отнюдь не стремимся уличить ихъ въ мракобѣсіи, въ принципіальной защитѣ невѣжества и самобытной грубости нравовъ. Мы только желаемъ показать, до какихъ предѣловъ у многихъ даровитѣйшихъ нашихъ поэтовъ доходила защита народнаго здраваго смысла противъ неразумія и уродствъ туземныхъ европейцевъ, оборона національныхъ основъ жизни противъ рабскаго маскарада въ чужеземныхъ костюмахъ.

Какой же общій смыслъ этого явленія?

V.

Названные нами поэты, при всемъ разнообразіи талантовъ, отличаются однѣми и тѣми же важнѣйшими основами художественнаго творчества и практическаго міросозерцанія. Всѣ они—сатирики въ искусствѣ и необычайно *цѣльныя*, *крѣпкія натуры* въ національномъ смыслѣ. Такая цѣльность и органическая сила граничатъ часто съ неподатливостью и односторонностью въ вопросахъ обще-культурнаго развитія. Русская національность выработала два крайнихъ типа. Съ одной стороны, люди, въ высшей степени отзывчивые на внѣшнія воздѣйствія чужой, болѣе яркой и увлекательной дѣйствительности, крайне доступные всевозможнымъ культурнымъ вліяніямъ. Это—представители извѣстной русской способности усваивать иностранные языки, иноземные обычаи, чьи угодно теоріи съ легкостью и пониманіемъ, недоступными другимъ націямъ. Но рядомъ искони существовалъ другой типъ и особенно рѣзко выдвинулся, конечно, въ противовѣсъ крайнимъ увлеченіямъ слишкомъ усердныхъ питомцевъ и учениковъ Европы. Это—типъ, воплощающій старую московскую исключительность, до Петра совершенно искренне презиравшій всѣхъ «бусурмановъ», а послѣ Петра не перестававшій относиться съ подобнымъ чувствомъ къ «космополитической» новой столицѣ. Для русскихъ этого типа во всякомъ европейскомъ новшествѣ невольно чуется что-то *стихійно* чуждое, непріятное, а подчасъ и ненавистное. Ихъ первое впечатлѣніе при всякой западной идеѣ или фактѣ изъ иноземной жизни,—недовѣріе или снисходительная иронія.

Вы помните, какъ Хорь слушаетъ разсказы о чужестранныхъ порядкахъ?—молча и хмуря густыя брови. Умному мужику, очевидно, требуется не малое усиліе мысли, чтобы вникнуть въ смыслъ того или другого сообщенія и не мало внутренней борьбы, чтобы признать въ какомъ-либо явленіи «порядокъ». Такой человѣкъ не понесется навстрѣчу самому блестящему идеалу, не придетъ въ мгновенный восторгъ отъ великолѣпнѣйшей перспективы завоеваній европейской культуры. Иному его соотечественнику достаточно прочесть книжку или совершить прогулку по парижскимъ бульварамъ и театрамъ, чтобы перевести себя въ другую философскую и нравственную вѣру. Хорь, напротивъ, будетъ долго приглядываться къ чужеземнымъ диковинкамъ, по правиламъ «русскаго человѣка» тщательно ощупывать ихъ, соображать всѣ сопутствующія и возможныя въ будущемъ обстоятельства. Но

и этотъ процессъ Хорь продѣлаетъ только въ спокойныя и свѣтлыя минуты. Въ другомъ менѣе, счастливомъ настроеніи ему ничего не стóитъ просто отвернуться отъ незнакомаго ему предмета, — отвернуться безъ всякихъ другихъ основаній, кромѣ развѣ такихъ, напримѣръ, соображеній:

«Знаемъ мы ваше просвѣщеніе и ваши европейскія идеи! Вонъ Хлобуевъ учился въ университетѣ, Кошкаревъ былъ заграницей, а что̀ изъ нихъ вышло? Какой толкъ? Одинъ въ конецъ раззорилъ имѣніе, и другой на пути къ тому же. А вотъ Костанжогло учился на мѣдныя деньги, отродясь не бывалъ заграницей и слышать о ней не хочетъ, а между тѣмъ первый помѣщикъ въ округѣ!..»

Для насъ это разсужденіе можетъ не имѣть ни малѣйшей доказательной силы, но для человѣка предубѣжденнаго, *по натурѣ* мало доступнаго воздѣйствіямъ чужой цивилизаціи — въ особенности ея отвлеченнымъ созданіямъ,—нѣсколько частныхъ примѣровъ окончательно рѣшаютъ *общій* вопросъ. И это будетъ результатомъ не преднамѣренной патріотической нетерпимости или слишкомъ первобытнаго заматорѣлаго нравственнаго міра, напротивъ, русскіе этого типа могутъ быть гораздо проницательнѣе и искреннѣе на счетъ неустройствъ собственной жизни и отрицательныхъ сторонъ народнаго быта и народной психологіи, чѣмъ ихъ европействующіе соотечественники, могутъ быть также примѣрно чуткими, художественно-развитыми личностями, но только въ области здраваго смысла и національнаго инстинкта. Они, напримѣръ, несомнѣнно безпощаднѣе и глубже вскроютъ всевозможныя язвы фальшиваго европеизма, именно потому, что сами ни единымъ нервомъ не связаны съ этимъ европеизмомъ и всѣми силами своего умственнаго и душевнаго склада вооружены противъ него.

Если, положимъ, такому писателю представится случай изобразить московскаго Чайльдъ-Гарольда, онъ нарисуетъ картину безъ всякихъ «смягчающихъ обстоятельствъ», не станетъ прибѣгать къ оговоркамъ, полутѣнямъ, благодушнымъ шуткамъ и ужъ, конечно, не запишетъ себя въ число пріятелей героя, подобно поэту, лично не чуждому европейскихъ модъ и всякаго рода увлеченій отчасти въ онѣгинскомъ духѣ, по крайней мѣрѣ, въ годы легкомысленной молодости. Нашъ авторъ поступитъ совершенно иначе. Онъ до послѣдней нитки сорветъ мишуру съ просвѣщеннаго франта и покажетъ въ сердцѣ его такую мерзость запустѣнія, а въ головѣ такой хаосъ вздорныхъ идей и пошлыхъ

мечтаній, что у читателя не останется ни малѣйшаго желанія сколько-нибудь позаимствоваться доблестями «интереснаго героя». Послѣ Евгенія Онѣгина все еще, пожалуй, будетъ биться сердце не одной Татьяны, но послѣ Батманова или Бахтіарова станетъ навѣрное совѣстно самой романтической провинціальной барышнѣ.

То же самое и во всѣхъ другихъ случаяхъ.

Писатель, лично пережившій сладостный юношескій трепетъ предъ новыми словами и идеалами, постарается впослѣдствіи спасти хотя бы кое-какіе лепестки въ увядшемъ вѣнкѣ Рудина. Правда, онъ жестоко ополчится противъ фразёра и безвольнаго мечтателя, но во имя благородныхъ мечтаній и хорошихъ идей онъ все-таки причалитъ его чёлнъ къ благородному хотя и трагическому берегу, онъ спасетъ «лучшую часть» своего героя, потому что въ этой части бьется или когда-то билось собственное дорогое чувство автора. И въ результатѣ, у многихъ читателей можетъ возникнуть даже недоумѣніе: ужъ не положительный ли, въ самомъ дѣлѣ, герой столь краснорѣчивый и въ концѣ исторіи столь симпатичный Рудинъ? Даже, Онѣгина нѣкоторые, слишкомъ стремительные критики, въ родѣ Писарева, отождествляли съ самимъ авторомъ: до такой степени сильна иллюзія *достоинствъ* разочарованнаго москвича!

Ничего подобнаго не произойдетъ съ нашимъ поэтомъ.

Эльчанинова или Шамилова ничей самый близорукій взоръ не сочтетъ перлами созданія и реальныя Наташи, при всемъ своемъ желаніи, не найдутъ у себя двухъ отвѣтовъ на вопросъ: стоило ли героинямъ увлекаться подобными героями? И причина столь рѣшительнаго впечатлѣнія все та же. Авторъ ни душой, ни тѣломъ не причастенъ рудинству, какъ совершенно чуждъ и чайльдъ-гарольдству. Всѣ эти повѣтрія не всколыхнули его необычайно устойчивой и положительной, въ народномъ русскомъ смыслѣ, самобытной и крѣпкой натуры. Онъ отъ начала до конца игралъ роль скептически и насмѣшливо настроеннаго зрителя, и естественно подмѣтилъ много смѣшного и страннаго, много «недѣльнаго», что могло ускользнуть отъ снисходительнаго невольно милующаго взора другого автора.

Отсюда необычайно яркое и полное изображеніе всего жалкаго, комичнаго и пошлаго у европейцевъ изъ Москвы, отсюда наповалъ бьющая эпиграмма, цѣлый рядъ эпизодовъ и положеній, не оставляющихъ ни единаго положительнаго проблеска въ судьбѣ и характерѣ несчастной жертвы. Онѣгинъ окончитъ

печально, трагикомически, получитъ жестокій урокъ своему театральному «холоду сердечному» и маскарадному разочарованію. Но что́ значитъ этотъ конецъ предъ участью Батманова, завершающаго свою демоническую карьеру при «богатой купчихѣ!» И насколько низменнѣе пятый актъ эльчаниновскаго фарса сравнительно съ послѣдней вполнѣ серьезной драмой Рудина!

Впослѣдствіи мы подробнѣе изложимъ эти факты и глубже проникнемъ въ основы поразительнаго преобразованія однихъ и тѣхъ же психологическихъ и общественныхъ мотивовъ у писателей разнаго типа. Теперь намъ достаточно указать на исходные *личные* моменты, создающіе такую разницу въ авторскихъ отношеніяхъ къ тождественнымъ по существу явленіямъ.

Но творческій процессъ не ограничивается тѣмъ, что одинъ авторъ воспроизводитъ безусловно лишь темныя и мелкія черты, а другой даетъ доступъ нѣкоторому свѣту и старается поизящнѣе ретушировать картину. Результатъ получается въ высшей степени важный не только для характеристики героевъ, но и для нашего представленія о данныхъ общественныхъ условіяхъ, о данной средѣ. Разъ сатирикъ всю силу своего смѣха направилъ на отдѣльную личность, онъ тѣмъ самымъ *только ее* сдѣлалъ отвѣтственной за всѣ ея нравственныя уродства и смѣхотворныя приключенія, все вниманіе читателя онъ неизбѣжно сосредоточилъ на изъянахъ дѣйствующаго лица и отодвинулъ на задній планъ общій вопросъ о возникновеніи и развитіи подобныхъ личностей именно при извѣстныхъ обстоятельствахъ и среди извѣстныхъ людей. Вѣдь сущность была не въ томъ, что на свѣтѣ появляются обезьянствующіе гайльдъ-гарольды и лицедѣйствующіе преобразователи человѣчества, а въ томъ, что эти господа могутъ съ успѣхомъ проявлять свое обезьянство и лицедѣйство, что они находятъ зрителей и даже поклонниковъ. Важно, слѣдовательно, не столько заклеймить актера, сколько сочувствующій ему партеръ, важно, однимъ словомъ, вскрыть *смыслъ* факта, а не только констатировать фактъ. А этого достигнуть возможно при единственномъ условіи, когда писатель въ минуты издѣвательства надъ своей жертвой не упускаетъ изъ виду свойствъ почвы, взростившей такія плевелы, и отдаетъ себѣ ясный отчетъ въ связи того или другого каррикатурнаго явленія съ общимъ строемъ общественной жизни въ извѣстную эпоху.

Именно этой задачи и не выполняютъ сатирики, неумолимо безпощадные къ отечественному европеизму. Ихъ слишкомъ глу-

боко, безраздѣльно возмущаетъ фактъ уродливой подражательности самъ по себѣ, и они преслѣдуютъ его съ прямолинейной односторонностью во всевозможныхъ видахъ, степеняхъ и періодахъ развитія.

Иванушка, несомнѣнно, сорная и вредная трава, но зачѣмъ же изъ-за русскаго уродца всѣмъ французскимъ философамъ непремѣнно быть шарлатанами? Пристрастіе къ иностраннымъ языкамъ въ ущербъ родному, конечно, постыдно и безсмысленно, но неужели поэтому ѣздить въ Англію за промышленной наукой, заводить школы и читать лекціи по политической экономіи—сплошная глупость и «донъ-кишотство»? Московскіе гайльдъ-гарольды, разумѣется, жалки и смѣшны, часто прямо гибельны для семейной и общественной нравственности, но неужели, благодаря этимъ явленіямъ, мы не должны признать ничего положительнаго въ байроническихъ вліяніяхъ на русскую молодежь и неужели, въ самомъ дѣлѣ, мы изъ просвѣщенія и изъ литературы непремѣнно «выберемъ то, что погаже»? Фразёры и артисты философіи—совершенно тунеядные продукты, но есть же какой-либо *историческій общественный* смыслъ въ спектакляхъ Рудина и даже Шамилова.

Всѣ эти вопросы, какъ бы ни были настоятельны даже въ исторіяхъ Иванушекъ и гайльдъ-гарольдовъ, получаютъ громадное значеніе въ дальнѣйшихъ проявленіяхъ нашего европеизма. Если Иванушка ломается и находитъ въ этомъ удовольствіе, то исключительно ради подходящей публики, и мораль сатиры въ дѣйствительности можетъ оказаться совсѣмъ не той, какую вывелъ авторъ. Нужно устранить среду, удобную для подвиговъ Иванушекъ, т. е. преобразовать общество, казнить не Иванушекъ лично безусловно ничтожныхъ и безсильныхъ, а провѣтрить затхлый рабскій и варварскій воздухъ Совѣтницъ, Бригадировъ, Простаковыхъ, Скотининыхъ. А это значитъ, не подрывать кредита просвѣщенія вообще изъ-за глупцовъ, мнящихъ себя просвѣщенными, а всѣми силами способствовать его распространенію, вмѣсто фальшивой монеты пустить въ оборотъ подлинную и тѣмъ убить всякую незаконную спекуляцію.

То же самое будетъ справедливо и относительно позднѣйшихъ россіянъ съ сердцами той или другой зарубежной націи. Представьте, — Татьяна не существуетъ, что̀ тогда останется отъ эффектныхъ позъ Онѣгина? А какъ можетъ Татьяна не существовать? Очень просто. Пусть она получитъ другое воспитаніе и образованіе, пусть ея родители иначе станутъ понимать свой роди-

тельскій долгъ относительно дочерей, и Татьяны, вмѣсто сердечныхъ трепетовъ и поэтическихъ посланій въ честь Онѣгиныхъ начнутъ встрѣчать подобныхъ «столичныхъ слетковъ», самое большее, недоумѣніемъ и смѣхомъ. Еще печальнѣе при такихъ условіяхъ сдѣлалась бы участь Батмановыхъ.

Выводъ, слѣдовательно, ясенъ: отдѣльныя извращенныя отраженія европейскихъ настроеній и модъ только *симптомы* болѣзни, настоящій больной—*среда* нашихъ героевъ, и настоящая болѣзнь—*общественная* темнота и апатія. Это столь естественное заключеніе не входитъ въ кругозоръ нашихъ сатириковъ, и для примѣра достаточно припомнить, въ какое смущеніе и даже негодованіе пришелъ Гоголь отъ взглядовъ Бѣлинскаго на истинный смыслъ его произведеній... Критикъ взывалъ именно къ европейскому просвѣщенію, какъ противоядію противъ Чичиковыхъ, Сквозникъ-Дмухановскихъ и прочихъ внутреннихъ враговъ Россіи, а писатель—возводилъ въ перлъ созданія ученье на мѣдныя деньги и честное кулачество.

Такое недоразумѣніе возникло именно потому, что на сценѣ оказались уже не люди и не романическія чувства, а идеи. Галломановъ и англизированныхъ демоновъ еще, куда ни шло, можно принести въ жертву безъ различія «ранга и состоянія». Но картина совершенно мѣняется, когда дѣло идетъ не о салонныхъ и поэтическихъ увлеченіяхъ, а объ извѣстныхъ идеалахъ личной и общественной жизни.

Нашъ сатирикъ и здѣсь примѣнитъ свой обычный методъ, подвергнетъ развѣнчанію идейные отголоски Запада съ такимъ же непримиримымъ, подавляющимъ чувствомъ, какое раньше подсказало ему насмѣшки надъ модными костюмами и театральными позами. И на этотъ разъ нападеніе будетъ тѣмъ энергичнѣе и безповоротнѣе, чѣмъ серьезнѣе противникъ, но, сообразно съ энергіей и пыломъ борьбы, выростетъ и исконное недоразумѣніе. Сплошнымъ мрачнымъ фономъ будетъ охвачено *все* теченіе данной эпохи, выставлено на позоръ подъ какой-либо крикливой унизительной этикеткой.

Примѣръ подобной критики *идейныхъ* направленій былъ уже представленъ геніальнымъ сатирикомъ. «Теперь появилось въ русскомъ характерѣ донъ-кишотство, котораго никогда не было!»—вопитъ гоголевскій представитель здраваго смысла и «существенныхъ» благъ. Ему и на умъ не приходитъ, что въ донкихотствѣ далеко не одно сумасшествіе и не одинъ фарсъ, требуется еще кое-что, менѣе

всего заслуживающее гнѣва и смѣха. Вѣдь человѣкъ сталъ тратить собственныя деньги на больницы и школы, изъ Собакевича и Чичикова, изъ героя животнообразной крѣпостнической жизни всякаго рода плутней «на законномъ основаніи» превратился въ безкорыстнаго рыцаря просвѣщенія и человѣколюбія! Пусть онъ выполняетъ свои новыя задачи не цѣлесообразно и даже понимаетъ ихъ плохо, но даже если бы только одному изъ десяти крестьянскихъ мальчишекъ удалось выучиться грамотѣ или одному изъ сотни больныхъ мужиковъ посчастливилось вылѣчиться благодаря человѣколюбію донкишота-помѣщика, то вѣдь эта крупица должна быть зачтена за цѣлыя горы «всякой дряни», приносящей доходъ сметливымъ русскимъ Пансамъ въ родѣ Костанжогло и Муразова.

Но для сатирика не существуетъ подобныхъ соображеній и счастливо придуманный эпитетъ «донкишотство» долженъ не оставить камня на камнѣ въ великомъ и крайне разнообразномъ движеніи.

То же самое повторится и съ другими врагами *европеизма во что бы то ни стало*, только мишень измѣнится, мѣсто донкишотства, т.-е. гуманитарнаго идеализма, займутъ несравненно болѣе реальныя общественныя и нравственныя стремленія новыхъ поколѣній. А такъ какъ болѣе *реальныя* стремленія неминуемо вызываютъ еще болѣе усиленный натискъ, новый сатирикъ того же типа обнаружитъ еще болѣе нетерпимости и личнаго азарта въ войнѣ противъ современныхъ «донкишотовъ», и результаты на этотъ разъ окажутся еще фальшивѣе въ глазахъ читателей и прискорбнѣе лично для самого автора.

Но сколько бы ни было здѣсь фальши и какія бы рѣзкія чувства ни возбуждалъ въ насъ писатель, онъ, какъ художникъ и какъ выразитель извѣстнаго міросозерцанія, совершенно искрененъ и безусловно вѣренъ себѣ. Онъ вѣренъ себѣ не только *лично*, онъ съ неуклонной послѣдовательностью осуществляетъ цѣльный *типъ* русскаго человѣка и писателя. Мы объяснили нравственныя основы этого типа: здравый практическій смыслъ въ противовѣсъ теоріямъ и даже нерѣдко научнымъ идеямъ, могучее національное чувство, проникнутое стихійнымъ недовѣріемъ и подчасъ даже враждой къ произведеніямъ и результатамъ чужой культуры. Мы указали также, что такой типъ—прямое наслѣдство московской Руси. Онъ отнюдь не могъ исчезнуть при самыхъ настойчивыхъ правительственныхъ реформахъ и самыхъ го-

рячихъ общественныхъ увлеченіяхъ въ духѣ европейской гражданственности и мысли. Напротивъ. При всякомъ новомъ отпрыскѣ этого духа на русской почвѣ должно было повторяться явленіе, подобное московскому церковному расколу, свѣжія новшества неизбѣжно вызывали старую, вѣками воспитанную національную исключительность и завязывалась новая, какъ и раньше, ожесточенная, и для нѣкоторыхъ борцовъ непримиримая борьба. Протопопъ Аввакумъ не только одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ воителей раскола, онъ типичнѣйшій русскій человѣкъ старой Москвы. И аввакумовская натура, ея національный складъ не могъ, разумѣется, вывѣтриться подъ какими бы то ни было внѣшними вліяніями: иначе дешево бы стоило вообще русское племя! Эта натура пережила и петровскую реформу и всевозможныя европейскія наслоенія въ русскомъ обществѣ, живетъ она и до сихъ поръ. Только изъ области религіи и житейскихъ отношеній она перешла въ художественную литературу и свѣтскую мысль. И мы снова настоятельно подчеркиваемъ отличительный признакъ этого явленія: оно совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было отвлеченныхъ, теоретически составленныхъ и логически доказанныхъ принциповъ. Это не партія, не славянофильство, напримѣръ, и еще менѣе—шовинизмъ, хотя, конечно, славянофильскія умозрѣнія въ сильной степени разсчитаны на «московскіе» инстинкты. Всякая партія непремѣнно стремится къ *формуламъ*, если возможно къ научнымъ, нравственнымъ или историческимъ обоснованіямъ своего символа. Ради этой цѣли весьма часто совершается публицистическое насиліе надъ фактами и выводами.

Ничего подобнаго не происходитъ въ мысляхъ нашего художника. Онъ, напротивъ, посмѣется надъ теоретическимъ правовѣріемъ людей партіи и изобличитъ той же сатирой ихъ «ученыя» продѣлки надъ жизненной правдой. Онъ останется вѣренъ лишь своей національной *стихіи*, не нуждающейся въ теоріяхъ и инстинктивно враждебной имъ—все равно, въ области славянофильства или западничества, но одинаково на подкладкѣ общихъ идей. Его единственное *идейное* оружіе—*здравый смыслъ*, единственный политическій и общественный символъ—національный строй всей натуры. Мы видѣли, къ какимъ результатамъ, на военномъ положеніи, приводятъ эти несомнѣнно положительные задатки. И эти результаты менѣе всего исключительныя явленія; напротивъ, они типичны, они, при извѣстныхъ намъ условіяхъ, неизбѣжны, столь же естественны, какъ на противоположномъ полюсѣ самыя крайнія урод-

ства рабской подражательности всему европейскому только потому, что оно европейское.

Наше вступительное разсужденіе по поводу Писемскаго вышло очень пространнымъ. Но всѣ установленные нами факты и общіе выводы цѣликомъ и вполнѣ приложимы къ нашему автору. Мы на каждомъ шагу, въ личномъ характерѣ, въ творчествѣ и въ частностяхъ произведеній Писемскаго будемъ встрѣчаться съ самыми яркими и повелительными отголосками только-что охарактеризованнаго нами нравственнаго и общественнаго типа человѣка и писателя. Общая характеристика освободитъ насъ отъ многочисленныхъ оговорокъ, отъ объясненій каждаго факта отдѣльно, отъ болѣе или менѣе правдоподобныхъ толкованій самыхъ спорныхъ и въ то же время самыхъ существенныхъ моментовъ въ литературной дѣятельности писателя. Мы расчитываемъ,— именно эти моменты и вся роль Писемскаго въ нашей литературѣ явятся предъ нами только однимъ изъ звѣньевъ изображенной нами цѣпи и, слѣдовательно, съ самого начала для насъ исчезнутъ всѣ поводы и побужденія впасть въ пристрастныя настроенія подавляющаго большинства критиковъ Писемскаго. Психологія въ основныхъ чертахъ намъ дана; остается исторія, какъ самая подлинная и точная иллюстрація этой психологіи и какъ частное развитіе оригинальнѣйшей русской натуры, представляемой на этотъ разъ даровитѣйшимъ художникомъ слова.

VI.

Писемскому нѣсколько разъ приходилось лично описывать свою жизнь и характеризовать свою литературную дѣятельность. Эти описанія и характеристики — отрывочны, слишкомъ кратки, не охватываютъ всей біографіи писателя и касаются только нѣкоторыхъ произведеній. Но даже и въ такомъ видѣ «признанія» самого автора полны интереса. Кромѣ того, Писемскій историческія свѣдѣнія о своей внѣшней и нравственной жизни безпрестанно дополнялъ автобіографическими эпизодами и героями въ своихъ сочиненіяхъ и на многія изъ этихъ добавленій указалъ самъ, какъ на совершенно подлинный матеріалъ для своей собственной біографіи.

Въ сущности, всѣхъ этихъ прямыхъ и косвенныхъ сообщеній для насъ достаточно. Правда, нѣкоторые важнѣйшіе моменты не въ личной жизни, а въ литературномъ развитіи Писемскаго, ка-

жутся мало освѣщенными и, какъ увидимъ дальше, *результаты*, повидимому, не соотвѣтствуютъ *причинамъ* и *поводамъ*. Но въ такихъ случаяхъ намъ окажетъ существенную помощь возможно точно установленная *психологія* нашего автора, логика душевнаго міра восполнитъ пробѣлы въ исторіи внѣшнихъ фактовъ. Именно относительно Писемскаго этотъ процессъ слѣдуетъ считать вполнѣ цѣлесообразнымъ и надежнымъ въ виду органической цѣльности и самобытной послѣдовательности всей его натуры. Въ этомъ руководящемъ для насъ положеніи мы будемъ убѣждаться въ самые, на первый взглядъ, критическіе періоды художественнаго творчества и личныхъ настроеній Писемскаго.

Такое впечатлѣніе встрѣчаетъ насъ въ первыхъ же строкахъ наиболѣе подробной автобіографіи Алексѣя Ѳеофилактовича. Въ началѣ онъ предупреждаетъ читателя, что будетъ излагать исторію своей жизни подобно «лицамъ» «старинныхъ романовъ». Въ дѣйствительности изложеніе Писемскаго весьма мало походитъ на росказни романическихъ героевъ, да еще старинныхъ. Эти господа любили прикрасить свою рѣчь, въ особенности, когда дѣло шло о воспоминаніяхъ, набросить на прошлое чувствительную, подчасъ драматическую дымку грусти и тихихъ сожалѣній о невозвратно минувшемъ, вообще изъ фактовъ создать болѣе или менѣе эффектную рамку для собственной интересной особы.

Ничего подобнаго въ повѣствованіи Писемскаго.

Его родъ—старинный дворянскій, одинъ изъ предковъ при Иванѣ Грозномъ ѣздилъ въ Лондонъ посломъ для осмотра племянницы королевы Елизаветы, предполагаемой невѣсты царя. Объ этомъ послѣ сохранились довольно подробныя и любопытныя свѣдѣнія. Несомнѣнно, это былъ типичный московскій человѣкъ XVI-го вѣка, положительный энергическій слуга своего государя, гордый независимый съ иноземцами, не чуждый рѣзкости и надменности—всего, что цивилизованнымъ джентльмэнамъ Европы могло казаться азіятской грубостью и варварствомъ. Писемскій провелъ въ Англіи нѣсколько мѣсяцевъ, переговоры о сватовствѣ шли медленно; это не могло нравиться послу и онъ далъ понять свое настроеніе англійскому двору совершенно не дипломатическимъ способомъ. Когда Писемскому предложили позабавиться охотой, онъ заявилъ: «Мы здѣсь за дѣломъ, а не за игрушками; мы послы, а не стрѣлки»...

Другой историческій предокъ нашего автора — преподобный

Макарій Унженскій, основатель монастыря въ XIV вѣкѣ на рѣкѣ Унжѣ *).

Съ теченіемъ времени Писемскіе раздѣлились на нѣсколько вѣтвей и ближайшіе предки Алексѣя Ѳеофилактовича были люди бѣдные, по труду и образу жизни тѣ же крестьяне. Дѣдъ не зналъ грамотѣ, ходилъ въ лаптяхъ и пахалъ землю. Сыну его предстояла та же участь, если бы въ семейныя дѣла бѣдняка не вмѣшался богатый родственникъ, малороссійскій помѣщикъ. Онъ взялъ къ себѣ четырнадцатилѣтняго Ѳеофилакта Гавриловича съ цѣлью «устроить его судьбу». Но «устройство» оказалось весьма не высокаго полета. Питомецъ богача немногимъ поднялся выше своей родной семьи.

Прежде всего самое воспитаніе продолжалось лишь около года. Юношу «пообмыли, пообшили, выучили грамотѣ». Такъ пишетъ Алексѣй Ѳеофилактовичъ въ автобіографіи, въ пьесѣ «*Ветеранъ и новобранецъ*» онъ поясняетъ подробнѣе важнѣйшій пунктъ въ воспитаніи своего отца, именно, что значило «выучили грамотѣ». Ветеранъ Лазаревъ, по заявленію Писемскаго, въ разсказѣ о своей ранней молодости передаетъ ничто иное, какъ біографію отца автора.

Отставной полковникъ такъ разсказываетъ деревенскому сосѣду о первыхъ опытахъ своей юности:

«Привезъ меня въ полкъ отпускной солдатикъ. Парень я былъ лѣтъ пятнадцати, а рожей къ ставцу сѣсть не умѣлъ: изъ бѣдныхъ вѣдь дворянчиковъ родомъ. Нынѣшніе годы, вонъ, съ крестьянскихъ мальчиковъ за выучку грамоты берутъ десять да двѣнадцать рублевъ, а за меня заплатили дьячку пять четвериковъ овсеца; подолбилъ я у него: азъ, Ангелъ, Ангельскій, Архангелъ, Архангельскій, буки, Богъ, Божество, вѣди, Величество— вотъ те и ученье все, съ этимъ и на службу поѣхалъ».

Служба предстояла сначала въ Крыму, потомъ на Кавказѣ и продолжалась въ дѣйствующихъ арміяхъ лѣтъ тридцать. Для отца Писемскаго служба представляла единственную карьеру, един-

*) О посольствѣ Писемскаго Карамзинъ. *Ист. госуд. росс.* Спб. 1821, IX, 420—7. Было замѣчено, что преп. Макарій Унженскій, именуемый, по словамъ Писемскаго, въ сонмѣ святыхъ Макаріемъ *Писемскимъ*, не носитъ этого фамильнаго имени въ Четьихъ-Минеяхъ и источникъ свѣдѣній нашего писателя остается неудостовѣреннымъ и даже неизвѣстнымъ. П. Полевой. *А. Ѳ. Писемскій по его собственнымъ автобіографическимъ замѣткамъ. Ист. В.* 1889, т. XXXVIII, стр. 283.

ственный даже источникъ существованія, и онъ служилъ, пока хватало силы и не было пріобрѣтено извѣстное положеніе и матеріальное обезпеченіе. Лазаревъ продолжаетъ свой разсказъ на счетъ фрунтового образованія у унтеръ-офицера Соломенки «въ сажень ростомъ, рябого да чернаго, немного получше волка», потомъ о безвыходной бѣдности; разсказчику не на что было обмундироваться при полученіи перваго офицерскаго чина, только ставши поручикомъ, онъ могъ ѣсть «говядинку» каждый день, а «чаекъ пить съ капитановъ».

Тридцатилѣтняя служба увѣнчалась чиномъ маіора и, разумѣется, создала изъ стараго служаки своеобразную, физически и нравственно закаленную личность, спартанца въ обыденныхъ привычкахъ, строжайшаго почитателя дисциплины въ отношеніяхъ къ подчиненнымъ, все равно, солдатамъ, слугамъ или крестьянамъ, безукоризненно честнаго и прямого съ равными и независимаго съ сильными. Именно эти качества восхищаютъ Лазарева у его начальниковъ, и они во всей неприкосновенности были перенесены заслуженнымъ воиномъ въ семью и крѣпостное хозяйство.

Писемскій отецъ женился сорока пяти лѣтъ на тридцати семилѣтней дѣвушкѣ и съ такой же энергіей и сознаніемъ долга занялся помѣщичьими дѣлами, какъ раньше выполнялъ фрунтовую службу. Ни о какихъ эстетическихъ наклонностяхъ, столь свойственныхъ русскимъ старымъ барамъ, не было и помину у владѣльца села Раменья. Даже чай составлялъ для него исключительную роскошь, другой ѣзды, кромѣ верховой, онъ не выносилъ; въ рессорномъ экипажѣ его тошнило, провести ночь въ натопленной комнатѣ для него было пыткой: кровь носомъ шла! Но за то въ практической жизни онъ являлся, по выраженію сына, человѣкомъ *поля*, *боя* и *нужды*.

Алексѣй Феофилактовичъ неоднократно изображаетъ эти добродѣтели своего отца. Въ романѣ люди *сороковыхъ годовъ*, въ разсказахъ *Плотничья артель*, *Батька* разсѣяны дѣтскія впечатлѣнія автора, причемъ въ послѣднихъ двухъ произведеніяхъ самъ авторъ является дѣйствующимъ лицомъ съ своимъ подлиннымъ именемъ. И всюду возстаетъ одинъ и тотъ же образъ: почвенная натура, почти не тронутая просвѣщеніемъ и культурой, совершенно чуждая высшимъ умственнымъ интересамъ, вообще какимъ бы то ни было отвлеченнымъ идеаламъ и чувствамъ, но необычайно сильная здравымъ жизненнымъ смысломъ, неподдѣльно искренняя и по инстинктивнымъ влеченіямъ сердца добрая и даже рыцарственная.

Крѣпостные мужики, по словамъ Писемскаго-сына, «трепетали» его отца, но трепетать приходилось только «дуракамъ и лѣнтяямъ» и, по исконной мужицкой логикѣ, именно за это и уважали помѣщика его «подданные». Въ романѣ выведенъ нѣкій Макаръ Григорьевъ, одна изъ удачнѣйшихъ фигуръ вообще въ произведеніяхъ Писемскаго. Макаръ Григорьевъ — простой крѣпостной мужикъ, успѣвшій нажить не малыя деньги, грубый и совершенно некультурный въ своихъ обычаяхъ и нравахъ, но истинный мудрецъ въ вопросахъ мужицкой и вообще практической жизни. Авторъ относится къ нему съ явнымъ сочувствіемъ и даже уваженіемъ, пишетъ цѣлую главу подъ заглавіемп *Житейская мудрость Макара Григорьева* съ цѣлью показать, на сколько необразованный Макаръ Григорьевъ съ своимъ здравымъ смысломъ выше и сильнѣе мечтательнаго университетскаго идеолога. Мы еще встрѣтимся съ этимъ эпическимъ образомъ русскаго образцоваго мужика, какъ его представлялъ нашъ авторъ. Теперь мы хотимъ указать на удивительное совпаденіе «житейской мудрости» Макара Григорьева съ нравственными достоинствами Писемскаго-отца, какъ они рисуются по разсказамъ сына, и именно эти два человѣка одинаково близки сердцу самого художника.

Макаръ Григорьевъ—самъ мужикъ и крѣпостной—смотритъ на мужиковъ безъ всякихъ иллюзій, нисколько не стараясь выдѣлить самого себя изъ общаго круга. Онъ безпощадно иронизируетъ надъ гуманными затѣями молодого барина, надъ его слишкомъ любезнымъ и мягкимъ обращеніемъ съ приказчикомъ и съ нимъ самимъ, Макаромъ Григорьевымъ. Для этого мудреца справедливость, и притомъ не отвлеченная, а самая наглядная—«каждому по дѣломъ его», выше гуманности и терпимости. И онъ не различаетъ своей «справедливости» отъ «строгости», потому что, по его мнѣнію, баринъ вѣчно долженъ быть на стражѣ противъ мужицкой лѣности и глупости. Упускать изъ виду эти, по представленію Макара Григорьева, исконные недуги деревенскаго міра, значитъ прямо совершать преступленіе предъ Богомъ и совѣстью, и ужъ, конечно, играть весьма нелестную роль въ умственномъ смыслѣ. Отсюда наставническій, снисходительно-насмѣшливый тонъ Макара Григорьева съ высоко-просвѣщеннымъ и безгранично добрымъ бариномъ. И въ результатѣ побѣда остается за «житейской мудростью»: такое, по крайней мѣрѣ, впечатлѣніе, должно возникнуть у читателя при явномъ внушеніи со стороны автора.

Особенно для насъ въ данномъ случаѣ любопытно слѣдующее разсужденіе Макара Григорьева въ самыя рѣшительныя минуты для молодого помѣщика, только что ставшаго полновластнымъ хозяиномъ:

«Поѣдете вы, сударь, теперь въ деревню... Ждать строгости отъ васъ нечего: строгаго господина никогда изъ васъ не будетъ, а тоже и поблажкой, сударь, можно все испортить дѣло. Я такъ понимаю, что господа теперь для насъ все равно, что родители: что хорошо мы сдѣлали, имъ долженствуетъ хвалить насъ, худо—наказать. Вотъ этого-то мы, пожалуй, съ нашимъ бариномъ и не съумѣемъ сдѣлать, а промежъ тѣмъ вы за всѣхъ насъ отвѣчать Богу будете, какъ пастырь за овецъ своихъ. Ежели какая овца отшатнется въ сторону, её плетью по боку надо хорошенько... У мужика шкура толстая: надобно, чтобъ онъ чувствовалъ, что его наказываютъ».

И мужики подтверждаютъ это воззрѣніе своего умнѣйшаго и по мужицки лучшаго собрата. Они плачутъ надъ могилой полковника Вихрова, и на вопросъ сына, за что такой почетъ его отцу, получается отвѣтъ:

«За справедливость!.. справедливъ ужъ очень былъ!»

Этотъ «справедливый» оплакиваемый мужиками помѣщикъ—Вихровъ, во многихъ отношеніяхъ двойникъ Писемскаго-отца. Такой же отзывъ слышимъ мы и отъ другого столь же дѣльнаго мужика, какъ и Макаръ Григорьевъ, Петра—героя *Плотничьей артели*. Петръ уже открыто направляетъ похвалы свои на отца автора разсказа, изображаетъ съ глубокимъ уваженіемъ строгаго барина и хозяйственнаго помѣщика и прямо говоритъ сыну, что старикъ былъ «умнѣе» его: мужики тогда знали страхъ, не смѣли лѣниться и обманывать своего господина...

Для насъ не столько важны сами по себѣ нравственныя черты Писемскаго-отца, сколько поучительно отношеніе къ нимъ сына и вліяніе дѣтскихъ и юношескихъ впечатлѣній на будущаго писателя съ сатирическимъ талантомъ. Отецъ для нашего автора первая положительная личность русскаго человѣка—именно по своей натурѣ, по своимъ отношеніямъ къ жизни и людямъ. Всѣ воспоминанія о немъ сына проникнуты не только естественнымъ *сыновнимъ* чувствомъ, но и *общечеловѣческимъ*, мы хотимъ сказать—не только личной любовью, но и всесторонней идеализаціей. Отецъ для Писемскаго, даровитѣйшаго критика русской дѣйствительности, одно изъ прекраснѣйшихъ воплощеній русской

національной природы, въ нравственномъ отношеніи — «строгій исполнитель долга», «неподкупной честности», *по натурѣ*,—безъ всякихъ теорій и просвѣтительныхъ вліяній, въ умственномъ—совершенный представитель здраваго смысла и житейской мудрости.

Въ атмосферѣ этого идеала росъ и воспитывался Алексѣй Феофилактовичъ. Отцовскій душевный складъ — самое реальное наслѣдство, полученное будущимъ художникомъ, а повседневное воздѣйствіе на ребенка и юношу простой, многозаботной, въ высшей степени положительной жизни родного дома, должно было только укрѣпить и развить природные задатки. Великій художественный талантъ не могъ разрушить исконной родовой почвы. Позднѣйшій потомокъ дѣловитаго, суроваго московскаго дворянина, внукъ лапотника-хлѣбопашца, сынъ человѣка боя и нужды, до конца остался вѣренъ семейнымъ преданіямъ. Безусловный сторонникъ наслѣдственности сказалъ бы, что предъ нами цѣлая раса опредѣленнаго типа, необычайно устойчивая, рѣзко отмѣченная національнымъ русскимъ характеромъ и въ теченіе вѣковъ не утратившая главнѣйшихъ основъ своей духовной личности. Но намъ не надо вдаваться ни въ какія общія мало надежныя соображенія: достаточно совершенно осязательныхъ фактовъ, чтобы съ возможной точностью опредѣлить господствующія черты въ семьѣ Писемскихъ и прослѣдить ихъ осуществленіе на самыхъ разнородныхъ поприщахъ—отъ крѣпостного хозяйства до творческаго искусства.

VII.

Бѣдность и неразлучныя съ ней униженія у самыхъ стойкихъ людей развиваютъ въ теченіе долгихъ лѣтъ раздражительность, крайне болѣзненную чуткость ко всякимъ, даже мнимымъ посягательствамъ на самолюбіе и личное достоинство. Гордость бѣдняка, по натурѣ благороднаго, но прошедшаго жестокую школу борьбы за существованіе, гораздо щекотливѣе, чѣмъ самый придирчивый point d'honneur сибарита-аристократа. Ему, истерзанному разочарованіями, неудачами и людскими капризами, чудится подчасъ злой умыселъ и затаенное оскорбленіе, гдѣ на самомъ дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ и чтобы ему повѣрить въ чье-либо чистосердечіе и доброту требуется часто немалое усиліе. Такъ на почвѣ больныхъ, вѣчно напряженныхъ нервовъ, прививается особаго рода практическій скептицизмъ и недовѣріе къ людямъ. Эти настроенія — простая логика фактовъ, неизбѣжно

переживаемыхъ всякимъ среди мелочныхъ, но матеріально необходимыхъ столкновеній съ дѣйствительностью. Естественно, въ извѣстной мѣрѣ пессимистическое отношеніе къ жизни и къ человѣчеству въ такихъ случаяхъ одно изъ правилъ, точнѣе, одинъ изъ инстинктовъ «житейской мудрости».

Всѣ эти черты господствовали въ характерѣ Писемскаго-отца и перешли къ сыну. И въ автобіографіи, и въ автобіографическихъ произведеніяхъ нашего автора старикъ всюду рисуется гнѣвливымъ и раздражительнымъ до бѣшенства, и притомъ болѣзненно подозрительнымъ въ вопросахъ личнаго достоинства. Въ разсказѣ *Батька* предъ нами одна изъ обычныхъ, очевидно, сценъ въ семьѣ Писемскихъ. Легко угадать, какой особенно предметъ поднималъ кровь у самолюбиваго воина, владѣвшаго единственнымъ достояніемъ—нѣсколькими десятилѣтіями безпорочной службы. Малѣйшій намекъ на все, что казалось намекомъ на его нищету, доводилъ его до самозабвенія, и онъ могъ кричать облагодѣтельствовавшей его женѣ укоризны въ родѣ слѣдующихъ:

«А, ты госпожа, помѣщица здѣшняя!.. Ты все можешь знать и всѣмъ располагать; а я нищій... голышъ, приведенный сюда такъ, Христа ради?... Врете! Я господинъ всѣмъ вамъ: и тебѣ и твоей челяди!»

Подобная сцена происходитъ и съ полковникомъ Вихровымъ.

Богатая генеральша намѣрена помочь полковнику въ воспитаніи сына, «блеснуть передъ нимъ собственнымъ великодушіемъ», по выраженію автора. Она хочетъ видѣть сына своего сосѣда гвардейцемъ, обѣщаетъ «поддерживать» молодого человѣка на службѣ и завѣщать то же самое своему наслѣднику. Но Вихровъ, во-первыхъ, не вѣритъ въ добрую волю сынка покровительницы, а ея ссылку на «законъ» перебиваетъ крайне рѣзкой отповѣдью:

«А мой сынъ никогда не станетъ по закону требовать себѣ того, что ему не принадлежитъ, или я его и за сына считать не буду». И долго полковникъ не можетъ успокоиться отъ назойливаго и обидно-покровительственнаго вмѣшательства знатной госпожи въ его личныя дѣла.

Совершенную противоположность отцу представляла мать будущаго писателя, и родственники Писемскаго съ этой стороны не менѣе любопытны для полной оцѣнки психологическаго состава его художественной натуры. Въ семьѣ Шиповыхъ, повидимому, въ такой же степени были развиты идеальныя черты стараго русскаго барства, въ какой—у Писемскихъ процвѣталъ житейскій

реализмъ. И эти черты впослѣдствіи Писемскій воспроизводилъ въ своихъ романахъ съ не меньшимъ сочувствіемъ, чѣмъ «мудрость» и практическую положительность отцовской расы. И для насъ настоятельно важно опредѣлить теперь, по крайней мѣрѣ, въ общихъ чертахъ, въ чемъ состоялъ этотъ идеализмъ и какъ онъ могъ ужиться такъ легко съ «житейской мудростью» въ духѣ Макара Григорьева.

Опредѣленіе это очень не трудно и не замысловато. Идеализмъ родичей семьи Шиповыхъ ничто иное, какъ эстетика, прекраснодушіе, сибаритское поклоненіе красотѣ, чувствительности и сердечной незлобивости, однимъ словомъ, исконный романтизмъ крѣпостнической эпохи, превосходно извѣстный по роману Тургенева *Дворянское гнѣздо*. У хорошихъ людей «добраго стараго времени» было много благихъ намѣреній, даже большой запасъ человѣколюбія и гуманныхъ настроеній, но въ то же время полное неумѣніе осуществить въ дѣйствительности все это душевное богатство, любовь безъ дѣлъ или съ крайне наивными, непрочными, въ полномъ смыслѣ *поэтическими* дѣлами, намѣренія рядомъ съ безпомощностью и слѣпотой, чувства на почвѣ сладкихъ мечтаній и идиллическихъ представленій о самыхъ прозаическихъ предметахъ. Этотъ романтизмъ могъ принимать разнообразныя направленія: у натуръ художественныхъ на сцену являлись віолончель, стихи, всякаго рода собранія рѣдкостей и книгъ, у людей болѣе склонныхъ къ отвлеченному мышленію—причуды въ родѣ современнаго спиритизма, игра въ мистику и масонство, вообще въ безобидный, но съ виду необычайно серьезный и сложный маскарадъ, наконецъ, у дѣятельныхъ романтиковъ—крестьянскія фермы, англійскія машины и «народничество» въ духѣ Павла Кирсанова. Всѣ эти цвѣты праздности и прекраснодушія чаще всего оказывались пустоцвѣтами и служили только утѣхой для самихъ героевъ и потѣхой для нѣкоторыхъ скептическихъ зрителей, довольно, впрочемъ, рѣдкихъ въ цвѣтущій періодъ «старенькихъ романтиковъ».

Вотъ такого сорта идеализмъ коренился и въ семьѣ Шиповыхъ и родственной семьѣ Бартеневыхъ. Двухъ Бартеневыхъ—одного эстетика, другого «мыслителя», т.-е. масона и мистика Писемскій изобразилъ въ романахъ *Люди сороковыхъ годовъ* и *Масоны*. Есперъ Иванычъ—В. И. Бартеневъ, а полковникъ Марѳинъ—Ю. И. Бартеневъ. Первый эстетикъ, необычайно усердный читатель книгъ, поклонникъ искусства, и, какъ это всегда водилось у подобнаго сорта «идеалистовъ», женской души и любви. Нашъ авторъ впа-

дастъ даже въ несвойственный ему лирическій тонъ, изображая своего тепличнаго и оранжерейнаго героя. Есперъ Иванычъ «при нѣкоторой брезгливости къ жизни, первѣй всего благороденъ, великодушенъ и возвышенъ въ своихъ чувствованіяхъ». Но отъ этихъ чувствованій никому ни тепло, ни холодно, кромѣ немногихъ избранниковъ, имѣющихъ, такъ сказать, доступъ во «внутренніе покои» барственной и художественной теплицы.

Полковникъ Марѳинъ также отличается очень развитымъ эстетическимъ чувствомъ по части женской души и «необыкновенно поэтическихъ глазъ» нѣкоей дѣвицы Людмилы, но въ тоже время онъ рыцарь масонскаго ордена, т. е. его теплица нѣсколько пространнѣе и пестрѣе обставлена, чѣмъ у Есперa Иваныча. У того нѣтъ рѣшительно никакихъ общественныхъ инстинктовъ, у полковника—должны быть, по уставу, сектантскіе, общественные въ предѣлахъ «ордена». И Марѳинъ дѣйствительно очень энергиченъ на своемъ поприщѣ, безпрестанно занятъ протекціями и рекомендаціями, всякаго новаго «брата» онъ обязанъ въ то же время сдѣлать и «человѣкомъ», т. е. вывести въ люди, какъ это понимается самыми обыкновенными «бабушками» относительно «племянниковъ». Случается Марѳину нерѣдко «вскипѣть»: вообще это рыцарь, до крайности раздражительный и хлопотливый, тогда онъ призываетъ на помощь свои масонскія связи и вообще противъ зла—независимо отъ интересовъ «ордена». Тогда авторъ увѣряетъ насъ, что у его героя существуетъ «живая струйка гражданина»...

Да, развѣ только «струйка», потому что настоящій гражданинъ не станетъ всю жизнь купаться въ бездонномъ морѣ отнюдь не гражданскихъ струй, пробавляться, въ *лучшія минуты* своего духовнаго бытія, безсмысленными на русской почвѣ представленіями и смущать невинныхъ овецъ въ родѣ красивыхъ дѣвицъ и простодушныхъ капитановъ мистическими хитросплетеніями и этимъ туманомъ заслонять отъ глазъ правду живой реальной жизни.

Для насъ обѣ эти фигуры, отшельника-эстетика и пылкаго «мастера», занимательны, конечно, не сами по себѣ, а по ихъ положенію въ чувствахъ и мысляхъ нашего автора. Они оба въ романахъ Писемскаго играютъ роль положительныхъ явленій, безъ оговорокъ и тѣней. Для писателя глубоко симпатиченъ романтизмъ, выросшій въ тунеядномъ крѣпостническомъ царствѣ, почтененъ племенной аристократизмъ старенькихъ фантазёровъ и кавалеровъ. Онъ это заявитъ еще откровеннѣе въ лицѣ третьяго подобнаго героя, Бѣгушева, въ романѣ *Мѣщане*. Этотъ великолѣпный, красивый

баринъ, съ экзотическими вкусами, съ добрымъ сердцемъ, но уже не съ «нѣкоторой», а съ принципіальной и нетерпимой брезгливостью къ «жизни», противоставленъ демократическимъ, «мѣщанскимъ» теченіямъ вѣка. Конечно, и «мѣщане», при такомъ сопоставленіи, отнюдь не «соль земли», совершенно напротивъ, но тѣмъ ярче оттѣняется великолѣпіе благороднаго утонченно-просвѣщеннаго созерцателя. Авторъ пишетъ даже нарочитое оправдательное слово своему «человѣку слова, а не дѣла...» Впослѣдствіи мы оцѣнимъ смыслъ этого и многихъ другихъ подобныхъ лирическихъ отступленій, теперь мы желаемъ только установить другую *положительную* область дѣтскихъ и юношескихъ впечатлѣній Писемскаго.

Съ одной стороны, отецъ—великій практикъ, представитель русскаго народнаго здраваго смысла, «исполненный житейской мудрости» и вмѣстѣ съ тѣмъ «необразованный, какъ простой солдатъ». Такова, по словамъ сына, умственная природа его отца; нравственная—«добрый и въ то же время бѣшеный»; это значитъ крайне чуткое самолюбіе, въ высшей степени раздражительная нервная система и открытое благородство сердца.

Съ другой стороны, мать, изъ семьи романтиковъ и идеалистовъ, «нервная, мечтательная, тонко-умная». Образованіе ея, конечно, далеко не обширное: за эстетиками-отцами не водилось грѣха серьезно воспитывать дѣтей, но, оговаривается сынъ, «при всей недостаточности воспитанія, прекрасно говорившая и любившая общительность». Въ разсказѣ *Батька* прибавляются и другія черты—глубокая сердечность, мягкость, сдержанность и присутствіе духа при вспышкахъ мужа. Однимъ словомъ, это женщина великой «душевной красоты», и сынъ свидѣтельствуетъ, что мать его, некрасивая въ болѣе молодые годы, съ лѣтами все дѣлалась красивѣе. Это бросалось въ глаза и его отцу.

Въ результатѣ—соединеніе неприкрашеннаго жизненнаго реализма и романтической чистой поэзіи, необычайно развитой практическій умъ и тонкая художественная натура. Возможно ли цѣлостное сліяніе столь, повидимому, различныхъ нравственныхъ задатковъ? Намъ этотъ вопросъ невольно долженъ представиться съ самаго начала: предъ нами откроется дѣятельность истиннаго «сына своихъ отцовъ», т. е. высоко-художественное *творчество*, въ полномъ смыслѣ стихійное, непосредственное, рядомъ съ самымъ прозаическимъ, тоже непосредственнымъ, но только отнюдь не вдохновеннымъ и не идеальнымъ *міросозерцаніемъ*, мы хотимъ сказать—тѣсно привязаннымъ къ землѣ и къ дѣйствительности.

Для разрѣшенія даннаго вопроса мы могли бы указать примѣры въ русской литературѣ, уже давно знающей подобнаго рода психологію,—указать, конечно, не для безусловной характеристики именно нашего писателя, а для доказательства достовѣрности извѣстнаго *общаго психологическаго явленія*. Мы могли бы, положимъ, вспомнить объ одномъ изъ самыхъ жизненныхъ созданій Гончарова—о Петрѣ Иванычѣ Адуевѣ. По необычайно развитому практическому генію, этотъ герой преднамѣренно изображенъ рядомъ съ безпочвеннымъ легкомысленнымъ романтикомъ. Онъ—положительный мудрецъ и трезвый дѣятель, безпощадный врагъ всякихъ теорій и иллюзій. Но въ то же время эстетическими вкусами и разностороннимъ художественнымъ образованіемъ онъ гораздо выше своего романтическаго племянника. Онъ «знаетъ наизусть не одного Пушкина и имѣетъ прекрасную коллекцію фламандской школы»... При случаѣ Петръ Иванычъ, навѣрное, можетъ устроить настоящее ратоборство съ завзятыми знатоками всевозможныхъ «школъ» и «коллекцій», и здѣсь же, съ полной солидностью и знаніемъ дѣла оборудуетъ самую головоломную аферу. Таковъ Петръ Иванычъ Адуевъ, и никто не скажетъ, чтобы это былъ праздный вымыселъ авторской фантазіи. Напротивъ, поэтическій Александръ скорѣе нѣчто сочиненное, во всякомъ случаѣ менѣе удавшееся автору лицо. И въ результатѣ племянникъ кончаетъ дядюшкой, т. е. вступаетъ на тотъ же путь эстетическаго комфорта и корректнаго стяжанія «имущества не мечтательнаго». Указавши на столь разносторонніе таланты гончаровскаго героя, мы могли бы дальше раскрыть психологическую тайну этой разносторонности, даже проще—указать разгадку въ чичиковской характеристикѣ идеаловъ Костанжогло. «Оставивъ *общечеловѣческое*, позвольте обратить вниманіе на *приватное*», говоритъ деликатный Павелъ Иванычъ, однимъ ударомъ кисти давая нравственный обликъ всѣмъ старымъ и будущимъ Костанжогло.

Да, *приватное* для нихъ вся сущность человѣческаго бытія, все равно, будетъ ли это доходная «дрянь» или довольно раззорительная художественная «коллекція». Ни тамъ, ни здѣсь—для Костанжогло просто стяжателей и для Костанжогло стяжателей-эстетиковъ нѣтъ *общаго* смысла, а лишь утѣха собственной выхоленной плоти, и фламандская картина и стихотвореніе Пушкина для нихъ нѣчто въ родѣ послѣобѣденной рюмки ликера. На картинѣ, напримѣръ, представлена самая удручающая драма, положимъ, взрывъ въ угольныхъ копяхъ. Петру Иванычу любопытно

будетъ оцѣнить, *какъ* изображены разорванные на части трупы рабочихъ, или какъ «вырисованы» лица смертельно раненыхъ, вообще прикинуть данный жанръ и пейзажъ къ своему эстетическому аршину. А что, какое не *художество*, а *жизненное явленіе* скрывается за мазками и перспективами, этотъ вопросъ не входитъ въ душу Петра Иваныча, просто нѣтъ въ ней струны, созвучной подобнымъ не-художественнымъ безпокойствамъ. И Петръ Иванычъ, даже не переставая любоваться на картину, съ совершенной ясностью и невинностью духа можетъ пріобрѣсти «существенный» пай какъ разъ въ томъ самомъ предпріятіи, которое въ изобиліи поставляетъ художникамъ матеріалъ для самыхъ, на не практическій взглядъ, «безпокойныхъ» жанровъ. Петръ Иванычъ, конечно, выросъ изъ тѣхъ порядковъ, когда русскіе вольтерьянцы раздѣлывались съ «этимъ народомъ» на конюшнѣ по всѣмъ правиламъ отечественнаго искусства. Но тоже самое соединеніе «тонкаго просвѣщенія», или «высшихъ потребностей» съ полнѣйшимъ равнодушіемъ къ грубому матеріалу, на которомъ созидаются эти потребности и процвѣтаетъ комфортабельная культура, характеризуетъ одинаково и тургеневскаго Пѣночкина, и гоголевскаго Костанжогло, и гончаровскаго Адуева. Разница только въ оттѣнкахъ «приватныхъ» вкусовъ...

Повторяемъ, мы могли бы привести множество иллюстрацій изъ художественной литературы для интересующаго насъ психологическаго типа. Но литературные примѣры во многихъ отношеніяхъ неудобны. Прежде всего они слишкомъ рѣзки, ярки, слишкомъ цѣльны и потому внушаютъ невольное сомнѣніе почитателямъ только-что поименованныхъ героевъ въ дѣйствительности. Эти почитатели всегда могутъ сослаться на авторское воображеніе, поэтическую вольность. Потомъ, художественные образы иногда могутъ только въ *общихъ* чертахъ соотвѣтствовать опредѣленной реальной фигурѣ. И, наконецъ, ничего нѣтъ убѣдительнѣе, какъ нравственная исторія *личности*, вполнѣ совпадающая съ художественнымъ развитіемъ *писателя*. Такая группа фактовъ, естественно и неразрывно связанная однимъ и тѣмъ же принципомъ, не можетъ вызвать никакихъ сомнѣній и возраженій. Именно Писемскій, какъ писатель и какъ человѣкъ, представляетъ такой краснорѣчивый примѣръ. Мы ознакомились съ наслѣдственными основами его натуры, обратимся къ его личной жизни.

VIII.

Писемскій въ автобіографіи такъ повѣствуетъ о своемъ дѣтствѣ.

«По разсказамъ, я росъ очень болѣзненно въ раннемъ дѣтствѣ и ужасно капризничалъ: то у меня являлась страсть сосать сафьяновые башмаки, то требовалъ грязной воды, въ которой меня мыли, то требовалъ куска, который отецъ проглотилъ; былъ даже, говорятъ, лунатикъ, такъ что меня лавливали входящимъ на чердакъ».

Эта нервозность и странная склонность ребенка къ неэстетическимъ прихотямъ отнюдь не случайныя и мимолетныя явленія. Явно болѣзненные задатки дѣтскаго возраста разовьются, и нервная система никогда не придетъ въ равновѣсіе, напротивъ, съ годами душевное состояніе Писемскаго будетъ принимать все болѣе мрачные и зловѣщіе оттѣнки, а не чистоплотные дѣтскіе вкусы останутся, будто предзнаменованіемъ позднѣйшихъ, крайне реалистическихъ тенденцій въ искусствѣ и слишкомъ положительныхъ стремленій въ пріятностяхъ жизни...

Ни природная психологія, ни инстинктивные вкусы Алексѣя Феофилактовича не встрѣтили съ самаго начала энергическаго отпора и не подверглись ни малѣйшему воспитательному исправленію. Изъ многочисленнаго потомства родителей Писемскій остался единственнымъ сыномъ и сталъ, по его словамъ, «божкомъ для отца и матери, да, сверхъ того, еще для двухъ тетокъ, барышень Шиповыхъ». Всѣ женщины въ высшей степени баловали мальчика и сосѣди говорили, что у него не одна мать, а три.

Въ результатѣ ребенку предоставлена полная свобода. Онъ можетъ сколько угодно ѣздить верхомъ, уѣзжаетъ въ лѣсъ за нѣсколько верстъ отъ усадьбы, предается во время прогулокъ шалостямъ своей фантазіи, одновременно увлекается охотой, встаетъ рано по утрамъ, безъ конца бродитъ въ лѣсу, живетъ здѣсь цѣлыми днями.... Естественно, у юнаго наѣздника и охотника развивается чувство самостоятельности, особенно притязательнаго, чисто дѣтскаго, но тѣмъ болѣе настойчиваго—достоинства.

Алексѣй Феофилактовичъ, очевидно, былъ самъ своимъ главнѣйшимъ воспитателемъ. Нельзя, конечно, отрицать благодѣтельныхъ вліяній природы на живую художественную натуру мальчика, высоко слѣдуетъ цѣнить и нравственный ростъ личности, хотя бы даже съ самыхъ юношескихъ лѣтъ, но ребенокъ съ нерв-

ной, крайне прихотливой организаціей нашего героя безусловно нуждается въ пристальномъ руководительствѣ извнѣ. Мечты среди лѣсной глуши, красивое гарцованіе на лошади, смѣлыя охотничьи экскурсіи—все это, несомнѣнно, взвинчиваетъ и даже укрѣпляетъ природныя задатки—силы, энергіи, пробуждаетъ смутные творческіе образы въ душѣ будущаго художника. Но эти образы могутъ навсегда остаться безотчетными, сила не пріобрѣтетъ ясной сознательной цѣли, если молодой умъ не будетъ подвергнутъ строгому искусу знанія и мысли, если первоначальные годы будутъ заполнены праздной игрой самодовольной фантазіи. Въ результатѣ можетъ выработаться человѣкъ безсильный—и въ самый зрѣлый періодъ жизни—считаться съ повелительными запросами времени и общества, способный только или замкнуться въ исключительно личный міръ исконныхъ, безсознательно развившихся сочувствій и отрицаній, или, что еще печальнѣе, столь же стихійно протестовать противъ непонятыхъ и непродуманныхъ явленій.

Писемскій съ дѣтства сталъ именно на этотъ опасный путь. Совершенно независимый въ воспитаніи, онъ столь же мало былъ подчиненъ и умственнымъ вліяніямъ. «Учиться меня особенно не нудили,—разсказываетъ онъ,—да я и самъ не очень любилъ учиться». Несомнѣнно, болѣзненность и нервность ребенка должны были заставить родителей осмотрительнѣе относиться къ вопросу объ ученьѣ. Но врядъ ли этотъ мотивъ явился причиной крайне небрежнаго ранняго образованія будущаго писателя. Ему, по крайней мѣрѣ, свободно разрѣшалось читать книги, менѣе всего подходившія къ нервной организаціи малолѣтняго читателя. Съ особенной «страстью» читались романы, было поглощено большинство романовъ Вальтеръ Скотта, «Донъ-Кихотъ». Это довольно обычное дѣтское чтеніе, но ребенокъ пошелъ гораздо дальше, прочелъ такіе продукты французской литературы, какъ *Жильблазъ*, *Хромой бѣсъ* и даже *Фоблазъ*. Дѣтскихъ книгъ, естественно, юный читатель «терпѣть не могъ»: онъ уже привыкъ чувствовать себя взрослымъ не по лѣтамъ.

Что касается собственно образованія, оно почти отсутствовало. «Наставники у меня были очень плохіе и все русскіе», сообщаетъ самъ авторъ. Изъ языковъ ему преподавался лишь одинъ латинскій, новые языки, столь распространенные въ старинной помѣщичьей средѣ, остались для Писемскаго чуждыми на всю жизнь. И любопытно, чуждыми не потому, чтобы онъ не желалъ выучиться, а просто иностранные языки не усвоивались его способ-

ностями, онъ быстро забывалъ все, что случалось узнать въ этой области... Фактъ не крупный, но весьма краснорѣчивый въ общемъ нравственномъ складѣ своеобразной природы нашего писателя.

Писемскій въ дополненіе къ автобіографіи ссылается на исторію дѣтства Павла Вихрова. Здѣсь перечисляются учителя, просвѣщавшіе Алексѣя Феофилактовича: приходскій дьяконъ, — онъ занимался ежедневно часа по два, его смѣнилъ разстрига попъ, вскорѣ уволенный за крайне неумѣренное пьянство, наконецъ, «старичокъ», странствующій учитель помѣщичьихъ дѣтей. О гувернанткахъ и гувернерахъ не было и помину, и авторъ романа находитъ здѣсь очень выгодную сторону въ воспитаніи своего героя. Для него не изобрѣтались causeries, ему не читались дѣтскія книжки и вообще «ничто какъ бы не лелѣяло и не поддерживало въ немъ дѣтскаго возраста, а скорѣе игра и ученіе все задавали ему задачи больше его лѣтъ».

Это, повидимому, невинное и даже справедливое замѣчаніе въ дѣйствительности чревато весьма двусмысленнымъ содержаніемъ. Несомнѣнно, Писемскій въ эпоху возникновенія романа *Люди сороковыхъ годовъ*, т. е. въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, былъ склоненъ въ высшей степени идеализировать «свое дѣтское ученье на мѣдныя деньги» и въ болѣе «европейскомъ» воспитаніи видѣлъ только забавныя и отрицательныя черты. Онъ не хотѣлъ признать, что рядомъ съ глупыми causeries русскія дѣти, по крайней мѣрѣ, счастливо одаренныя, усвоивали первые начатки образованности въ строгомъ смыслѣ слова, даже при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, какія, напримѣръ, сопровождали дѣтство Пушкина или Тургенева,—знакомство съ иностранными языками открывало юной мысли двери въ болѣе пространный и свѣтлый міръ, чѣмъ русскія деревенскія и притомъ крѣпостническія будни. Никто не станетъ отрицать, — заграничные выходцы, педагоги-авантюристы приносили часто непоправимый вредъ русскому просвѣщенію и даже семейнымъ нравамъ, но въ человѣческой исторіи и жизни ни одного явленія нѣтъ безъ тѣней и ни одного предмета безъ изнанки. Такъ и въ европейскомъ воспитаніи русскихъ дворянскихъ поколѣній. «Попы-разстриги» и «старички», т. е. Кутейкины и Цыфиркины отнюдь не совершеннѣе Вральмановъ, и только личныя богатыя дарованія мѣшали русскимъ воспитанникамъ выходить изъ рукъ подобныхъ воспитателей достойными дѣтищами Простаковыхъ и Скотининыхъ.

Но даже и эти дарованія, съ самаго начала лишенныя куль-

турной выработки, не устраняли самыхъ странныхъ чувствъ и инстинктивныхъ предразсудковъ. Примѣръ, тотъ же Писемскій.

Онъ, по словамъ одного изъ его близкихъ знакомыхъ, испытывалъ «родъ органическаго отвращенія къ иностранцамъ», и не могъ побѣдить этого чувства во всю жизнь. «Присутствіе иностранца», говорилъ Писемскій, «дѣйствуетъ на меня уничтожающимъ образомъ! Я лишаюсь спокойствія духа и желанія мыслить и говорить. Пока онъ у меня на глазу, я подвергаюсь чему-то въ родѣ столбняка и рѣшительно теряю способность понимать его» *).

Разсказчикъ правъ, признавая въ этихъ словахъ извѣстное преувеличеніе, но въ то же время отголоски и совершенно искренняго чувства... Законно ли и даже просто естественно ли подобное чувство у одного изъ даровитѣйшихъ писателей XIX вѣка? И возможно ли при такихъ настроеніяхъ безпристрастное и, слѣдовательно, возможно правдивое отношеніе художника-сатирика ко многимъ важнѣйшимъ явленіямъ русской жизни? Не грозитъ ли это «органическое отвращеніе къ иностранцамъ» распространить свою власть и на «иностранное» или только кажущееся таковымъ? А вѣдь подлинныхъ и кажущихся иностранныхъ идей и отраженій на русской почвѣ необозримое море, какъ же справится съ нимъ человѣкъ, неизлѣчимо заболѣвающій даже отъ одного «присутствія иностранца»?

И задатки этой, какъ увидимъ, въ полномъ смыслѣ роковой болѣзни существовали въ самомъ организмѣ будущаго писателя. Они по существу отнюдь не представляли безнадежнаго недуга, совершенно неспособнаго поддаться излѣченію. Это ничто иное, какъ расовая, рѣзко національная натура Писемскихъ, дѣвственная московская почва. При тщательномъ уходѣ и разумныхъ внѣшнихъ воздѣйствіяхъ къ ней возможно было привить побѣги другой культуры. Художественная и, слѣдовательно, чуткая и воспріимчивая природа ребенка ручалась за успѣхъ. Но она не встрѣтила никакихъ дѣйствительно культурныхъ вліяній, крѣпла и развивалась по своимъ собственнымъ влеченіямъ и инстинктамъ, къ мощному полносочному стволу не дѣлали никакихъ прививокъ, и впослѣдствіи плоды окажутся на рѣдкость здоровыми и крупными, но имъ будетъ не доставать изящества въ формѣ и тонкости во вкусѣ.

---

*) Анненковъ въ статьѣ *А. Ф. Писемскій, какъ художникъ и простой человѣкъ.*

Да, Писемскій пережилъ свое дѣтство «дичкомъ» и въ нравственномъ, и въ умственномъ отношеніи, въ своемъ родѣ «естественнымъ человѣкомъ» со всѣми его достоинствами и недостатками. Врожденная нервность, несомнѣнно, должна была до извѣстной степени исчезнуть среди приволья деревенской жизни, среди полной свободы дѣтскихъ игръ и развлеченій, и молодой организмъ физически развивался при самыхъ счастливыхъ обстоятельствахъ, не стѣсняемый никакими внѣшними преградами, не направляемый даже какими-то ни было воспитательными и образовательными вліяніями. На ребенка, конечно, производило впечатлѣніе обожаніе родителей, такіе взрывы материнской нѣжности и отцовской любви, какіе описаны въ разсказѣ *Батька*, не проходятъ безслѣдно для всякаго и они особенно врѣзались, очевидно, въ память будущаго писателя, если онъ много лѣтъ спустя умѣлъ такъ ярко и задушевно рисовать сцены изъ своего дѣтства. Но какъ бы ни были трогательны и глубоки *сердечныя* впечатлѣнія, они безсильны образовать умъ и воспитать характеръ. Напротивъ, ихъ исключительное преобладаніе можетъ крайне печально отразиться на энергіи мысли и нравственной стойкости. И до-школьное дѣтство Писемскаго именно отличалось обиліемъ волненій чувства, воображенія, себялюбивой мечтательности и невозбранной прихотливости.

Если «игра и ученье», по словамъ Писемскаго, «все задавали ему задачи больше его лѣтъ», эти задачи касались скороспѣлой игры воображенія и слишкомъ отважныхъ капризовъ, въ родѣ молодечества юнаго героя въ разсказѣ *Батька* на деревенскомъ базарѣ. Самыхъ существенныхъ задачъ—расширеніе умственнаго кругозора путемъ доступныхъ ребенку научныхъ свѣдѣній и общихъ идей и воспитаніе сознательнаго отношенія къ себѣ и окружающей жизни—этихъ задачъ не задавали будущему писателю ни игры, ни чтеніе, ни его родители и учителя.

Наше выраженіе—«сознательное отношеніе» не слѣдуетъ понимать въ преувеличенномъ смыслѣ. Мы хотимъ просто указать на вдумчивость, извѣстные невольные запросы на счетъ повседневной дѣйствительности, вполнѣ свойственные дѣтскому возрасту и характеризующіе, напримѣръ, ранніе годы Тургенева.

Ничего подобнаго мы не видимъ ни въ автобіографическомъ разсказѣ Писемскаго, ни въ исторіи дѣтства Павла Вихрова. Напротивъ, намъ прямо говорятъ, что болѣе или менѣе сознательный взглядъ, вообще простая способность *замѣчать* крестьянскую жизнь были совершенно недоступны Вихрову-ребенку. Только уже

студентомъ, пріѣзжая на вакаціи къ отцу, онъ «увидѣлъ» искони знакомый, но не вѣдомый для него—міръ...

Все значеніе этого факта возстанетъ предъ нами, когда мы вспомнимъ о рѣшительномъ вліяніи именно дѣтскихъ впечатлѣній Тургенева на его позднѣйшую литературную дѣятельность, на его «Аннибалову клятву» и даже на его такъ-называемое западничество. Въ домѣ Писемскихъ, положимъ, не было госпожи въ родѣ Варвары Петровны, но сущность крѣпостного быта, столь впослѣдствіи поразившая студента Вихрова, существовала во всей неприкосновенности, и ея-то не почуялъ, даже инстинктомъ, *четырнадцатилѣтній* юноша, прожилъ свое дѣтство и отрочество—свободное и безпечальное, будто «поле перешелъ», и явился въ первое учебное заведеніе счастливымъ дворянскимъ недорослемъ.

IX.

Писемскій въ 1834 году поступилъ во второй классъ Костромской гимназіи. Въ романѣ подробно описана разлука новаго гимназиста съ отцомъ. Полковникъ Вихровъ не могъ удержаться отъ рыданій, впалъ въ отчаяніе, обнимая въ послѣдній разъ сына, а сынъ, «по крайней мѣрѣ, съ мѣсяцъ тосковалъ»... Это было, вѣроятно, первое испытаніе, выпавшее на долю избалованнаго мальчика. Началось ученье и пошло довольно удачно. Вскорѣ не замедлили сказаться природныя художественныя наклонности Алексѣя Феофилактовича. Ученье отступило в азадній планъ предъ актерскими и театральными увлеченіями, умственное развитіе обнаружилось въ очень раннихъ попыткахъ писательства.

Первое посѣщеніе театра—величайшее событіе въ школьной жизни Писемскаго. Оно съ чрезвычайными подробностями описано въ романѣ. Потомъ слѣдовало устройство домашняго театра и въ первомъ же спектаклѣ, въ пьесѣ «*Казакъ-стихотворецъ*», герой нашъ игралъ комическую роль пана Прудіуса и превзошелъ всѣхъ другихъ исполнителей-товарищей. Успѣхъ окончательно заполонилъ душу юноши. Онъ теперь воображаетъ себя великимъ актеромъ, занимается декламаторскимъ и сценическимъ искусствомъ, принимается даже за фортепьянную музыку, безпрестанно посѣщаетъ театръ,—вообще, совершается настоящій разгулъ эстетическихъ страстей. Натура человѣка начинаетъ обрисовываться чркими и вполнѣ опредѣленными чертами.

Естественно, одновременно съ поклоненіемъ театру, у Писемскаго проявляется столь же сильное врожденное стремленіе къ

самостоятельному творчеству. Это очень громко для гимназиста, но, во всякомъ случаѣ, будущій авторъ блестящихъ литературныхъ произведеній обнаруживается очень рано. Уже въ пятомъ классѣ учитель словесности признаетъ его «прекраснымъ стилистомъ», а въ слѣдующемъ году возникаетъ первое твореніе—*Черкешенка*, еще годомъ позже—*Чугунное кольцо*.

Событія эти происходили въ концѣ тридцатыхъ годовъ, когда въ русскомъ романѣ и въ русской поэзіи царилъ самый выспренній романтизмъ въ стилѣ Марлинскаго и Бенедиктова. Наивный, общедоступный и въ то же время эффектный, пестрый и героическій, этотъ жанръ сводилъ съ ума юныхъ читателей и въ особенности читательницъ, и врядъ ли какой юноша эпохи могъ спастись отъ чарующаго повѣтрія. Стóитъ припомнить разсказъ Тургенева о собственномъ романтическомъ азартѣ и о чувствѣ негодованія, съ какимъ будущій геніальный художникъ встрѣтилъ безпощадный приговоръ Бѣлинскаго надъ кумиромъ современнаго искусства. И Тургеневъ, помимо увлеченія Бенедиктовымъ, принесъ и другую, болѣе существенную жертву на алтарь жестокаго романтическаго вдохновенія, написавъ цѣлую драму въ модномъ духѣ.

И совершенно также начинало большинство другихъ даровитыхъ поэтовъ, захваченныхъ въ молодости тридцатами годами, или еще болѣе ранней эпохой. Что касается публики, она и въ слѣдующее десятилѣтіе еще не могла равнодушно видѣть поблекшихъ лавровъ Марлинскаго, и особенно въ провинціи, по исконному закону внимающей издали отголоскамъ столичнаго шума.

Писемскій отнюдь не могъ избѣгнуть общаго порядка, и его первыя произведенія неминуемо являлись копіями съ чужихъ образцовъ, и наивностью содержанія и громогласіемъ стиля, несомнѣнно, оставляли позади даже произведенія учителей. Величайшіе подвиги и нечеловѣческія страданія совершались, конечно, непремѣнно на Кавказѣ. Самыя имена героевъ должны знаменовать исключительныя доблести, герой *Чугуннаго кольца*—казакъ—прямо назывался *Ятвасъ*, т. е. *я васъ*! Героиня—губернская дама, безгранично влюбленная въ героя, но, по кольцу ея, *онъ* признаетъ въ *ней* свою родную сестру. Въ заключеніе, для героя—кавказскія горы и ущелья, для героини—монастырь.

Мотивъ, слѣдовательно, совершенно шаблонный и ни одною чертой не обязанный личной фантазіи юнаго сочинителя. Но есть кое-что и весьма любопытное и даже оригинальное въ замыслѣ повѣсти, какъ бы скудны ни были наши свѣдѣнія объ ея содержаніи.

Любопытно прежде всего, что дѣйствіе открывается въ губернскомъ городѣ, въ захолустной провинціи, а не въ петербургской гостиной и не на кавказскихъ водахъ. Это довольно смѣло для послѣдователя Марлинскаго: по обычной психологіи всѣхъ подражателей—и въ особенности романтическихъ—сцену и среду слѣдовало бы выбрать поживописнѣе, потеатральнѣе, чѣмъ «бесѣдка на губернскомъ бульварѣ».

Если бы этотъ фактъ стоялъ одиноко, онъ бы, пожалуй, и не заслуживалъ нашего вниманія. Но онъ находится въ полнѣйшемъ соотвѣтствіи со всей художественной дѣятельностью и психологическими пріемами нашего автора. Писемскій явится необычайно полнымъ бытописателемъ русской провинціи, это излюбленное царство его сатирической музы и именно на захолустныхъ сценахъ онъ будетъ изучать отраженія модныхъ столичныхъ спектаклей. Губернскіе салоны и губернскіе, а часто и уѣздные «рауты»—обычныя поприща демоническихъ опустошеній, производимыхъ жестокими и одновременно комическими героями Писемскаго. Онъ, такъ сказать, понизилъ гамму русскаго романтизма во всѣхъ его проявленіяхъ, и впослѣдствіи мы оцѣнимъ смыслъ и значеніе этого безусловно оригинальнаго пріема...

Нельзя ли послѣ этого заключить, что даже и размашистая повѣсть семиклассного гимназиста невольно выказала основную склонность авторскаго таланта—живописать болѣе мелкій и несомнѣнно болѣе реальный міръ, чѣмъ «центры просвѣщенія» въ свѣтскомъ смыслѣ слова? Самъ авторъ говоритъ,—оба юношескія творенія отличались «больше стилемъ»: «такъ какъ я въ нихъ описывалъ такія сферы, которыя совершенно были для меня невѣдомы»... Это признаніе совершенно справедливо относительно кавказскихъ пейзажей и казацкихъ нравовъ, но, можетъ быть, его слѣдуетъ ограничить на счетъ «губернскаго города» и губернской героини? Мы знаемъ, Писемскій-гимназистъ былъ уже очень хорошимъ актеромъ. Но вѣдь это немыслимо безъ тонкой, развитой наблюдательности, и въ особенности въ комическихъ роляхъ, болѣе удачныхъ въ исполненіи Алексѣя Феофилактовича. Мы знаемъ и изъ другого источника, что именно наблюдательности, и какъ разъ въ области мелкихъ, прозаическихъ явленій, у нашего гимназиста было достаточно.

Въ романѣ *Люди сороковыхъ годовъ* разсказывается, какъ Павелъ Впхровъ совершилъ своего рода гражданскій подвигъ. Инспекторъ гимназіи и въ то же время учитель словесности достигъ своего по-

ложенія крайне предосудительными путями, поставивъ дѣло такъ, что директоръ принужденъ былъ выдать за него свою дочь и оказывать ему, разумѣется, покровительство. Эту исторію Павелъ Вихровъ узналъ отъ преподавателя математики и уже давно пылалъ «глухой и затаенной ненавистью» къ недостойному начальнику. Передъ экзаменами инспекторъ далъ тему для сочиненія— *Великій человѣкъ*. Вихровъ испросилъ разрѣшеніе, вмѣсто великаго человѣка, изобразить *случайнаго человѣка*, и написалъ сатиру на ненавистнаго учителя... Только математикъ едва отстоялъ своего любимца и спасъ отъ исключенія изъ гимназіи.

Этотъ фактъ, если онъ цѣликомъ относится къ самому Писемскому, несравненно краснорѣчивѣе, чѣмъ актерскіе подвиги и романтическія повѣсти. До такой степени заинтересоваться явленіемъ изъ окружающей жизни, такъ умѣть ярко и рѣзко изобразить его въ отрицательномъ свѣтѣ, долго носить негодованіе въ сердцѣ и именно литературной ученической работой воспользоваться для изліянія накипѣвшаго чувства, эти черты не повторяются въ біографіяхъ русскихъ писателей. Правда, довольно обычно отрицательное отношеніе даровитыхъ питомцевъ къ своимъ школьнымъ воспитателямъ: достаточно вспомнить, напримѣръ, лицейскія эпиграммы Пушкина. Но только у Писемскаго это отношеніе приняло такую энергическую и обдуманную форму, притомъ совершенно соотвѣтствующую основному направленію его литературнаго таланта. Сатирикъ, въ высшей степени искренній, безпощадный и притомъ съ реальными жизненными запросами, сказался одновременно съ романтикомъ-фантазёромъ. Романтизмъ, очевидно, былъ увлеченіемъ внѣшнимъ, наноснымъ, данью духу времени,—изъ самыхъ нѣдръ души нашего героя билъ другой творческій ключъ. И именно этой струѣ предстояло расти и въ недалекомъ будущемъ безслѣдно поглотить юношескій приподнятый лиризмъ.

То же самое и въ личной жизни Писемскаго. Одновременно съ литературными опытами въ стилѣ романтизма у юноши неизбѣжно должно явиться стремленіе самому пройти роль интереснаго трагически влюбленнаго героя. И подобныхъ автобіографическихъ спектаклей, дѣйствительно, разыгрывалось немало. Краткое замѣчаніе автобіографіи о романахъ съ кузинами, въ исторіи Павла Вихрова подтверждается весьма пространными повѣствованіями о любовныхъ увлеченіяхъ героя, и самъ Писемскій заявляетъ, что онъ неоднократно описывалъ романическія страданія своей молодости

на окружающую дѣйствительность, но мы ни единаго слова не слышимъ объ умственной, идейной жизни юноши. Для насъ было бы особенно поучительно знать, какія области мысли особенно привлекали будущаго писателя, какіе авторы «жгли» его сердце, какія просто книги наполняли его школьные досуги? Это было бы тѣмъ любопытнѣе, что нашъ герой называетъ себя «большимъ фразёромъ» какъ разъ при поступленіи въ университетъ. Въ чемъ же собственно заключалось это фразёрство? Какія темы заставляли двадцатилѣтняго молодого человѣка пускаться въ краснорѣчіе?

Ни на одинъ изъ вопросовъ мы не находимъ отвѣта ни въ автобіографіи, ни въ романѣ Павла Вихрова, и должны ограничиться предположеніемъ. Все «фразёрство» Алексѣя Феофилактовича, по своему нравственному значенію, не стояло выше его «романтизма». И то, и другое являлось безсознательнымъ или модно-подражательнымъ порывомъ юношескаго возраста, не «влекло къ послѣдствіямъ», и въ сущности не захватывало самой натуры будущаго писателя. Романтизмъ остался простой кукольной игрой школьнаго легкомыслія, краснорѣчіе—безсодержательной и безплодной болтовней вкривь и вкось, можетъ быть, и съ очень громкими словами, но безъ всякаго живого личнаго интереса, даже безъ рудинскаго искренняго увлеченія красивыми идеями и фразами. Потому что Рудину его «артистическій» талантъ, на ряду съ минутами самоуслажденія, принесъ не мало и горя, сталъ источникомъ настоящей жизненной драмы. У Писемскаго фразёрство исчезло изумительно быстро, будто утренній сонъ, и герой нашъ изъ краснорѣчиваго гимназиста окончательно превратился въ трезваго студента. Это даже и не было превращеніемъ, а просто отпала случайно приставшая романтическая пыль отъ костюма, гдѣ она совсѣмъ была не на мѣстѣ.

Въ 1840 году Писемскій поступилъ на математическій факультетъ московскаго университета. Начался послѣдній періодъ его «ученичества», самый рѣшительный для его умственнаго развитія и самый поучительный для насъ, изучающихъ психологію человѣка и художника.

X.

Молодой человѣкъ, съ громаднымъ литературнымъ талантомъ, съ преобладающими художественными вкусами, избираетъ область университетской науки, менѣе всего соотвѣтствующую и таланту, и наклонностямъ. Даровитѣйшіе писатели эпохи проходятъ сло-

весныя науки, какъ бы плохо эти науки ни преподавались въ университетахъ сороковыхъ годовъ. Тотъ же интересъ къ словесности наполняетъ и товарищескія бесѣды студентовъ. Именно здѣсь вырабатываются идеи новой критики, здѣсь готовится грозный философскій и эстетическій арсеналъ противъ схоластики. Вообще, литература для людей сороковыхъ годовъ обильнѣйшій духовный питомникъ, ихъ высшее утѣшеніе въ настоящемъ и самая пламенная надежда въ будущемъ. Впослѣдствіи они художественное творчество и литературную критику съумѣютъ превратить въ единственное необычайно обширное прибѣжище всевозможныхъ идей—философскихъ, общественныхъ и даже политическихъ. Эстетика сольется съ публицистикой, литературные вопросы пріобрѣтутъ жгучій критическій смыслъ, и этотъ процессъ начнется задолго до выступленія новой молодежи на общественную сцену. Уже въ студенческихъ литературныхъ опытахъ скажется необычайно сильная и смѣлая гражданская струя. Она будетъ невольнымъ выраженіемъ отзывчивыхъ молодыхъ сердецъ, не результатомъ какихъ-либо партійныхъ преднамѣренныхъ стремленій, не отвлеченной политикой, а именно—естественнымъ крикомъ благороднаго инстинкта. Этотъ фактъ заслуживаетъ особеннаго нашего вниманія. Признать его—значитъ освѣтить совершенно другимъ свѣтомъ такъ - называемое «западничество» молодежи сороковыхъ годовъ, чѣмъ принято у ея старыхъ и новѣйшихъ противниковъ.

При всемъ обиліи западныхъ идей и европейскихъ книгъ, поглощенныхъ этой молодежью, у нея отъ начала до конца оставалось нѣчто свое, ни откуда не навѣянное и въ то же время самое существенное, безъ чего было бы не мыслимо никакое «западничество». Европейскія идеи только давали готовыя формулы для заранѣе существовавшихъ чувствъ и настроеній. Этимъ объясняется страстность увлеченія западными системами, общественными и философскими.

Европейскіе авторы для лучшихъ представителей русскаго молодого поколѣнія играли ту самую роль, какую приходится выполнять, положимъ, мужицкимъ ходокамъ. Крестьянская масса, превосходно сознавая нужды и потребности, очень рѣдко умѣетъ ясно и точно формулировать ихъ, въ особенности когда вопросъ идетъ не о «хлѣбѣ единомъ». Для этого требуется немалый навыкъ—обобщать факты, переводить отдѣльныя явленія на связную, болѣе или менѣе отвлеченную рѣчь и, что еще труднѣе, открывать основной смыслъ ихъ и дѣлать логическія заключенія.

психологію своего сочинительства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, даетъ подлиннѣйшую характеристику вообще настроеній современной молодежи.

«Въ этомъ сочиненіи со всѣмъ жаромъ сердца, пламенѣющаго любовью къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинѣ, довольно живой и вѣрной, представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ».

Вотъ, слѣдовательно, *сердце*, *душа*, первоисточники либерализма и общественныхъ протестовъ людей сороковыхъ годовъ. И замѣчательно, «западничество», европейскія идеи въ ихъ чистомъ видѣ, часто даже понижали эти чувства и подрывали энергію протеста. Напримѣръ, у того же Бѣлинскаго, гегельянскія увлеченія, въ особенности пресловутое изреченіе, чреватое всяческими кривотолками, софизмами и практической двусмысленностью, произвело-было самый зловѣщій нравственный переворотъ, примирило его съ «разумной» дѣйствительностью и грозило превратить въ такого же прекраснодушнаго резонёра и «патріота», какимъ былъ въ нѣдрахъ прусскаго государства самъ «великій учитель». Только опять отнюдь не двусмысленное дыханіе реальной жизни разсѣяло философическіе туманы и утвердило геніальнаго критика на его славномъ пути.

Этотъ процессъ излѣченія прошли и другіе русскіе гегельянцы, ни на минуту не отказавшись отъ своихъ молодыхъ стремленій. Тургеневъ, напримѣръ, и слышать не хотѣлъ о философскихъ упражненіяхъ, когда-то высокочтимыхъ берлинскихъ пророковъ, но «Аннибалова клятва» осталась для него священной. Другіе старые гегельянцы, въ родѣ Боткина, горячо привѣтствовали поворотъ Бѣлинскаго къ живой русской дѣйствительности, къ реальнымъ практическимъ мотивамъ въ статьяхъ. Очевидно, «западники» послѣ первыхъ слишкомъ стремительныхъ увлеченій иноземными идеями оставили за собой только то «западное» достояніе, какое соотвѣтствовало ихъ жизненнымъ задачамъ. А эти задачи были поставлены не гегельянствомъ и не французской публицистикой іюльской эпохи, а самыми наглядными условіями русскаго народнаго быта и русскаго общества. Идеалы юношей, несомнѣнно, могли принимать подчасъ весьма неосмотрительныя и даже нелогическія направленія. У старшихъ поколѣній вопросъ о крѣпостномъ правѣ не находилъ иныхъ рѣшеній, кромѣ чувствительныхъ надеждъ на помѣщичьи сердца и дворянское просвѣщеніе. И четверть вѣка спустя это рѣшеніе все еще будетъ ка-

заться вполнѣ удовлетворительнымъ и защищаться людьми развитыми и гуманными. Естественно, молодежь, разрѣшавшая вопросъ, въ драмахъ и стихотвореніяхъ, не могла обнаружить особенной государственной мудрости,—не могла именно въ *отвѣтахъ*. Но постановка самаго вопроса, изображеніе житейскихъ порядковъ, вызвавшихъ вопросъ и освѣщеніе ихъ идеями и фактами европейской гражданственности, — все это какъ нельзя болѣе естественныя и самобытныя проявленія *сердца* и *души* русской молодежи сороковыхъ годовъ. Житейскіе порядки были такого свойства, что даже фонвизиновскій Правдинъ даетъ жестокій урокъ «злонравнымъ» помѣщикамъ. Но то, что Правдину казалось исключеніемъ и *частнымъ* случаемъ, тамъ полвѣка спустя не менѣе здравомыслящіе люди увидятъ *общее* зло. И взглядъ новыхъ Правдиныхъ, выигравши въ широтѣ, выиграетъ и въ проницательности и нисколько не проиграетъ въ трезвости, такъ какъ онъ по прежнему будетъ основываться на вполнѣ положительныхъ фактахъ и честномъ отношеніи къ нимъ.

Ясно, слѣдовательно, сколько безусловно реальной, жизненной и практической силы въ мечтахъ и идеяхъ людей сороковыхъ годовъ. Эта жизненность переживаетъ и отметаетъ съ теченіемъ времени все чисто-отвлеченное, безпочвенное, кабинетное, что сначала могло казаться въ высшей степени привлекательнымъ въ европейскихъ системахъ. Въ результатѣ отъ «западничества» въ русской художественной литературѣ и критикѣ остается вполнѣ сознательное стремленіе къ насущнымъ преобразованіямъ національной жизни, воодушевленное обще-культурными идеалами цивилизованныхъ народовъ. Отказаться отъ этихъ идеаловъ было бы немыслимо, разъ, по выраженію Тургенева, русскіе признаются и дѣйствительно являются *genus europaeum*.

Всѣ наши замѣчанія необходимы для правильной оцѣнки важнѣйшаго періода въ умственномъ и общественномъ развитіи Писемскаго. Мы знаемъ глубокій почвенный складъ его натуры, знаемъ его врожденное стихійное уклоненіе отъ всего ненаціональнаго, точнѣе ненароднаго, въ древне-московскомъ смыслѣ. Гимназія не внесла ни малѣйшаго диссонанса въ первоначальный душевный міръ, прибавила только «фразёрство». Теперь будущему писателю предстояло подвергнуться усиленнымъ внѣшнимъ вліяніямъ, онъ вступалъ въ горнило разнообразнѣйшихъ идей, горячихъ споровъ, могущественныхъ направленій... И это былъ рѣшительный шагъ: за стѣнами университета немедленно открывалась дѣятельность писателя и гражданина.

XI.

Въ автобіографіи Писемскій очень опредѣленно выражается о результатахъ своего университетскаго ученья. Здѣсь каждая строчка драгоцѣнна и полна гораздо болѣе глубокаго смысла, чѣмъ можетъ показаться на первый взглядъ.

«Въ 1840 году я кончилъ курсъ гимназіи и поступилъ въ университетъ, будучи большимъ фразёромъ, и въ этомъ случаѣ я, благодарю Бога, что избралъ математическій факультетъ, который сразу же отрезвилъ меня и сталъ пріучать говорить только то, что самъ ясно понимаешь».

Эти строки писались много лѣтъ спустя послѣ событій, въ періодъ почти полнаго упадка популярности автора, во время или безпощадныхъ нападокъ критики, или еще болѣе оскорбительнаго замалчиванія. Естественно, тонъ воспоминаній выходилъ нѣсколько нетерпимымъ и рѣзкимъ, когда вопросъ шелъ объ идеяхъ и людяхъ извѣстнаго направленія. Въ благодареніи Богу, несомнѣнно, звучитъ это чувство. Еще яснѣе оно сказывается въ романѣ, посвященномъ университетской жизни автора. Но такое явленіе было возможно при единственномъ условіи, если сороковые годы дѣйствительно не оставили у Писемскаго никакой сочувственной памяти. Иначе одно фразёрство не могло бы его настроить столь энергично.

Кто не бываетъ фразёромъ въ извѣстный возрастъ? Тургеневъ, напримѣръ, въ высшей степени страдалъ этимъ порокомъ, жестоко осмѣялъ его въ лицѣ Рудина, но не могъ совершенно оторвать отъ своего сердца прошлаго и пощадилъ, даже увѣнчалъ своего униженнаго героя. Очевидно, у Писемскаго не было ни малѣйшихъ основаній къ пощадѣ и снисхожденію, и онъ необычайно рѣзко и безповоротно покончилъ съ «людьми сороковыхъ годовъ».

Математикѣ, если только она должна была «отрезвить» нашего автора, не предстояло большой работы. Молодой студентъ обладалъ вполнѣ достаточной трезвостью. Теперь предстояло совершенствовать познанія. По этой части, заявляетъ Писемскій, университетъ далъ ему «немного». Правда, въ романѣ говорится о свѣдѣніяхъ изъ естественной исторіи: студентъ «узналъ жизнь земного шара—какимъ образомъ онъ образовался, какъ на немъ произошли рѣки, озера, моря»... Подобныя свѣдѣнія, конечно, очень полезны, но даже самый разсказъ о нихъ звучитъ наив-

ностью и врядъ ли они могли особенно расширить общій идейный кругозоръ юноши. Важнѣе интересъ къ иностранной литературѣ. Онъ въ сильной степени долженъ былъ задерживаться незнакомствомъ читателя съ иностранными языками, но все-таки Писемскій «познакомился съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гёте, Корнелемъ, Расиномъ, Жанъ-Жакомъ Руссо, Вольтеромъ, Викторомъ Гюго и Жоржъ Зандомъ».

Въ этомъ перечнѣ имена Корнеля и Расина можно бы опустить: по русски ихъ произведеній существовало крайне мало и потомъ весь складъ ихъ творчества вполнѣ противорѣчитъ вкусамъ читателя и никакого существеннаго вліянія на его личное міросозерцаніе или искусство оказать они не могли. Еще съ бо́льшимъ основаніемъ тоже самое можно сказать о Вольтерѣ и Руссо. Они слишкомъ европейцы, да еще философскаго XVIII-го вѣка, чтобы отъ чтенія ихъ, во всякомъ случаѣ, очень немногочисленныхъ твореній въ русскихъ, далеко не совершенныхъ, переводахъ остались какіе-либо слѣды въ мысляхъ Писемскаго. И мы этихъ слѣдовъ не встрѣчаемъ ни въ одномъ изъ его сочиненій. Что касается Виктора Гюго, — при реторическомъ, эффектно приподнятомъ стилѣ романтическаго поэта, нашъ трезвый читатель могъ испытывать въ лучшемъ случаѣ только недоумѣніе. Подобное впечатлѣніе долженъ былъ производить и Шиллеръ. Правда, онъ «увлекъ» Вихрова, «какъ поэтъ человѣчности, цивилизаціи и всѣхъ юношескихъ порывовъ». Но именно «порывы» и не входили въ программу трезваго математическаго воспитанія ума и характера. Въ лучшихъ проповѣдяхъ Шиллера, при всемъ ихъ благородномъ содержаніи, «фразёрства» не меньше, чѣмъ въ лирикѣ и драмахъ Гюго. А потомъ по сочиненіямъ Шиллера Вихровъ учился нѣмецкому языку: мы знаемъ, какъ оканчивались подобныя предпріятія Писемскаго. Если вопросъ заключался въ языкѣ, можно смѣло поручиться,—знакомство будущаго русскаго писателя съ Шиллеромъ оказалось весьма поверхностнымъ.

Дальше Шекспиръ, Гёте и Жоржъ Зандъ. Первые два, несомнѣнно, должны были заинтересовать Писемскаго просто со стороны искусства и силы творчества. Но подвинуть его міросозерцаніе, заронить въ молодой умъ искры общественныхъ идеаловъ врядъ-ли могъ и геніальный психологъ англійской драмы XVI-го вѣка, и чистый нѣмецкій художникъ, убѣжденный филистеръ новаго времени. Наконецъ, самъ авторъ подчеркиваетъ дальнѣйшее развитіе своихъ художественныхъ наклонностей, под-

робно разсказываетъ о своихъ артистическихъ подвигахъ, какъ онъ прослылъ среди студентовъ безподобнымъ чтецомъ, а роль Подколесина въ пьесѣ Гоголя «*Женитьба*» сыгралъ, «по мнѣнію тогдашнихъ знатоковъ театра», лучше Щепкина. Этимъ успѣхомъ Писемскій очень дорожилъ. Впослѣдствіи онъ подробно описалъ приснопамятный спектакль въ разсказѣ «*Комикъ*», тщательно отмѣчая отдѣльные моменты исполненія и впечатлѣнія зрителей. Прекраснымъ чтецомъ Писемскій остался навсегда, но замѣчательнаго актера изъ него не вышло. Московскій успѣхъ единственный на его сценическомъ поприщѣ, и не успѣхъ, конечно, важенъ, а устойчивость гимназическихъ увлеченій Писемскаго. Онъ и въ университетѣ сохранилъ художественные вкусы и, несомнѣнно, они играли рѣшающую роль въ литературныхъ сочувствіяхъ будущаго писателя.

Много лѣтъ спустя Писемскому случилось написать критическую статью о второй части «*Мертвыхъ душъ*». Здѣсь совершенно ясно изложена весьма несложная эстетика и она въ настоящее время любопытна для насъ именно потому, что безусловно подтверждаетъ наши соображенія на счетъ прочитанныхъ Писемскимъ авторовъ.

Писемскій возстаетъ съ особенной энергіей противъ двухъ, по его мнѣнію, нехудожественныхъ пріемовъ сочинительства: противъ *напряженности*, т. е. крикливаго, фальшиваго романтизма, стремленія поэтовъ «сказать больше своего пониманія», «выразить страсть, которая сердцемъ не пережита», и противъ преднамѣренности, «напередъ составленнаго правила». Истинный поэтъ «беретъ изъ души только то, что накопилось въ ней» и что «требуетъ изліянія въ ту или другую сторону». Слѣдовательно, простота и непосредственность творчества—таковы принципы Писемскаго.

Ни одинъ изъ перечисленныхъ имъ поэтовъ, кромѣ Шекспира и отчасти Гёте, не подходитъ подъ это опредѣленіе. Искусственность авторъ еще могъ бы простить, напримѣръ, Гюго и Шиллеру за ихъ идеи, но въ идеяхъ-то именно и таится преднамѣренность,—порокъ, уже безусловно владѣющій Вольтеромъ. Слѣдовательно, и университетское чтеніе не могло отразиться на Писемскомъ прочными умственными вліяніями, за единственнымъ весьма замѣчательнымъ исключеніемъ. Впрочемъ, собственно объ *исключеніи* здѣсь не можетъ быть рѣчи, такъ какъ вліяніе оказалось не совсѣмъ *умственнымъ*, скорѣе *чувственнымъ*.

Одна изъ главъ въ романѣ «*Люди сороковыхъ годовъ*» называется *Жоржъ Зандизмъ*. Вопросъ, повидимому, идетъ объ одномъ изъ самыхъ популярныхъ направленій французской литературы въ XIX вѣкѣ, и не одной только литературы. Глава направленія, даровитая писательница, въ теченіе многихъ лѣтъ представляла съ необычайной силой и страстностью смѣну разнообразнѣйшихъ общественныхъ идей. Въ началѣ только защитница свободы женскаго сердца и человѣческаго достоинства своего пола, потомъ одна изъ отважнѣйшихъ послѣдовательницъ новыхъ демократическихъ идеаловъ. Въ жоржъ-зандизмѣ, слѣдовательно, воплотилась далеко не одна лишь проповѣдь такъ-называемой «свободной любви». Это было бы слишкомъ грубымъ и недостойнымъ представленіемъ объ одной изъ искреннѣйшихъ идеалистокъ нашего времени. Въ высшей степени несчастная въ брачномъ союзѣ, Жоржъ Зандъ, естественно, не могла не излить своихъ личныхъ тяжкихъ обидъ и униженій въ первыхъ романахъ и логически пришла къ истинамъ, по существу отнюдь не новымъ въ европейской литературѣ и вовсе не революціоннымъ въ области нравственности. Всѣ проповѣди Жоржъ Зандъ на счетъ брака и любви исходили изъ очень скромнаго и вполнѣ благонамѣреннаго принципа, извѣстнаго даже русскому Стародуму. Этотъ мудрецъ бѣдствія современной семьи объяснялъ тѣмъ, что «при нынѣшнихъ супружествахъ рѣдко съ сердцемъ совѣтуются». Распространите *права сердца* одинаково на мужчинъ и на женщинъ и вы получите философію *Индіаны*, *Жака*, вообще всего *жоржъ-зандизма* перваго романтическаго періода.

Но есть и второй, вызванный къ жизни іюльскими событіями. Здѣсь «Женскій вопросъ» отступаетъ на задній планъ, и неутомимая писательница всѣ силы свои посвящаетъ съ этихъ поръ «соціальному вопросу» и съ той же самой поэтической стремительностью, съ какою раньше живописала прелести независимаго чувства и романическаго счастья, теперь она воспѣваетъ доблести народной души и преимущества демократическаго общественнаго строя.

И въ этой новой поэзіи, какъ и въ прежней, не мало наивныхъ, слишкомъ непосредственныхъ восторговъ, чисто женскаго невѣдѣнія желѣзныхъ законовъ и условій человѣческой психологіи и внѣшней дѣйствительности. Но самая эта наивность ручалась за искренность лирически-настроеннаго автора, и въ личной жизни представлявшаго одно изъ гуманнѣйшихъ и сердечнѣйшихъ

явленій своего времени. Отсюда безпримѣрно быстрая и блестящая слава Жоржъ Зандъ и вліяніе ея проникновеннаго творчества на всѣ литературы, одинаково на публицистовъ, критиковъ и художниковъ. Среди русскихъ Бѣлинскій и Тургеневъ вписали свои имена во главѣ поклонниковъ Жоржъ Зандъ, оба, въ разныя времена и по разнымъ поводамъ — одинъ какъ публицистъ, другой какъ человѣкъ—представили восторженныя характеристики писательницы. Теперь, оказывается, и Писемскій въ эпоху студенчества поддался чарамъ *жоржъ-зандизма.*

Въ чемъ же для него заключались эти чары? Вопросъ получаетъ исключительный интересъ, такъ какъ жоржъ-зандизмъ единственное европейское вліяніе, признанное лично нашимъ писателемъ.

Когда Павелъ Вихровъ сдѣлался «окончательнымъ и самымъ искреннимъ *жоржъ - зандистомъ*», жоржъ - зандизмъ переживалъ второй періодъ своего развитія, соціальный и политическій. Жоржъ Зандъ изъ провозвѣстницы женской эмансипаціи превратилась въ апостола соціальной справедливости. Она усердно и съ обычнымъ пыломъ погрузилась въ изученіе теорій, наполнявшихъ необычайнымъ шумомъ всю эпоху іюльской монархіи, и съ изумительной скромностью отдала свой художественный талантъ на служеніе новымъ идеямъ. Романы попрежнему быстро слѣдовали одинъ за другимъ и именно они заставили Бѣлинскаго провозгласить Жоржъ Зандъ «первой поэтической славой современнаго міра»— какъ разъ въ началѣ сороковыхъ годовъ.

Павелъ Вихровъ знаетъ о существованіи этихъ произведеній Жоржъ Зандъ, но ему извѣстны и другія—внушенныя писательницѣ ея семейными отношеніями. Теперь вопросъ, какъ напъ герой и, слѣдовательно, самъ Писемскій, отнесся къ тому и другому теченію *жоржъ-зандизма?*

Въ романѣ разсказывается очень подробно и внимательно исторія героя съ m-me Фатѣевой, женщиной — несчастливой въ брачной жизни и измѣняющей мужу во имя стремленія любить. Вихровъ въ судьбѣ этой госпожи усмотрѣлъ «сходство съ героинями Жоржъ Зандъ», но раньше этихъ соображеній онъ успѣлъ самъ влюбиться въ m-me Фатѣеву. Сходство, слѣдовательно, было подмѣчено не безъ лукаваго внушенія личнаго чувства. На это, впрочемъ, указываетъ и авторъ: Вихровъ сталъ фанатическимъ жоржъ-зандистомъ одновременно съ своимъ собственнымъ приключеніемъ, и именно приключеніе явилось исходнымъ мо-

ментомъ для извѣстныхъ общихъ настроеній, на сколько они касались жоржъ-зандизма. Не будь романа съ m-me Фатѣевой, Вихровъ, по всей вѣроятности, замедлилъ бы съ своими восторгами предъ французской писательницей. А теперь «со всей горячностью юноши онъ понялъ всю справедливость и законность протестовъ этой писательницы и, припоминая различные случаи изъ русской жизни, онъ видѣлъ, до какой степени у насъ во всѣхъ слояхъ общества женщина угнетена, лишена правъ, Богъ знаетъ за что обвиняется».

Подобныя настроенія, несомнѣнно, пережилъ и самъ авторъ. Въ автобіографіи онъ говоритъ о личной «реальной любви», «поглотившей» его по окончаніи университета. Ее-то онъ и изобразилъ сначала въ *Боярщинѣ*, а потомъ въ исторіи Вихрова съ m-me Фатѣевой. Въ первомъ романѣ герой Шатиловъ—личность, по представленію автора, совершенно отрицательная и по автобіографическому значенію не можетъ идти въ сравненіе съ Павломъ Вихровымъ. Мы встрѣтимся съ ней впослѣдствіи,—для нашего вопроса достаточно подробностей и въ романѣ «*Люди сороковыхъ годовъ*».

Вдохновленный m-me Фатѣевой на пути къ жоржъ-зандизму, Вихровъ устремился до крайнихъ предѣловъ, увлекся, очевидно, и соціальными произведеніями. «Жоржъ Зандъ», кричитъ онъ своему товарищу Невѣдомову, «дала міру новое евангеліе, или лучше сказать, прежнее растолковала настоящимъ образомъ!..»

Это очень сильно и было бы подъ стать любому русскому идеалисту, искреннему и восторженному. Но относительно Вихрова дѣло стоитъ не такъ просто. Только-что приведенное восклицаніе имѣетъ въ высшей степени оригинальный смыслъ, не самъ по себѣ, а въ намѣреніяхъ автора. Они, конечно, неизмѣримо для насъ важнѣе, чѣмъ приключеніе и рѣчи Вихрова. Они бросаютъ истинный свѣтъ, во-первыхъ, на жоржъ-зандизмъ самого Писемскаго, потомъ окончательно рѣшаютъ вопросъ объ его положеніи среди «людей сороковыхъ годовъ» и, наконецъ, устанавливаютъ истинный характеръ какихъ бы то ни было идейныхъ настроеній высоко-даровитаго художника.

Нѣкоторый намекъ на участь жоржъ-зандизма въ личныхъ чувствахъ Писемскаго можно видѣть изъ заявленія автобіографіи, что его «реальная любовь» не удовлетворяла ни его родныхъ ни его «собственную совѣсть». Вотъ, слѣдовательно, въ чемъ дѣло: жоржъ-зандизмъ, подсказанный легкомысленной интрижкой

и низведенный, въ силу такого внушенія, къ «блаженству» «реальной любви», всегда рисковалъ найти своего врага въ совѣсти. И совѣсть, конечно, имѣла всѣ права возстать на борьбу съ подобнымъ «блаженствомъ». Но совершенно другой вопросъ, имѣлъ ли основаніе счастливый рыцарь m-me Фатѣевой свою «реальную любовь» отождествить съ сущностью идей французской писательницы, вообще какого бы то ни было юнаго героя обозвать «жоржъ-зандистомъ» только потому, что первая встрѣчная чужая жена ему открыла свои объятія?

Инымъ подобное упрощенное толкованіе одного изъ самыхъ сложныхъ явленій европейской мысли можетъ показаться несправедливымъ и, во всякомъ случаѣ, неосновательнымъ. Но для Писемскаго другого толкованія прямо не существуетъ. Это совершенно ясно изъ романа, изъ характеровъ и положеній людей сороковыхъ годовъ.

На основаніи вполнѣ достовѣрной исторіи мы составили свои представленія о нѣкоторыхъ изъ *дѣйствительныхъ* людей этихъ годовъ, и можемъ убѣдиться, что при всей математической трезвости взглядовъ Писемскаго-студента, эти люди имѣли право на его вниманіе. Можетъ быть, ихъ рѣчи и литературныя увлеченія и не всегда были трезвыми,—отнюдь нельзя сказать того же про ихъ сердца и души, про ихъ органически-необходимое и жизненно-послѣдовательное отношеніе къ современной русской дѣйствительности, въ особенности къ вопросу народной жизни. Предположимъ, что Писемскій не встрѣтилъ этихъ людей ни въ университетскихъ аудиторіяхъ, ни въ московскомъ обществѣ. Но самое *отношеніе*, такъ сказать, *духъ времени* ускользнуть не могъ съ горизонта его наблюдательности, если только была малѣйшая нравственная почва у будущаго писателя для воспріятія этого *духа*, для отзывчивости на это *отношеніе*.

Предъ нами громадная картина съ цѣлой толпой людей и подъ ней необычайно завлекательная и многообѣщающая подпись: *Люди сороковыхъ годовъ*. И притомъ, на картинѣ въ толпѣ виднѣется фигура и самого автора... Подойдемъ же ближе къ полотну и разглядимъ внимательно его свѣтъ и тѣни.

XII.

Одинъ изъ людей, пережившихъ сороковые годы, менѣе всего восторженный, по преобладающимъ художественнымъ наклонно-

стямъ и практическому скептицизму сильно напоминающій Писемскаго, незадолго до смерти такъ выражался о давно минувшемъ:

«Еслибъ вы знали, какое это было славное время!..»

Такъ восклицалъ Боткинъ, отнюдь не мечтатель и даже не идеалистъ. Напротивъ у болѣе вѣрныхъ представителей идеалистической эпохи, онъ своими эпикурейскими и комфортабельно-эстетическими настроеніями даже въ области идей безпрестанно вызывалъ недоумѣніе, а подчасъ и болѣе рѣзкія чувства. И вотъ этотъ-то человѣкъ не могъ безъ волненія вспоминать о «славномъ времени». И понятно почему.

Боткинъ въ молодости пережилъ тѣ же увлеченія, какія наполняли то муками сомнѣнія, то восторгами вѣры душу Бѣлинскаго и его товарищей. И для него Гегель былъ «фетишемъ», и онъ портилъ кровь и разстраивалъ нервы въ честь «разумнаго» и «дѣйствительнаго». А потомъ онъ не переставалъ *наблюдать* и *сознательно оцѣнивать* дальнѣйшую исторію своего поколѣнія, нравственную и въ особенности литературно-общественную. Онъ могъ не внести ни единой капли личной дѣятельной мысли въ современное движеніе, но онъ не могъ проглядѣть его успѣховъ и его общаго значенія; а главное, съ точки зрѣнія простого пониманія внѣшнихъ условій, не могъ не отдать справедливости даже тѣмъ усиліямъ и жертвамъ, какимъ онъ не могъ сочувствовать или раздѣлять по слишкомъ консервативному складу своей натуры.

Въ послѣдніе годы жизни, обозрѣвая пройденный путь и сравнивая результаты съ исходнымъ моментомъ, Боткинъ говорилъ:

«Еслибъ мнѣ въ то время кто-нибудь сказалъ, что я доживу до чего-нибудь подобнаго, я бы не повѣрилъ»...

Для насъ эти заявленія и въ особенности настроенія, ихъ вызвавшія, любопытны, потому что они принадлежатъ самому положительному и уравновѣшенному человѣку сороковыхъ годовъ. Отзывы Боткина мы безошибочно можемъ приписать простому чувству справедливости и историческому смыслу.

Писемскій сочинялъ свой романъ много лѣтъ позже юношескихъ впечатлѣній. Молодость и ея треволненія были далеко позади, въ такихъ случаяхъ почти у всякаго является невольная идеализація прошлаго, нѣкоторое нѣжное чувство къ невозвратному. Такъ бываетъ даже у самыхъ простыхъ смертныхъ и относительно самаго зауряднаго прошлаго. Чего же мы должны ждать отъ талантливаго писателя, вызывающаго въ своей памяти

«сороковые годы»?—ждать послѣ того, какъ даже Боткинъ умилялся при воспоминаніяхъ объ этой эпохѣ.

Писемскій очень гордился громаднымъ количествомъ героевъ, дѣйствующихъ въ его романахъ. Онъ насчитывалъ, что «вывелъ» до восьмисотъ лицъ и «все дрянь какую!»—прибавлялъ авторъ съ свойственной ему силой выраженія. Въ число этой «дряни», съ самыми легкими оговорками, можно отнести и почти всѣхъ героевъ романа *Люди сороковыхъ годовъ*.

Во главѣ стоитъ Павелъ Вихровъ. Мы знаемъ его *жоржъ-зандизмъ*—въ теоріи, на практикѣ онъ еще низменнѣе и банальнѣе. Исторія юнаго студента съ m-me Фатѣевой—печальная лѣтопись безволія, личнаго ничтожества, малодушія и даже неразумія. Послѣ медоваго мѣсяца рыцарь рѣшительно не знаетъ, что дѣлать ему съ собой и съ своей дамой. Правда, дама на рѣдкость пуста и не развита, но у нея есть, по крайней мѣрѣ, органическая сила, способность считаться съ своими, хотя бы и очень не возвышенными увлеченіями. У Вихрова нѣтъ даже простого сознанія личнаго достоинства, приличествующаго мужчинѣ. Онъ, со всѣми своими художественными инстинктами и съ жоржъ-зандизмомъ, производитъ впечатлѣніе жалкое и трагикомическое рядомъ съ своей возлюбленной только потому, что та сильная особь своего пола. Нравственное худосочіе, умственное верхоглядство и сплошь длящійся нервозъ—таковъ нашъ герой въ личныхъ дѣлахъ, главный представитель людей сороковыхъ годовъ.

Можно ли послѣ этого вспомнить *подлинныхъ* людей той же эпохи и именно въ той же области личныхъ дѣлъ и чувствъ? Можно ли, напримѣръ, позволить какое-либо сравненіе теоретическаго и практическаго жоржъ-зандизма Вихрова съ идеями дѣйствительныхъ романтиковъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ о любви, о счастіи, объ увлеченіи?

Тамъ—отъ начала до конца—господствуетъ сознаніе неотвратимаго нравственнаго долга. *Идея* должна лежать въ основѣ каждаго проявленія духовнаго міра человѣка и воодушевлять каждый шагъ его даже интимной жизни. Любовь не источникъ счастья во что бы то ни стало, а прежде всего сильнѣйшій мотивъ нравственной отвѣтственности человѣка предъ своимъ «призваніемъ» и предъ судьбой любимой женщины. Любовь—новое побужденіе работать и совершенствоваться. Ея не достоинъ тотъ, кто самъ по себѣ, безъ внѣшней опоры и безъ женскаго сочувствія, не имѣетъ достаточно силъ нести бремя жизни и выполнить свое назначеніе.

«Потребность любви должна быть вызвана не бѣдностью души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ кругомъ себя помощи, любовь должна выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силы и дѣятельности и отыскивающаго въ самой любви только новую, высшую, полнѣйшую жизнь».

Эти изреченія Станкевича—не фразы; при всей ихъ юношеской, выспренней наивности, они «проводятся въ жизнь»,—и въ личныхъ молодыхъ романическихъ исторіяхъ Герцена, Бѣлинскаго, и того же Станкевича мы найдемъ факты, пожалуй, даже превосходящіе искренностью и идеальностью порывовъ самую теорію. Даже Рудинъ усиливается остаться на высотѣ современной морали, донимаетъ ею сначала Лежнева и предметъ его увлеченія, а потомъ самъ въ исторіи съ Натальей, при всей своей жалкой и въ изображеніи автора даже комической роли, онъ обнаруживаетъ несомнѣнные отголоски искренней боязни предъ нравственной отвѣтственностью за чужое счастье.

Павелъ Вихровъ, навѣрное, не испугался бы взять подъ руку влюбленную дѣвушку, испить «чашу наслажденій», и потомъ изобразить послѣдовательно драматическія сцены на мотивъ тоски, разочарованія, душевной растерянности и даже отчаянія, т. е. повторить исторію въ стилѣ какого-нибудь Павла Кирсанова или, въ лучшемъ случаѣ, Лаврецкаго,—исторію романтика и эстетика, и отнюдь не идеалиста и мыслителя сороковыхъ годовъ.

Это сродство Вихрова съ «старенькими романтиками», по выраженію Базарова, простирается и на болѣе существенные вопросы, чѣмъ любовь,—на его «народничество».

Мы знаемъ,—герой нашъ только со временъ студенчества сталъ замѣчать темныя и сомнительныя стороны крестьянскаго быта, и авторъ совершенно опредѣленно указываетъ на силу, открывшую, наконецъ, глаза Вихрову.

«Вслѣдствіе разнаго рода гуманныхъ идей и мыслей, которыми герой мой напитывался отовсюду въ своей университетской жизни, онъ въ настоящій пріѣздъ свой въ деревню сталъ присматриваться къ быту народа далеко иначе, чѣмъ смотрѣлъ прежде». Дальше объясняется, что Вихровъ раньше мужиковъ «зналъ больше по отношенію къ барамъ, какъ полковникъ о нихъ натолковалъ ему». Теперь взглядъ рѣзко измѣнился и, повидимому, совершенно въ разрѣзъ съ внушеніями отца. «Тутъ онъ началъ понимать, что это были тоже люди, имѣющіе свои собственныя желанія, чувствованія, наконецъ, права».

Это—необыкновенно сильно, подъ стать самому убѣжденному народолюбцу сороковыхъ годовъ. По крайней мѣрѣ, лучше бы не могъ выразиться даже Тургеневъ, тѣмъ болѣе, что и предъ Вихровымъ проходятъ эффектнѣйшія фигуры мужиковъ, *людей* въ полномъ смыслѣ слова.

Напримѣръ, Иванъ Алексѣевъ по уму и благородной внѣшности стòитъ половины баръ. Онъ отказывается отъ господскихъ подачекъ, насмѣшливо относится къ барскимъ «милостямъ». Даже крестьянки проявляютъ юморъ по поводу неожиданныхъ щедротъ молодого панича... Вихровъ невольно восклицаетъ—«гордый, грандіозный народъ!» И такой народъ въ рабствѣ! Да, Вихрову приходитъ на мысль и это соображеніе...

Можно подумать, чего же лучше? Авось, юный герой, «вслѣдствіе разнаго рода гуманныхъ идей и мыслей», серьезно и вдумчиво станетъ присматриваться къ народной жизни и вступитъ на излюбленный путь своихъ лучшихъ современниковъ, начнетъ искать жизненнаго соприкосновенія и сближенія съ крестьянской массой? Но наше «авось» одно изъ самыхъ основательныхъ. Вихровъ, дѣйствительно, не прочь потолковать съ мужиками, кое-что подглядѣть въ ихъ быту и кое-что сообщить имъ. Но чтò и какъ? Вотъ изумительный образчикъ сношеній Вихрова съ народомъ.

«Водочки я никогда не велю вамъ лѣтомъ давать, потому что она содержитъ въ себѣ много углероду, а углеродъ нуженъ, когда мы вдыхаемъ много кислороду; кислородъ же мы больше вдыхаемъ зимой, когда воздухъ сжатъ».

На эту рѣчь Вихрова слѣдуетъ отвѣтъ:

«— Это точно-съ!» — «почему-то согласились съ нимъ нѣкоторые мужики»,—поясняетъ уже авторъ.

Еще одна сцена. Вихровъ въ церквѣ въ праздничный день и наблюдаетъ за мужиками. Плодъ наблюденій слѣдующій:

«Не лучше ли бы было», думалъ Павелъ съ горечью въ сердцѣ, глядя, какъ всѣ они съ усердіемъ молились, «чѣмъ возлагать надежды на невѣдомое существо, они выдумали бы себѣ какой-нибудь трудъ поумнѣй, или выдумали бы себѣ другое соціальное положеніе»?..

Философія, очевидно, стòитъ научно-популярнаго разсужденія... И это называется «гуманными идеями и мыслями»! Можно подумать,—онѣ навязаны подобному кавалеру именно съ той цѣлью, чтобы вмѣстѣ съ нимъ оказаться въ смѣшномъ положеніи, во всякомъ случаѣ, утратить въ глазахъ довѣрчиваго читателя всякое обаяніе.

И это впечатлѣніе, повидимому, вполнѣ правильно. Противъ Вихрова выведенъ студентъ Невѣдомовъ, юноша странный, отчасти юродивый, но на немъ всецѣло почіетъ авторское благоволеніе.

Невѣдомовъ щеголяетъ въ монашескомъ подрясникѣ, его комната убрана человѣческими костями и евангеліемъ, диванъ устроенъ на подобіе гроба. Всѣ эти причуды не простой больной капризъ. Невѣдомовъ—большой эстетикъ, идеалистъ и философъ пессимистическаго направленія. Автору онъ симпатичнѣе всѣхъ другихъ героевъ утонченной художественностью натуры и тонкимъ пониманіемъ искусства, независимо отъ его цѣлей и содержанія. Невѣдомовъ занимается переводомъ шекспировскихъ пьесъ и ведетъ литературныя бесѣды явно за счетъ автора.

И вотъ этотъ-то Невѣдомовъ прежде всего уничтожаетъ жоржъзандизмъ Вихрова, не романтическій, а, что особенно важно, общественный. Когда Вихровъ восторженно отозвался о Жоржъ Зандъ, какъ соціальной проповѣдницѣ, «Невѣдомовъ потупился и нѣсколько времени не отвѣчалъ. Онъ, кажется, совершенно не ожидалъ, чтобы Вихровъ когда-нибудь сказалъ подобный вздоръ».

Такъ изображаетъ сцену авторъ. Правда, Вихровъ хватилъ черезъ край въ *словесномъ изъявленіи* своего восторга, но въ романѣ нѣтъ никакой оговорки на этотъ счетъ. Мало этого, Невѣдомовъ, съ художественной точки зрѣнія, прямо уничтожаетъ Жоржъ Зандъ второго періода ея дѣятельности, и уничтожаетъ по чрезвычайно для насъ любопытному соображенію. Здѣсь Невѣдомовъ, такъ же какъ и въ художественныхъ инстинктахъ, сливается съ личностью самого автора.

«При всемъ богатствѣ и поэтичности ея воображенія», говоритъ Невѣдомовъ о Жоржъ Зандъ, «сейчасъ же видно, что она сближалась съ разными умными людьми, наскоро позаимствовала отъ нихъ многое и всѣми силами души стремится разнести это по Божьему міру; а ужъ это не художественный пріемъ».

Ясно, для Невѣдомова вопросъ не въ томъ, что и какъ человѣкъ «разноситъ по Божьему міру», хотя мысли могутъ быть очень хорошія и полезныя и человѣкъ будетъ ихъ разносить вполнѣ искренне и убѣжденно,—все это неважно: вопросъ, не «позаимствовалъ» ли ихъ проповѣдникъ отъ другихъ, хотя бы и умныхъ людей? Разъ, его можно заподозрить въ способности учиться у другихъ, вмѣсто того, чтобы все самому открывать, онъ въ глазахъ Невѣдомова погибшій человѣкъ.

Нашъ выводъ отнюдь не преувеличенный. Мы встрѣтимъ мно-

жество фактовъ и совершенно откровенныхъ заявленій самого Писемскаго, подтверждающихъ наше представленіе о логикѣ Невѣдомова.

И мы должны были этого ожидать. Логика Невѣдомова ничто иное, какъ результатъ изображеннаго нами раньше міросозерцанія писателей извѣстнаго типа. Подражательность, позаимствованіе, повтореніе съ чужихъ словъ—предметы ихъ «органическаго отвращенія», и достаточно только тѣни, призрака ненавистнаго порока, эти писатели уже во всеоружіи гнѣва и страсти. Мы впервые встрѣтились съ этой психологіей у Писемскаго по поводу идей сороковыхъ годовъ. Передъ нами сравнительно блѣдное явленіе, впослѣдствіи намъ придется стать лицомъ къ лицу со всею силой авторской сатиры и негодованія,—истина останется все та же.

Нравственное пораженіе Вихрова не ограничивается сценой на тему жоржъ-зандизма. Авторъ хочетъ намъ показать, что всѣ вообще идеи Вихрова, попавшія въ его голову извнѣ, привились на исключительно эгоистической почвѣ. Жоржъ Зандъ онъ сталъ поклоняться ради m-me Фатѣевой. Другая женщина, кузина Мари, въ началѣ романа равнодушная къ влюбленному кузену, потомъ примѣрная жена и мать, возмущаетъ до глубины души самолюбиваго юношу.

Вихровъ начинаетъ пламенѣть нѣжностью къ свободнымъ женщинамъ, ненавидѣть «нравственныхъ», все время,—спѣшитъ замѣтить авторъ,—мѣтя въ кузину Мари. «Ему вдругъ нестерпимо захотѣлось пересоздать людскія общества», читаемъ мы и, конечно, въ эту же минуту, теряемъ всякое уваженіе къ подобному реформатору исключительно pro domo sua. И опять эстетикъ и идеалистъ Невѣдомовъ подавляетъ нашего героя. Онъ возмущается дѣйствительно возмутительнымъ поступкомъ одного изъ товарищей съ бѣдной дѣвушкой, но Вихровъ, въ эмансипаціонномъ азартѣ, кричитъ ему:

«— Щепетильный вы нравственникъ и узковзглядный брезгливецъ!»

И такъ, обезьянство и личный разсчетъ,—вотъ нравственная почва «гуманныхъ идей и мыслей» у Вихрова, смѣхотворное неразуміе и легкомысліе—практическія качества подобнаго идеалиста.

Но Невѣдомову мало Вихрова. Онъ, при всей своей скромности и преобладающей наклонности къ художественнымъ созерцаніямъ, изрекаетъ смертный приговоръ цѣлому направленію, исторически связанному вообще съ людьми сороковыхъ годовъ, запад-

ничеству. Рѣчь его не многословна, но она бьетъ въ самый центръ, отсѣкаетъ, такъ сказать, голову у всѣхъ западниковъ. «Какое высокое дарованіе Бѣлинскій, а и того совсѣмъ сбили съ толку; послѣднее время пишетъ все это, видно, съ чужого голоса, раскидался во всѣ стороны».

Опять, слѣдовательно, бѣда въ «позаимствованіи»: разъ можно сослаться на «чужой голосъ», и всѣмъ доказательствамъ конецъ. Вопросъ рѣшенъ. Но въ данномъ случаѣ, дѣло гораздо сложнѣе, чѣмъ съ жоржъ-зандизмомъ Вихрова. Невѣдомовъ не хочетъ знать этой сложности, потому что такъ хочетъ авторъ, во что бы то ни стало жаждущій срѣзать Бѣлинскаго.

Дальше въ романѣ упоминается о знаменитомъ письмѣ Бѣлинскаго къ Гоголю, слѣдовательно, отзывъ Невѣдомова разсчитанъ на всю литературную дѣятельность Бѣлинскаго, не на раннюю только. Письмо, конечно, не встрѣчаетъ благосклонности у нашего автора, но зачѣмъ онъ допускаетъ фактическую передержку относительно *критическихъ статей* Бѣлинскаго? Именно въ сороковые годы, съ первой же половины, Бѣлинскій и сталъ освобождаться отъ «чужихъ голосовъ». Уже въ статьѣ о русской литературѣ въ 1840 году онъ защищаетъ французскую литературу отъ нѣмецкихъ художественныхъ теорій, т.-е, начинаетъ разрывъ съ идолами своей молодости, быстро становится столь же реалистическимъ, русскимъ критикомъ, какимъ Гоголь былъ художникомъ и послѣдовательностью, и жизненностью своихъ толкованій гоголевскихъ произведеній наводитъ ужасъ на самого автора.

Процессъ этотъ совершался Бѣлинскимъ съ обычной страстностью и искренностью, и Невѣдомовъ проглядѣлъ его смыслъ и цѣль только потому, что герою Писемскаго по натурѣ чужда страстность въ идеяхъ общественнаго содержанія. Она ему инстинктивно *подозрительна* и это въ лучшемъ случаѣ. Въ болѣе энергическіе моменты Невѣдомовы ради «чужого голоса» и «художественнаго пріема» не пощадятъ въ противномъ лагерѣ ни одного проблеска, просто не сочтутъ нужнымъ замѣтить свѣтъ рядомъ съ тѣнями.

Конецъ Невѣдомова именно таковъ, какой возможенъ только при самыхъ отчаянныхъ условіяхъ дѣйствительности. Сначала этотъ «честнѣйшій и поэтичнѣйшій человѣкъ» скрывается въ монастырь, сжигаетъ даже переводы шекспировскхъ произведеній, а потомъ гибнетъ таинственной смертью,—надо понимать, самоубійствомъ. Вихровъ напутствуетъ его такими словами:

«Слишкомъ идеаленъ, слишкомъ поэтъ былъ; онъ не могъ жить и существовать на свѣтѣ»...

Очевидно, Невѣдомовъ не нашелъ ни единой точки опоры въ окружающемъ мірѣ для своего духовнаго бытія, и его участь— краснорѣчивѣйшій приговоръ этому міру. Лучшимъ изъ людей сороковыхъ годовъ оказывается трагическій и обездоленный человѣкъ; онъ переживаетъ тѣ самыя настроенія и вступаетъ на тотъ самый путь, какіе искони характеризируютъ эпохи упадка умственнаго и нравственнаго. Возможно ли было бы изобразить подобный исходъ писателю, сохранившему хотя бы тѣнь личнаго сочувствія къ минувшему?..

Но вѣдь, скажете вы, романъ *Люди сороковыхъ годовъ*, отнюдь не памфлетъ, не сатира, онъ, по тону, не можетъ идти даже и въ сравненіе съ исторіей людей шестидесятыхъ годовъ, *Взбаломученнымъ моремъ*... Есть же, слѣдовательно, въ его содержаніи нѣчто положительное, хотя бы отчасти идеализированное авторомъ?

Да, есть, и эта идеализація не менѣе поучительна, чѣмъ и авторская сатира.

XIII.

Со словъ Невѣдомова мы знаемъ, что Писемскій-студентъ не признавалъ западниковъ и порицалъ Бѣлинскаго именно— выразителя общественныхъ идеаловъ. Бѣлинскій, какъ чуткій *художественный* критикъ, несомнѣнно былъ симпатиченъ Невѣдомову и, слѣдовательно, Писемскому. Этотъ фактъ даже прямо былъ удостовѣренъ на юбилеѣ Писемскаго, въ 1875 году *). Но Бѣлинскій извѣстнаго *идейнаго* направленія въ глазахъ нашего автора являлся только проповѣдникомъ съ «чужого голоса». Судить такъ, можетъ быть, при поверхностномъ взглядѣ и естественно. Бѣлинскій состоялъ въ лагерѣ «западниковъ», т. е. учениковъ Европы. Но рядомъ съ западниками существовала другая партія, провозглашавшая себя подлинно-національной и исторически-почвенной, славянофилы. Они, несомнѣнно, подписались бы подъ словами Невѣдомова по адресу своего противника. И такъ, можетъ

*) Одинъ изъ ораторовъ, лично близкій Писемскому, Алмазовъ, говорилъ: «На эстетическія его теоріи имѣли большое вліяніе критическія статьи Бѣлинскаго». Ср. критико-біографич. очеркъ г. Венгерова «А. Ѳ. Писемскій». Спб. 1884 г., стр. 37.

Авторъ, конечно, рисуетъ въ должномъ свѣтѣ доблести молодца, но любопытно, что у автора не нашлось другого философа и діалектика изъ студенческаго кружка и непремѣнно Заминъ долженъ восторгаться Бѣлинскимъ, а Невѣдомовъ отвергать того же Бѣлинскаго.

Мы отнюдь не намѣрены производить слѣдствіе «съ пристрастіемъ» надъ авторской совѣстью на основаніи рѣчей и дѣйствій его героевъ. Этотъ пріемъ совершенно не допустимъ въ литературной критикѣ, и именно наша литература знаетъ одинъ изъ печальныхъ опытовъ въ этомъ направленіи: статьи Писарева о Пушкинѣ, основанныя на невѣроятномъ отождествленіи поэта съ героемъ его произведенія... Надо думать, — подобный казусъ больше никогда не повторится въ исторіи русской критики. Но дѣло не въ крайностяхъ и пристрастіяхъ, а въ законномъ стремленіи всякаго читателя, на основаніи характеровъ, положеній и міросозерцаній героевъ, проникнуть въ личныя настроенія и личную психологію ихъ творца. Это путь очень опасный и скользкій, каждый шагъ требуетъ великой осмотрительности, но онъ законенъ и возможенъ.

Художественное творчество тѣснѣе, чѣмъ какая-либо другая человѣческая дѣятельность, связано съ нѣдрами нравственнаго міра дѣятеля. Поэтическое воспроизведеніе дѣйствительности— *самый внутренній процессъ*, если такъ можно выразиться, изъ всѣхъ процессовъ мысли и сердца, и если даже для научнаго и отвлеченнаго сочиненія, направленнаго на человѣческую личность и общество, объективизмъ — цѣль врядъ ли достижимая, для творческой фантазіи и чуткаго сердца художника—этотъ идеалъ даже и не существуетъ. Всѣ разговоры о научномъ, безстрастномъ и безличномъ искусствѣ—contradictio in adjecto: это значило бы требовать солнца безъ свѣта, жизни безъ движенія. Вопросъ только въ глубинѣ и разносторонности личности художника и въ его писательскомъ темпераментѣ. Въ зависимости отъ этихъ данныхъ, личность откровеннѣе или сдержаннѣе сказывается въ своихъ созданіяхъ, и ея проявленія проще или сложнѣе. Поэтому возстановить личность Шекспира по его драмамъ, конечно, несравненно труднѣе, чѣмъ, напримѣръ, личность Шиллера, но и то и другое одинаково возможно. И нѣкоторыя черты шекспировскаго нравственнаго міра съ перваго же взгляда столь же ясны, какъ и смыслъ такъ-называемаго «шиллеровскаго идеализма». Разница лишь въ томъ, что «шиллеровскій идеализмъ»

перепискѣ ея съ французскими философами или ея взорамъ при путешествіи среди потемкинскаго маскарада. Но цѣнить «деготёкъ и лукъ», какъ неотъемлемые признаки коренной русской самобытности и даже «мудрости» — значитъ оставаться въ предѣлахъ первобытнаго инстинкта и лишать себя права сознательно и практически считаться съ крестьянской дѣйствительностью.

Самъ авторъ, конечно, не раздѣляетъ наивныхъ восторговъ Замина, но настроенія этого героя для него безконечно милѣе, чѣмъ «идеи и мысли» Вихрова. Несчастный идеалистъ и мыслитель безпрестанно попадаетъ въ забавное и жалкое положеніе, Заминъ до конца сохраняетъ роль простого симпатичнаго и дѣльнаго малаго. Для характеристики авторскаго отношенія къ герою очень любопытна сцена *художественныхъ* подвиговъ Замина. Мы знаемъ, вопросъ этотъ особенно близокъ авторскому сердцу и видѣли, какъ былъ увѣнчанъ эстетикъ Невѣдомовъ.

Заминъ въ другомъ родѣ художникъ. Онъ вмѣстѣ съ товарищемъ изображаетъ разныя пресмѣхотворныя штучки: напримѣръ, какъ рѣжутъ свинью, а собака за нее богу молится, потомъ громъ и молнію... Вихровъ послѣ этихъ спектаклей проникновенно восклицаетъ:

«Да, это смѣхъ настоящій, честный, добрый!»...

Теперь припомните отзывъ Невѣдомова о Жоржъ Зандъ, его идею о «нехудожественномъ пріемѣ», и сравните съ лаврами Замина, вы поймете, что̀ значитъ художество безъ вмѣшательства «умныхъ людей». Заминъ, изображающій пантомиму изъ цирка, симпатичнѣе, чѣмъ какіе угодно писатели, разъ ихъ можно заподозрить въ «позаимствованіи» у «умныхъ людей» «идей и мыслей».

Для полноты картины въ романѣ выводится студентъ, долженствующій соотвѣтствовать извѣстному, въ высшей степени распространенному типу людей сороковыхъ годовъ; спорщикъ и полемистъ Саловъ... Но что это за личность! Онъ въ восторгѣ отъ статей Бѣлинскаго, и въ то же время самый низкій негодяй, какого только могъ видѣть московскій университетъ въ своихъ стѣнахъ. Онъ и шуллеръ и кутила, и безчестный должникъ, и донъ-жуанъ отвратительнѣйшаго сорта, однимъ словомъ преступникъ—и притомъ убѣжденный и нахальный—чуть-ли не по всѣмъ статьямъ уголовнаго кодекса. И вотъ этому-то господину поручено вести полемику на темы сороковыхъ годовъ. Онъ на спѣхъ подчиталъ какую-то книгу Конта и готовится рѣзать всѣхъ «гегелистовъ»...

Авторъ, конечно, рисуетъ въ должномъ свѣтѣ доблести молодца, но любопытно, что у автора не нашлось другого философа и діалектика изъ студенческаго кружка и непремѣнно Заминъ долженъ восторгаться Бѣлинскимъ, а Невѣдомовъ отвергать того же Бѣлинскаго.

Мы отнюдь не намѣрены производить слѣдствіе «съ пристрастіемъ» надъ авторской совѣстью на основаніи рѣчей и дѣйствій его героевъ. Этотъ пріемъ совершенно не допустимъ въ литературной критикѣ, и именно наша литература знаетъ одинъ изъ печальныхъ опытовъ въ этомъ направленіи: статьи Писарева о Пушкинѣ, основанныя на невѣроятномъ отождествленіи поэта съ героемъ его произведенія... Надо думать, — подобный казусъ больше никогда не повторится въ исторіи русской критики. Но дѣло не въ крайностяхъ и пристрастіяхъ, а въ законномъ стремленіи всякаго читателя, на основаніи характеровъ, положеній и міросозерцаній героевъ, проникнуть въ личныя настроенія и личную психологію ихъ творца. Это путь очень опасный и скользкій, каждый шагъ требуетъ великой осмотрительности, но онъ законенъ и возможенъ.

Художественное творчество тѣснѣе, чѣмъ какая-либо другая человѣческая дѣятельность, связано съ нѣдрами нравственнаго міра дѣятеля. Поэтическое воспроизведеніе дѣйствительности— *самый внутренній процессъ*, если такъ можно выразиться, изъ всѣхъ процессовъ мысли и сердца, и если даже для научнаго и отвлеченнаго сочиненія, направленнаго на человѣческую личность и общество, объективизмъ — цѣль врядъ ли достижимая, для творческой фантазіи и чуткаго сердца художника—этотъ идеалъ даже и не существуетъ. Всѣ разговоры о научномъ, безстрастномъ и безличномъ искусствѣ—contradictio in adjecto: это значило бы требовать солнца безъ свѣта, жизни безъ движенія. Вопросъ только въ глубинѣ и разносторонности личности художника и въ его писательскомъ темпераментѣ. Въ зависимости отъ этихъ данныхъ, личность откровеннѣе или сдержаннѣе сказывается въ своихъ созданіяхъ, и ея проявленія проще или сложнѣе. Поэтому возстановить личность Шекспира по его драмамъ, конечно, несравненно труднѣе, чѣмъ, напримѣръ, личность Шиллера, но и то и другое одинаково возможно. И нѣкоторыя черты шекспировскаго нравственнаго міра съ перваго же взгляда столь же ясны, какъ и смыслъ такъ-называемаго «шиллеровскаго идеализма». Разница лишь въ томъ, что «шиллеровскій идеализмъ»

можно очертить вѣрной и твердой рукой съ одного пріема, а у Шекспира—за нѣкоторыми ясными чертами, въ родѣ патріотизма, религіозной терпимости, личной и общественной гуманности, скрывается еще цѣлый міръ идей и чувствъ, и пути къ нимъ, несомнѣнно, трудны и сбивчивы.

Писемскій не принадлежитъ къ столь сложнымъ натурамъ и творчество его на каждомъ шагу утрачиваетъ спокойствіе и уравновѣшенность. Мы увидимъ одинъ изъ излюбленныхъ пріемовъ его, даже совсѣмъ «не художественный»: вводить въ разсказъ собственную особу съ публицистическими изліяніями и безпрестанно сообщать свои собственныя впечатлѣнія на счетъ того или другого эпизода въ романѣ. Но и безъ этихъ отступленій самыя комбинаціи лицъ и эпизодовъ достаточно краснорѣчивы и мы до сихъ поръ могли убѣдиться, что авторъ даже иной разъ тратитъ слишкомъ много средствъ для освѣщенія одного и того же вопроса. Такъ, по поводу сороковыхъ годовъ мы уже знаемъ, на сколько невысоко авторъ цѣнитъ обѣ партіи и какъ сурово смотритъ на статьи Бѣлинскаго. Но ему еще понадобилось записать въ число *восторженныхъ* читателей критика именно Салова. Потомъ, намъ извѣстно, какъ подозрительно авторъ относится къ «мыслямъ и идеямъ», съ одной стороны онѣ — эхо «чужаго голоса», съ другой—яркій уборъ для эгоизма и безнравственности. Примѣръ—главный герой Вихровъ. Но есть и другой—Плавинъ. Онъ такъ выражается о крѣпостномъ правѣ:

«Прежде признаюсь, когда я жилъ ребенкомъ въ деревнѣ, я не замѣчалъ этого, но потомъ вотъ, пріѣзжая въ отпускъ, я увидѣлъ, что это страшная вещь, ужасная вещь!.. Человѣкъ вдругъ съ его душой и тѣломъ отданъ въ полную власть другому человѣку и тотъ можетъ имъ распоряжаться больше, чѣмъ самъ царь, чѣмъ самый безусловный восточный властелинъ, потому что тотъ все-таки будетъ судить и распоряжаться на основаніи какихъ-нибудь законовъ или обычаевъ, а вы тутъ можете къ вашему крѣпостному рабу врываться въ самыя интимныя, сердечныя его отношенія, признавать ихъ или отвергать»..

Не правда-ли очень краснорѣчиво? Но вы подождите восхищаться. Послушайте, какъ другой герой принимаетъ эту сатиру и проповѣдь.

«А!—какъ до самого-то коснулось, такъ не то заговорилъ,—подумалъ Вихровъ». И онъ правъ. Плавинъ возсталъ противъ крѣпостничества послѣ того, какъ мамаша разстроила у него романъ

съ крѣпостной дѣвушкой... Либерализмъ Плавина, слѣдовательно, одного происхожденія съ жоржъ-зандизмомъ Вихрова.

Кажется, достаточно ясно? Да, пока мы не потребуемъ отъ автора рѣшительныхъ отвѣтовъ: что же, въ самомъ дѣлѣ, зло или благо крѣпостное право, и если зло, то слѣдуетъ ли его устранить? И литература—«съ гуманными мыслями и идеями» дѣйствительно «не хужественный пріемъ», «чужой голосъ», подчасъ очень опасный и двусмысленный, или, напротивъ, источникъ просвѣщенія и общественнаго сознанія?

До сихъ поръ мы видѣли побитыми всѣхъ вообще идеологовъ и распространителей какихъ бы то ни было воззрѣній; увѣнчанными оказались только объективный эстетикъ и стихійный мужиколюбъ. Но авторъ въ теченіе всего романа занимается на столько жгучими и существенными темами, что читатели имѣютъ полное основаніе ожидать отъ него точныхъ представленій. На только-что указанные два вопроса не можетъ быть двухъ отвѣтовъ, сколько бы оговорокъ и ограниченій авторъ ни счелъ необходимыми. Это тѣмъ болѣе справедливо, что романъ создавался много лѣтъ спустя не только послѣ идей и увлеченій сороковыхъ годовъ, но и послѣ осуществленія многихъ мечтаній идеалистической эпохи. При такихъ условіяхъ автору, надо полагать, было не трудно додуматься до опредѣленнаго смысла когда-то пережитыхъ впечатлѣній.

Обращаемся къ роману.

XIV.

Важнѣйшимъ вопросомъ для *историческихъ* людей сороковыхъ годовъ была судьба крѣпостного строя. Оба юныхъ героя романа—Вихровъ и Плавинъ, испытывающіе смущеніе среди народнаго рабства, лично будто рѣшаются на нѣкоторыя практическія средства. По примѣру своихъ предшественниковъ и образцовъ «старенькихъ романтиковъ» они ужасаются, умиляются, усиливаются благодѣтельствовать «меньшому брату», но въ результатѣ усерднѣе всего продолжаютъ заниматься дѣлами, вообще свойственными героямъ романовъ. Самый пылкій—Вихровъ—совершаетъ, правда, гражданскій подвигъ и является «лицомъ, пострадавшимъ» за народную свободу и за «жоржъзандизмъ». Вихровъ написалъ повѣсть въ защиту несчастныхъ женъ и мужиковъ и подвергся ссылкѣ въ провинцію. Этотъ эпизодъ носитъ отчасти автобіографическій характеръ. Первое произведеніе Писемскаго—*Боярщина*—сочинено на

тему объ эмансипаціи и было запрещено цензурой въ печати. Запретъ тяготѣлъ надъ повѣстью цѣлыхъ десять лѣтъ, оставляя, конечно, въ памяти автора глубокое впечатлѣніе, и авторъ сильно прикрасилъ въ романѣ подлинное событіе, даже прибавилъ небывалый въ дѣйствительности фактъ—произведеніе, направленное, будто бы, противъ крѣпостничества. Писемскій могъ быть свидѣтелемъ многочисленныхъ гоненій на литературу не за женскій, а за народный вопросъ, но самъ до конца крѣпостнической эпохи не совершилъ ни одного прегрѣшенія въ духѣ народничества. Мы ниже познакомимся съ повѣстью Писемскаго и оцѣнимъ ея значеніе для эпохи сороковыхъ годовъ. Какъ бы велико ни было это значеніе, оно, разумѣется, блѣднѣетъ предъ всеобъемлющимъ вопросомъ о судьбѣ десятковъ милліоновъ народа. И это, повидимому, послѣ уничтоженія крѣпостного права чувствовалъ самъ авторъ, наградивъ своего автобіографическаго героя вымышленнымъ гражданскимъ вѣнкомъ. Но это увѣнчаніе такъ и остается вынужденной вставкой, будто позднѣйшимъ случайнымъ варіантомъ

На самомъ дѣлѣ вопросъ, поглощавшій вниманіе настоящихъ людей сороковыхъ годовъ и не встрѣчавшій въ этой средѣ двухъ рѣшеній, въ романѣ нашего автора принимаетъ самый неожиданный оборотъ.

Одинъ изъ положительныхъ героевъ, юристъ Марьеновскій, касается вообще вопроса о реформахъ и заявляетъ, что онѣ невозможны при существованіи крѣпостного права. Дѣло, слѣдовательно, сводится къ реформамъ,—необходимы ли онѣ, или нѣтъ?

Отвѣта рѣшительнаго не дается въ разбираемомъ романѣ, но шестью годами раньше въ другомъ романѣ—*Взбаламученное море* Писемскій изобразилъ слѣдующую сцену.

Бесѣда идетъ о крайнихъ политическихъ увлеченіяхъ молодежи. Главный герой романа—Баклановъ—спрашиваетъ у своихъ собесѣдниковъ, сенатскаго оберъ-прокурора Юрасова и бывшаго мирового посредника Варегина,—личности, въ высшей степени просвѣщенной, когда-то университетскаго преподавателя, для автора крайне симпатичной и высоко-почтенной:

— Неужели же во всемъ послѣднемъ движеніи вы не признаете никакого смысла?

Варегинъ только усмѣхается, а Юрасовъ отвѣчаетъ:

— Если подъ движеніемъ разумѣть собственно революціонное движеніе, то оно, конечно, безсмыслица; но движеніе въ смыслѣ реформъ...

Юрасовъ не доканчиваетъ, будто не находя приличествующаго выраженія или не осмѣливаясь его высказать, по недостатку личнаго твердаго убѣжденія. Что же касается Варегина, то онъ «придалъ какое-то странное выраженіе своему лицу...»

Мы еще встрѣтимся съ подобными сценами и вопросами въ романахъ нашего автора. Теперь обратите вниманіе на *тонъ* и *внутренній смыслъ* только-что приведенной бесѣды, не упустите изъ виду и мимику собесѣдниковъ. Что изъ всего этого вытекаетъ?

Все, что угодно, только не вполнѣ ясный, точный и твердый отвѣтъ на поставленные вопросы. Многоточіе и «какое-то странное» выраженіе лица... Вотъ по истинѣ «странное» заключеніе спора о предметахъ первостепенной важности и, притомъ, еще о предметахъ *практически* рѣшенныхъ. Потому что мы должны помнить, — у автора было слишкомъ достаточно времени и для наблюденій, и для критики, чтобы избавиться отъ неопредѣленныхъ настроеній.

Естественно, одновременно съ заявленіемъ Марьеновскаго, подрывающимъ, надо полагать, устойчивость крѣпостного права, мы слышимъ вѣскую рѣчь отъ «житейской мудрости» Макара Григорьева.

Онъ разсказываетъ о нѣкоторыхъ своихъ односельчанахъ, возжаждавшихъ свободной жизни. Онъ обратился къ этимъ неосновательнымъ фантазерамъ съ такимъ поученіемъ:

«Да есть ли у васъ разумъ, что на волѣ жить: ежели лошадь-то съ рожденія своего взнуздана была, такъ, по моему, ей взнузданной околѣвать приходится».

И въ дѣйствительности, семья дворовыхъ, зажившая было самостоятельно, окончательно пришла въ разстройство и снова вернулась въ подданническое состояніе. «Мудрость», слѣдовательно, не подлежитъ сомнѣнію, и притомъ Макаръ Григорьевъ такъ резонно и авторитетно доказываетъ её словесно, что ему могъ бы позавидовать любой крѣпостникъ съ самыми «тонкими вкусами». Даже больше. Съ исключительно «житейской» точки зрѣнія, безъ всякаго вмѣшательства «гуманныхъ идей и мыслей», Макаръ Григорьевъ имѣетъ видъ истиннаго «мудреца», стоящаго на самой трезвой и здоровой почвѣ.

Теперь, попробуйте объединить всѣ эти данныя—не явится ли у васъ мысль, что авторъ самъ подчасъ дѣлаетъ «странное выраженіе лица» и злоупотребляетъ многоточіями?

То же самое и насчетъ вліянія литературы.

Какъ у писателя, у нашего автора, конечно, не мало нѣжныхъ чувствъ къ литературѣ. Онъ, несомнѣнно, много обязанъ произведеніямъ русскихъ писателей, въ родѣ Пушкина и Гоголя, обязанъ многими пріятными минутами, настоящимъ художественнымъ и даже нравственнымъ удовлетвореніемъ. Естественно, Писемскій могъ написать такой сердечный отзывъ о двухъ своихъ герояхъ, провинціалахъ, любителяхъ литературы:

«Въ необразованномъ, пошловатомъ, провинціальномъ міркѣ они были единственными представителями и отголосками маленькаго ручейка мысли повозвышеннѣе, чувствъ поблагороднѣе, стремленій попоэтичнѣе, который въ то время такъ скромно и почти таинственно бѣжалъ посреди грубой и, какъ справедливо выражался Вихровъ, солдатскимъ сукномъ исполненной жизни...»

Дальше, оказывается одинъ изъ этихъ рѣдкихъ людей зналъ почти наизусть статьи Бѣлинскаго, другой читалъ разные журналы, въ томъ числѣ и *Отечественныя Записки.* Наконецъ, самое сильное заявленіе: «Ихъ любовь къ литературѣ и поэзіи все-таки развила въ нихъ чувства чести и благородства».

Слѣдовательно, скажете вы, и статьи Бѣлинскаго внесли свою лепту въ эту сокровищницу добродѣтелей? Но тогда, какой же смыслъ имѣетъ отзывъ Невѣдомова о статьяхъ Бѣлинскаго и Вихрова о письмѣ критика къ автору *Мертвыхъ душъ*?

Въ концѣ романа Вихровъ даетъ, наконецъ, повидимому, вполнѣ ясный отвѣтъ на вопросъ о дореформенной литературѣ и ея роли въ преобразовательномъ движеніи.

«Эти реформы,—говоритъ онъ,—обдумывались и облюбились не въ палатахъ тогдашнихъ государственныхъ мужей, а на вышкахъ и въ подвалахъ, въ бѣдныхъ студенческихъ квартирахъ и по скромнымъ гостинымъ литераторовъ и ученыхъ».

Совершенно ясно. Но, во-первыхъ, въ примѣръ студентовъ-реформаторовъ приводится Заминъ, знакомый намъ лицедѣй, не сообщившій намъ почему-то ни одной своей преобразовательной идеи. А потомъ, одновременно съ вихровскимъ панегирикомъ литературѣ, благородный провинціалъ, знающій наизусть статьи Бѣлинскаго, произноситъ уничтожающее обвинительное слово противъ той же литературы, не допуская никакихъ оговорокъ и ограниченій.

Оказывается, петербургскіе поэты крайняго направленія по пути женской эпансипаціи и критики, «ругающіе всю Россію на повалъ», развратили въ конецъ очень милую и нравственную даму. Пока «держали ее въ пушкинскомъ идеалѣ, она была женщина

совсѣмъ хорошая», а теперь, подъ вліяніемъ новой литературы, очевидно, усомнившейся въ идеальныхъ совершенствахъ Татьяны, дама «сбивалась съ панталыку» и открыто, съ гордостью, завела себѣ любовника. «Нынѣшняя скверная литература тому причиной», заканчиваетъ ораторъ.

Какая же литература? Если развѣнчивающая пушкинскую Татьяну, — предъ нами опять Бѣлинскій съ своей знаменитой страстной характеристикой русскихъ дѣвушекъ и женщинъ пушкинской эпохи. Никто безпощаднѣе Бѣлинскаго не нападалъ на подвигъ Татьяны въ концѣ романа и никто, слѣдовательно, не совершилъ въ глазахъ своего почитателя изъ романа Писемскаго болѣе вопіющаго преступленія предъ нравственностью. А потомъ, и относительно Россіи письмо нашего критика къ Гоголю могло бы вполнѣ подтвердить патріотическое негодованіе на писателей, безусловно свободныхъ отъ національныхъ восторговъ предъ русской дѣйствительностью. Наконецъ, что же противоставляетъ герой Писемскаго направленію петербургскихъ поэтовъ и критиковъ? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, пушкинскую Татьяну—эту прирожденную безпомощную жертву перваго встрѣчнаго комедіанта и пошляка, наряженнаго въ модный костюмъ? Авторъ самъ изобразитъ множество такихъ же жертвъ рядомъ съ еще болѣе сомнительными героями, чѣмъ пушкинскій Чайльдъ-Гарольдъ, и съ свойственнымъ ему реализмомъ представитъ въ самыхъ яркихъ краскахъ нравственный и общественный недугъ лицедѣйскаго разочарованія... И неужели послѣ этого онъ желалъ бы видѣть безъ конца все ту же благодарную публику для спектаклей господъ Батмановыхъ, Бахтіаровыхъ и многихъ имъ подобныхъ? Еще больше недоразумѣній вызываетъ замѣчаніе по адресу критиковъ, будто бы «наповалъ» уничтожающихъ Россію.

Какіе это критики? Если взять того же Бѣлинскаго, несомнѣнно виноватаго въ подрывѣ «пушкинскаго идеала», въ національномъ отщепенствѣ онъ окажется болѣе чѣмъ неповиннымъ. Въ послѣднихъ статьяхъ онъ даже рискнулъ вызвать недоумѣніе у своихъ сторонниковъ похвальной рѣчью нѣкоторымъ идеямъ славянофиловъ, и именно тѣмъ, которыя должны бы казаться особенно разумными Писемскому и его героямъ. Въ славянофильской литературѣ, по мнѣнію Бѣлинскаго, была несомнѣнно одна живительная струя —критика фальшиваго поверхностнаго европеизма, преслѣдованіе межеумковъ, нахватавшихся французскихъ и англійскихъ отголосковъ и разучившихся думать по русски. Но, съ другой стороны, проповѣдь

культурныхъ побѣдъ Востока надъ Западомъ, вообще національное идолопоклонство, казалось Бѣлинскому величайшимъ заблужденіемъ. И здѣсь, надо полагать, самъ Писемскій не могъ бы отказать критику въ извѣстномъ сочувствіи: по крайней мѣрѣ, такъ-называемое, «русачество» у него воплощено въ лицѣ послѣдняго негодяя—графа Хвостикова, въ романѣ *Мѣщане.*

Какъ же теперь намъ разобраться во всемъ этомъ? Какъ рѣшить вопросъ, что усвоилъ нашъ писатель изъ необычайно живого, искренняго и содержательнаго теченія сороковыхъ годовъ?

Одинъ отвѣтъ, несомнѣнно, ясенъ. Писемскій инстинктивно сторонится всякой *идеологіи*, теоріи, идеаловъ, рѣзко разрывающихъ съ дѣйствительностью; вообще, всякаго *общаго вывода* изъ данныхъ явленій, разъ онъ выходитъ за предѣлы здраваго смысла, непосредственной «житейской мудрости». Въ большинствѣ случаевъ, при извѣстномъ общественномъ строѣ, можно весьма спокойно прожить съ такимъ умственнымъ орудіемъ. Но бываютъ времена и обстоятельства, предъявляющія болѣе высокія и затруднительныя требованія. Въ самую жизнь, независимо отъ книгъ и теорій, врываются волны идей и фактовъ, совершенно не объяснимыхъ съ точки зрѣнія почвеннаго и стихійнаго развитія внѣшней дѣйствительности. Эти факты и идеи явно враждебны кругомъ процвѣтающей жизни. Хотя они весьма часто, напримѣръ, въ тѣ же сороковые годы, могутъ быть внушены просто гуманнымъ чувствомъ и логикой непосредственныхъ впечатлѣній, все-таки для полнаго признанія требуютъ особой силы идейнаго анализа и широкаго общекультурнаго горизонта. И требуютъ не только въ общественной практикѣ, но и въ искусствѣ, въ поэзіи.

Въ одной изъ статей о Пушкинѣ Бѣлинскій писалъ:

«Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, *страстное полное вражды и любви* мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи».

Это говорилось на основаніи фактовъ. Критикъ, конечно, видѣлъ и не скрывалъ, что указанный имъ духъ далеко не выгоденъ для *художественности,* и Бѣлинскій называлъ даже примѣры, нисколько не щадя своихъ личныхъ сочувствій къ извѣстнымъ писателямъ.

Въ другой его статьѣ читаемъ:

«Въ наше время искусство и литература больше чѣмъ когда-либо прежде сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общѣе, доступнѣе

всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ. Это, разумѣется, не могло не измѣнить общаго направленія искусства во вредъ ему, такъ какъ самые геніальные поэты, увлекаясь рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соотвѣтствуетъ ихъ таланту или, по крайней мѣрѣ, обнаруживается только въ частностяхъ, а цѣлое произведеніе слабо, растянуто, вяло, скучно».

И въ примѣръ приводятся нѣкоторые романы Жоржъ Зандъ.

Болѣе рѣшительной отповѣди не могъ бы изречь даже Невѣдомовъ. Но разница въ томъ, что герой Писемскаго такъ и успокоился бы на отдѣльныхъ фактахъ, изъ нѣсколькихъ частныхъ посылокъ сдѣлалъ бы общій и неограниченный выводъ, т. е. поступилъ бы какъ и подобаетъ чисто художественной созерцательной натурѣ. Совершенно другая картина рисуется анализирующему разуму.

Бѣлинскій продолжаетъ:

«Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а оттого, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопіею, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображеніи. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ характерами возможными, съ лицами, всѣмъ знакомыми, онъ ввелъ характеры фантастическіе, лица небывалыя—и романъ у него смѣшался со сказкою, натуральное замѣнилось искусственнымъ, поэзія смѣшалась съ реторикой».

Слѣдовательно, бѣда не въ общественныхъ интересахъ художника, а въ его пониманіи этихъ интересовъ. И далѣе Бѣлинскій совершенно логически доказываетъ, что искусство отнюдь не подвергается опасности изъ-за общественныхъ идей. Та же Жоржъ Зандъ подтвердила это другими романами, вполнѣ художественными, хотя и преисполненными общественнаго содержанія. Даже у второстепенныхъ талантовъ идейныя тенденціи приводятъ къ уродливымъ результатамъ исключительно потому, что авторы вмѣсто жизненнаго реализма, пускаютъ въ ходъ эффектные вымыслы.

Весь вопросъ, очевидно, въ силѣ художественнаго творчества и въ вѣрномъ представленіи о явленіяхъ подлинной дѣйствительности и ея настоятельныхъ прогрессивныхъ потребностяхъ. Это представленіе, несомнѣнно, можетъ возникнуть только путемъ анализа. Отрѣшиться отъ общественныхъ вопросовъ дѣятелю новой

и прежняя смута представленій не исчезнетъ окончательно. Мы это видѣли въ одномъ произведеніи Писемскаго, увидимъ и въ цѣломъ рядѣ другихъ. И это явится вполнѣ естественнымъ искупленіемъ за безусловную «трезвость». При всѣхъ ея выгодахъ, она далеко не всегда и не все можетъ понять, оцѣнить, и часто ея судъ оказывается крайне близорукимъ и несправедливымъ. Почему,—объяснено очень хорошо однимъ изъ шекспировскихъ героевъ, юнымъ, но много страдавшимъ.

Когда монахъ Лоренцо, непогрѣшимый проповѣдникъ здраваго смысла и практической мудрости, принимается осыпать укорами несчастнаго юношу, переживающаго величайшую драму своей жизни, Ромео пылко бросаетъ ему въ лицо такую отповѣдь:

Ты говоришь о томъ не въ состояньи,
Чего не можешь чувствовать! Когда бъ
Ты молодъ былъ, какъ я! любилъ Джульетту,
Какъ я люблю! обвѣнчанъ былъ бы съ нею,
Затѣмъ убилъ Тибальда и узналъ,
Что изгнанъ ты—тогда заговорилъ бы
Иначе ты!—ты вырвалъ бы себѣ
Всѣ волосы и бросился бъ на землю,
Какъ я теперь, искать себѣ могилы...

Ромео—слишкомъ молодъ и преисполненъ пылкой страсти, но въ его крикѣ: «мудрецъ съ разсудкомъ здравымъ слѣпъ!» и въ совѣтѣ монаху—сначала попасть въ бѣду, а потомъ попытаться одолѣть ее сентенціями «здраваго разсудка»—заключается дѣйствительно настоящая мудрость. И здравомыслящій резонеръ рядомъ съ безумно-несчастнымъ юношей производитъ на насъ впечатлѣніе—менѣе всего внушительное и для себя выгодное.

Такъ и въ нашемъ случаѣ. Люди сороковыхъ годовъ—своего рода Ромео, столь же страстные, хотя и неизмѣримо болѣе сознательные рыцари своихъ—*идей*, преимущественно двухъ идеаловъ—народной свободы и просвѣтительнаго, даже преобразовательнаго назначенія литературы. Надо было страдать этими идеалами, надо, подобно Бѣлинскому, «цѣною слезъ, воплей души» усвоивать идеи, воспринимать ихъ всѣмъ своимъ существомъ и долгими сомнѣніями и думами вынашивать всякое убѣжденіе, или, подобно Станкевичу, горевать на свои физическія немощи, какъ на препятствіе выполнить свое «призваніе»—надо было, однимъ словомъ, пережить молодость со всѣмъ трепетомъ чуткаго сердца и самоотверженной работой аналитической мысли, тогда только писатель стяжалъ бы право и способность говорить и судить. Иначе всюду,

мыхъ и неожиданныхъ явленій и безпомощно и безпорядочно отбивается отъ нихъ, будто отъ призраковъ.

Совсѣмъ не отбиваться, а просто уйти къ сторонкѣ отъ неудержимаго движенія Писемскій не могъ и по своему великому литературному таланту, и по невольному долгу, возложенному на него предъ читателями именно силой этого таланта. Но справиться съ привидѣніями не было возможности средствами, пригодными для обороны въ другія, менѣе отвѣтственныя и не столь *сложныя* времена. «Житейская мудрость» столь же мало соотвѣтствовала сороковымъ и позже шестидесятымъ годамъ, какъ мортиры и пищали XVI го вѣка—войнамъ XIX-го столѣтія. Писателю оставалось усвоить современное оружіе и новѣйшую тактику, т. е. пойти сначала въ ученики къ «гегелистамъ» и прочимъ идеалистамъ эпохи, чтобы потомъ разсчитаться съ ними въ равномъ бою. Но возможно ли это было для Писемскаго?

Автобіографія и автобіографическій романъ даютъ рѣшительный отрицательный отвѣтъ. И романъ здѣсь даже важнѣе автобіографіи. Онъ, снова повторяемъ, былъ написанъ не въ самый разгаръ впечатлѣній автора, долго спустя послѣ «сороковыхъ годовъ». Впечатлѣнія могли улечься и выясниться. Писалась уже исторія, мемуары, а не дневникъ. И при такихъ условіяхъ романъ сохранилъ слѣды изумительной смуты въ авторскихъ представленіяхъ всюду, гдѣ дѣло идетъ о насущнѣйшихъ культурныхъ и общественныхъ вопросахъ минувшей эпохи... Что же могло быть среди самыхъ событій и фактовъ въ минуты *воспріятія* разнообразныхъ впечатлѣній? Ничего другого,—кромѣ въ лучшемъ случаѣ—крайней неустойчивости въ сочувствіяхъ и туманности въ сужденіяхъ. Писемскій оставлялъ университетъ *трезвымъ* человѣкомъ: этимъ онъ особенно гордится въ автобіографіи. И несомнѣнно, трезвость имѣетъ свои достоинства. Мы сейчасъ увидимъ, чѣмъ авторъ былъ обязанъ ей въ своей литературной дѣятельности. Но трезвости было мало въ то время, когда кругомъ кипѣла мысль и лучшія молодыя силы горѣли воодушевленіемъ отнюдь не ради фантастическихъ мечтаній а самыхъ разумныхъ, не отвѣчавшихъ нуждъ русскаго народа и общества. Вскорѣ основательность этого воодушевленія будетъ блистательно подтверждена историческими преобразованіями, тогда и нашъ авторъ окажется выбитымъ изъ круга «житейской мудрости». Но будетъ время: онъ не съумѣетъ освоиться даже съ тѣми идеями сороковыхъ годовъ, которыя найдутъ свое осуществленіе на практикѣ.

и прежняя смута представленій не исчезнетъ окончательно. Мы это видѣли въ одномъ произведеніи Писемскаго, увидимъ и въ цѣломъ рядѣ другихъ. И это явится вполнѣ естественнымъ искупленіемъ за безусловную «трезвость». При всѣхъ ея выгодахъ, она далеко не всегда и не все можетъ понять, оцѣнить, и часто ея судъ оказывается крайне близорукимъ и несправедливымъ. Почему,—объяснено очень хорошо однимъ изъ шекспировскихъ героевъ, юнымъ, но много страдавшимъ.

Когда монахъ Лоренцо, непогрѣшимый проповѣдникъ здраваго смысла и практической мудрости, принимается осыпать укорами несчастнаго юношу, переживающаго величайшую драму своей жизни, Ромео пылко бросаетъ ему въ лицо такую отповѣдь:

Ты говоришь о томъ не въ состояньи,
Чего не можешь чувствовать! Когда бъ
Ты молодъ былъ, какъ я! любилъ Джульетту,
Какъ я люблю! обвѣнчанъ былъ бы съ нею,
Затѣмъ убилъ Тибальда и узналъ,
Что изгнанъ ты—тогда заговорилъ бы
Иначе ты!—ты вырвалъ бы себѣ
Всѣ волосы и бросился бъ на землю,
Какъ я теперь, искать себѣ могилы...

Ромео—слишкомъ молодъ и преисполненъ пылкой страсти, но въ его крикѣ: «мудрецъ съ разсудкомъ здравымъ слѣпъ!» и въ совѣтѣ монаху—сначала попасть въ бѣду, а потомъ попытаться одолѣть ее сентенціями «здраваго разсудка»—заключается дѣйствительно настоящая мудрость. И здравомыслящій резонеръ рядомъ съ безумно-несчастнымъ юношей производитъ на насъ впечатлѣніе—менѣе всего внушительное и для себя выгодное.

Такъ и въ нашемъ случаѣ. Люди сороковыхъ годовъ—своего рода Ромео, столь же страстные, хотя и неизмѣримо болѣе сознательные рыцари своихъ—*идей*, преимущественно двухъ идеаловъ—народной свободы и просвѣтительнаго, даже преобразовательнаго назначенія литературы. Надо было страдать этими идеалами, надо, подобно Бѣлинскому, «цѣною слезъ, воплей души» усвоивать идеи, воспринимать ихъ всѣмъ своимъ существомъ и долгими сомнѣніями и думами вынашивать всякое убѣжденіе, или, подобно Станкевичу, горевать на свои физическія немощи, какъ на препятствіе выполнить свое «призваніе»—надо было, однимъ словомъ, пережить молодость со всѣмъ трепетомъ чуткаго сердца и самоотверженной работой аналитической мысли, тогда только писатель стяжалъ бы право и способность говорить и судить. Иначе всюду,

гдѣ только его рѣчь коснется лично непродуманныхъ идей и не переиспытанныхъ волненій, она, при всей своей трезвости, будетъ звучать въ лучшемъ случаѣ сухимъ банальнымъ резонерствомъ или обличать крайнюю неопредѣленность руководящихъ воззрѣній, вѣчно боязливыя колебанія между самыми разнообразными выводами и сужденіями.

У Писемскаго такое положеніе обнаружилось, лишь только онъ попалъ въ идейныя теченія своего времени. Мы могли до сихъ поръ видѣть, оно—отнюдь не было преднамѣренной, излюбленной ролью автора. Напротивъ, вытекая изъ самой сущности натуры нашего писателя, эта роль установилась съ самаго начала естественно, стихійно, потомъ укрѣпилась подъ вліяніемъ совершенно логическаго развитія внѣшнихъ обстоятельствъ и настроеній Писемскаго, и въ результатѣ создала жестокую драму для человѣка и для писателя.

XV.

Во время пребыванія въ университетѣ Писемскій, разумѣется, не пренебрегалъ своими литературными наклонностями. Въ романѣ разсказывается о нѣкоторыхъ работахъ Павла Вихрова и подробности разсказовъ не лишены интереса. Такъ, напримѣръ, Вихровъ—студентъ математическаго факультета—представилъ профессору словесности сочиненіе *Поссевинъ въ Россіи* и удостоился публичнаго одобренія. Иначе вышло съ повѣстью *Чугунное кольцо*: профессоръ указалъ на полное незнакомство автора съ изображенной въ повѣсти дѣйствительностью. Вихровъ рѣшилъ—«учиться и учиться», а потомъ уже писать...

Мы видѣли, какъ самъ Писемскій не высоко цѣнилъ умственный капиталъ, пріобрѣтенный въ университетѣ, и даже вполнѣ положительное, по его мнѣнію, пріобрѣтеніе—«трезвость» отнюдь не обѣщала безусловныхъ благъ по условіямъ эпохи. Писемскій вышелъ изъ университета, столь же мало связанный нравственно съ «людьми сороковыхъ годовъ», какъ и въ день поступленія въ университетъ. Онъ могъ вынести развѣ только болѣе прочную увѣренность въ своихъ литературныхъ талантахъ и особенно въ артистическихъ способностяхъ. А намѣренію «учиться и учиться» предстояло осуществляться совершенно другимъ путемъ, чѣмъ это происходило у большинства молодежи сороковыхъ годовъ. Въ программѣ Писемскаго мы заранѣе можемъ не искать популярнѣй-

шихъ задачъ времени, излюбленныхъ авторовъ-философовъ и публицистовъ. Все это не соотвѣтствовало бы трезвому взгляду и потомъ представляло бы изъ себя только «чужой голосъ». Единственная достойная изученія книга — жизнь и вытекающая изъ нея «житейская мудрость».

И Писемскій непосредственно за порогомъ университетскихъ аудиторій приступаетъ къ этому источнику истины.

Для насъ особенно любопытенъ одинъ фактъ. Обыкновенно, всѣ, кто чувствуетъ въ себѣ «бога», т. е. литературный талантъ и успѣли уже вкусить сладости успѣха, томятся неутолимой жаждой дальнѣйшихъ подвиговъ и успѣховъ. И эта жажда такъ естественна именно въ молодости! Примѣровъ на этотъ счетъ можно бы привести сколько угодно, но примѣръ, похожій на исторію Писемскаго, найти врядъ ли возможно.

Въ теченіе болѣе трехъ лѣтъ будущій писатель не даетъ о себѣ никакихъ вѣстей въ литературѣ, но за то начинаетъ входить во вкусъ чиновничьей службы. Сначала Писемскій поступаетъ въ костромскую палату государственныхъ имуществъ, служитъ два года, выходитъ въ отставку, женится, снова поступаетъ на службу чиновникомъ особыхъ порученій при костромскомъ губернаторѣ, дѣлается потомъ ассесоромъ костромскаго губернскаго управленія и остается имъ, пока литературная слава не обѣщаетъ болѣе привлекательнаго и солиднаго обезпеченія, т. е. до 1853 года. Но на этомъ не кончается канцелярская карьера Писемскаго. Много лѣтъ спустя, когда слава подверглась затменію, онъ снова является чиновникомъ и состоитъ совѣтникомъ московскаго губернскаго правленія съ 1866 года, въ теченіе семи лѣтъ. На этотъ разъ служба не могла быть вынуждена финансовымъ вопросомъ: популярность Писемскаго сильно падала у критики и наиболѣе литературной публики, но это не мѣшало спросу на его романы у читателей *Всемірнаго труда*, *Зари*, *Гражданина*, *Огонька*, и въ денежномъ отношеніи писатель былъ вполнѣ взысканъ судьбой. Очевидно, у Писемскаго жила личная склонность къ чиновничьей дѣятельности.

И дѣйствительно, не только склонность, но даже извѣстное міросозерцаніе, система. Въ теченіе всего университетскаго курса и много позже Писемскій не могъ выработать опредѣленнаго взгляда на современныя *общественныя* идеи, но за то составилъ вполнѣ точное представленіе о назначеніи русскаго чиновника. Это, конечно, ближе стояло къ житейской мудрости и само пред-

ставленіе могло быть совершенно «трезвымъ» и практическимъ. Оно, на самомъ дѣлѣ, выражало только взгляды тѣхъ же чиновниковъ, можетъ быть, и лучшихъ въ своей средѣ, но изображавшихъ изъ себя привилегированныхъ воспитателей и руководителей общества.

Именно такъ смотрѣлъ на вопросъ Писемскій. Можно признавать или оспаривать этотъ взглядъ, мы не намѣрены входить въ доскональное разрѣшеніе вопроса, но одной особенности именно относительно Писемскаго нельзя упустить изъ виду.

Онъ—писатель, жилъ въ эпоху, когда литература, можетъ быть, юношески смѣло, но искренне и *по послѣдствіямъ* цѣлесообразно, брала на себя обязанность указывать и разъяснять общественные недуги и намѣчать средства врачеванія. Литература не только констатировала вопіющія уродства крѣпостного строя, но, на сколько ей дозволялось, дѣлала логическіе выводы изъ фактовъ. Даже общественные слои, совершенно непричастные къ литературѣ, волновались, обсуждали и рѣшали вопросы за свой счетъ.

Объ этомъ, между прочимъ, свидѣтельствуютъ письма Бѣлинскаго. Критикъ, восхищаясь оживленіемъ литературы, сообщаетъ, что и «помѣщики проснулись и затолковали»: «видно по всему, что патріархально-сонный бытъ изжитъ, и надо взять иную дорогу»...

И движеніе сначала являлось чисто-общественнымъ, литературно-публицистическимъ, безъ всякихъ оффиціяльныхъ внушеній и поощреній. Напротивъ, цензура нерѣдко карала періодическую печать за обсужденіе крестьянскаго вопроса уже въ то время, когда рѣшеніе его было признано настоятельнымъ у высшаго правительства. И вотъ при такихъ-то условіяхъ Писемскій усиливается идею чиновника слить съ идеей всеобъемлющей дѣятельности въ государствѣ, проникается чисто-патріархальнымъ идеаломъ начальника «родного отца» и «благодѣтеля».

Для насъ, въ сущности, этотъ идеалъ не представляетъ неожиданности. Мы слышали и еще не разъ услышимъ о «справедливомъ» помѣщикѣ, какъ послѣднемъ словѣ «житейской мудрости», «справедливый» чиновникъ—естественная компанія справедливому барину, и государственный вопросъ рѣшается столь же просто, какъ и общественный, безъ всякихъ «идей и мыслей», главное—отечественными средствами, безъ вмѣшательства «чужого голоса».

Со всѣми подробностями рѣшенія знакомъ всякій читатель произведеній Писемскаго. Калиновичъ, герой романа *Тысяча душъ*, ничто иное, какъ воплощеніе административнаго идеала самого

автора. Этотъ фактъ удостовѣренъ на юбилеѣ Писемскаго ораторомъ, вполнѣ освѣдомленнымъ въ вопросѣ—лично отъ самого юбиляра. О Калиновичѣ намъ предстоитъ особая бесѣда, теперь достаточно припомнить его теоретическую и практическую политику. И та, и другая крайне просты: полнѣйшая личная безупречность, но соразмѣрная съ добродѣтелями—и власть, точнѣе самовластіе. Калиновичъ не беретъ взятокъ, безпощадно преслѣдуетъ неправду всюду, гдѣ только ее находитъ, но дѣйствуетъ при этомъ, какъ провиденціальный, непогрѣшимый человѣкъ, какъ Наполеонъ своего царства, какъ Юпитеръ-громовержецъ—единственный по силѣ и пониманію вещей. Это называется «проведеніемъ безстрастной идеи государства съ возможнымъ отпоромъ всѣхъ домогательствъ сословныхъ и частныхъ», т. е. въ переводѣ на болѣе простой языкъ — предъ нами тотъ самый разгулъ канцелярскаго деспотизма, какой изображенъ Тургеневымъ въ лицѣ рѣшительнаго юнаго генія Паншина. Калиновичъ, конечно, гораздо умнѣе и талантливѣе этого господина, но символъ вѣры у нихъ одинаковъ: все черезъ администрацію и во имя администраціи.

Результаты очевидны съ самаго начала. «Отпоръ всѣхъ домогательствъ» на практикѣ оказывается полнѣйшимъ пренебреженіемъ къ общимъ свойствамъ среды и обстоятельствъ, гдѣ осуществляются молніеносные рапорты и отношенія, совершеннымъ забвеніемъ общественныхъ и народныхъ основъ жизни, на которую распространяется «безстрастное» воздѣйствіе всевозможныхъ усмотрѣній и личныхъ вдохновеній. Ясно, всѣ самыя благія начинанія остаются, по существу, безплодными, потому что ихъ судьба зависитъ отъ отдѣльной личности и не связана съ самимъ строемъ жизни, съ чувствами и мыслями среды. Калиновича можетъ смѣнить одинъ изъ уничтоженныхъ имъ взяточниковъ, и старые порядки снова водворятся невозбранно. Такъ это и происходитъ въ самомъ романѣ. «Справедливый» губернаторъ сходитъ со сцены, оставляя за собой только лишнюю страницу въ исторіи помпадурства, хотя бы и вполнѣ благонамѣреннаго и благороднаго. Онъ не успѣваетъ вызвать къ жизни ни «сословнаго», ни «частнаго» дѣятельнаго сочувствія своимъ начинаніямъ, ни сословнаго, ни частнаго сознанія—во-первыхъ, ненормальности взятки и плутни, во-вторыхъ, необходимости бороться съ ними общими силами, за одно съ благороднымъ администраторомъ. А пока нѣтъ этого сознанія, всякій Калиновичъ, вооруженный какимъ угодно

безстрастіемъ, окажется однимъ изъ самыхъ неудачныхъ донъ-кихотовъ.

Совершенно такое же разсужденіе примѣнимо и къ «доброму» барину-крѣпостнику, вообще всюду, гдѣ общественный вопросъ превращается въ личный, гдѣ политика переходитъ въ мораль. А именно этотъ способъ рѣшенія самыхъ сложныхъ вопросовъ и усвоенъ Писемскимъ, какъ писателемъ и какъ практическимъ дѣятелемъ. И служебная карьера Писемскаго любопытна для насъ именно потому, что она бросаетъ вполнѣ опредѣленный свѣтъ на одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ въ міросозерцаніи писателя.

Нѣтъ сомнѣнія, идея не оставалась у Писемскаго платоническимъ достояніемъ ума. Онъ старался, на сколько зависѣло отъ его силъ и скромныхъ должностныхъ положеній, осуществить ее въ дѣятельности, служилъ съ толкомъ и съ любовью, находилъ положительный вкусъ въ своихъ обязанностяхъ чиновника. Особенно его увлекали слѣдствія по уголовнымъ дѣламъ. Въ романѣ *Люди сороковыхъ годовъ* съ великими подробностями изображена слѣдовательская дѣятельность Вихрова, такого же чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, какимъ былъ самъ авторъ. Въ той же юбилейной рѣчи, несомнѣнно, со словъ Писемскаго сообщалось, что онъ необычайно внимательно и любовно допрашивалъ преступниковъ и даже разстроивалъ ихъ. Они разсказывали свои дѣла откровенно, потому что слѣдователь «ужъ больно хорошій и умный баринъ». Это извѣстіе отдаетъ чѣмъ-то идиллическимъ, мало свойственнымъ русскому преступнику и вообще русскому человѣку, но и подобное заявленіе, конечно, возможно въ единичномъ случаѣ. Для насъ важно собственно отношеніе будущаго писателя къ своей оффиціальной службѣ. Оно, мы видимъ, вполнѣ твердое, искреннее и не лишенное даже сознанія личнаго достоинства, и недюжинныхъ способностей и успѣховъ на административномъ поприщѣ.

Выводъ поучительный для міросозерцанія Писемскаго, и мы убѣдимся, какую громадную роль играли эти чувства при созданіи романа *Тысяча душъ*, лучшаго произведенія нашего автора. Но служба и безвыходное пребываніе въ провинціи немедленно послѣ окончанія университетскаго курса, важны еще и въ другомъ смыслѣ.

Трезвость, вынесенная Писемскимъ изъ университета, могла разцвѣсти на полномъ просторѣ вдали отъ столичныхъ кружковъ и напряженныхъ культурныхъ интересовъ. Непосредственные во-

просы житейскаго благополучія и благоустройства неминуемо должны были затягивать человѣка, уже по натурѣ мало склоннаго къ «идеямъ и мыслямъ» въ духѣ своей многодумной и безпокойной эпохи. Четыре года спустя послѣ окончанія университета Писемскій женился на дочери издателя «Отечественныхъ Записокъ», Екатеринѣ Павловнѣ Свиньиной. Это событіе положило рѣшительный конецъ «жоржъ-зандизму» Алексѣя Ѳеофилактовича, т. е. единственнымъ мечтательнымъ увлеченіямъ, унаслѣдованнымъ отъ легкомысленной юности.

Супруга Писемскаго оказалась какъ нельзя болѣе способной упрочить трезвыя настроенія мужа. Бракъ, повидимому, былъ заключенъ безъ малѣйшаго вмѣшательства романическаго элемента, Екатерина Павловна, по отзыву мужа, «совершенно не кокетка», очевидно, менѣе всего могла заставить своего поклонника пройти тернистый путь юношескихъ сердечныхъ страстей.

Въ романѣ *Взбаламученное море* она выведена подъ именемъ Евпраксіи, необычайно выдержанной, невозмутимо разсудительной дочери, жены, матери. Въ силу этихъ совершенствъ, ей даже присвоено наименованіе *ледёшки*. Все это намъ извѣстно со словъ самого Писемскаго, и мы впослѣдствіи увидимъ, какое вліяніе семейная жизнь оказала на идеальное представленіе нашего автора вообще о женщинѣ, ея судьбѣ и назначеніи.

Во всякомъ случаѣ, женитьбой Писемскій «выигралъ главный кушъ въ жизненной лотереѣ». Такъ выражался Тургеневъ, невольно завидовавшій благоустройству семейнаго очага своего товарища. У этого очага Екатерина Павловна представляла во всѣхъ отношеніяхъ прочную основу и положительную устойчивую силу. И эта сила должна была принести неоцѣненную пользу въ будущемъ.

Писемскій, при всей своей умственной трезвости, унаслѣдовалъ отъ родителей необычайно нервную физическую организацію. Мы видѣли, что составляло наиболѣе чуткую, болѣзненную сторону нервозности у отца писателя. Десятки лѣтъ нужды, лишеній, невольныхъ обязательствъ предъ милостями благодѣтелей и покровителей развили нестерпимо раздражительное чувство самолюбія и органическое недовѣріе къ людямъ, къ ихъ словамъ и поступкамъ. Такія настроенія заставляютъ человѣка быть вѣчно на сторожѣ, ежеминутно ждать отъ внѣшняго міра непрошеныхъ, оскорбительныхъ и эгоистическихъ врывательствъ въ личную жизнь слабѣйшаго. Это не разочарованіе и не пессимизмъ, но ощуще-

нія, весьма похожія на то и другое: инстинктивное недовѣріе ко всему, что кажется чуждой, враждебной или даже просто равнодушной силой. Это — скептицизмъ людей, много перенесшихъ и много разъ обманутыхъ. Его можно встрѣтить на каждомъ шагу, среди разныхъ неудачниковъ какого угодно умственнаго уровня и общественнаго положенія.

Нашъ писатель получилъ въ полной мѣрѣ это печальное наслѣдіе, и требовались только соотвѣтствующія обстоятельства, чтобы стихійная болѣзненная оторопь предъ внѣшнимъ міромъ проснулась и властно завладѣла душой и умомъ «предрасположеннаго субъекта». У отца Писемскаго эта оторопь находила противовѣсъ въ закаленной, чисто-солдатской натурѣ, въ укоренившейся привычкѣ къ дисциплинѣ надъ другими и надъ самимъ собой, въ большой практической энергіи. У сына—натуры, утратившей расовую цѣльность Писемскихъ подъ вліяніемъ художественныхъ и даже отчасти романтическихъ задатковъ материнской семьи—не было отцовской стойкости и выдержки. И дальше мы увидимъ, до какихъ предѣловъ настоящаго пессимизма и безотрадной меланхоліи выростало у Писемскаго простое чувство недовѣрія къ людямъ и къ жизни, завѣщанное «житейской мудростью» предковъ. Это произошло, когда писателя со всѣхъ сторонъ окружили темныя тучи общественнаго гнѣва, по временамъ даже ожесточеннаго преслѣдованія и безславія... Но трагическія времена еще далеко. Теперь пока долженъ открыться путь блестящей славы и быстрыхъ увлекательныхъ успѣховъ.

Къ нимъ писатель готовился, нисколько, повидимому, не волнуясь, не страдая обычной юношеской лихорадкой еще неиспытанныхъ, неудостовѣренныхъ вполнѣ творческихъ силъ. Онъ спокойно изучалъ окружающую жизнь и въ этомъ изученіи съ первыхъ же шаговъ долженъ былъ занять самое выгодное положеніе, какое только могло достаться русскому писателю сороковыхъ годовъ.

Всякаго другого, подъ вліяніемъ разныхъ современныхъ идей и обычныхъ молодыхъ иллюзій, наблюдаемая дѣйствительность на первыхъ порахъ, по крайней мѣрѣ,—могла лишить душевнаго мира и спокойной вдумчивости. Гнѣвъ и страсть невольно могли подняться въ сердцѣ идеально-настроеннаго юноши и онъ въ той или другой формѣ прошелъ бы сначала путь Бѣлинскаго, излившаго первыя муки идеальной мысли въ стремительной драмѣ шиллеровскаго жанра, или Лермонтова, трепетавшаго всѣми нервами своего существа при одной мысли о свѣтскихъ пошлякахъ

и фарсёрахъ, или Тургенева, съ трудомъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, справившагося съ своей первой общественной исторіей—*Рудинымъ*. И послѣднее обстоятельство особенно понятно. Писателю, развѣнчивающему одно изъ блестящихъ, но по существу отрицательныхъ явленій русскаго общества, приходилось художественные образы отрывать отъ сердца, «чтобы муки съ ними оторвать», по выраженію Лермонтова.

Ничего подобнаго не могло совершиться съ самыми сильными впечатлѣніями Писемскаго. Онъ невозмутимо и прилежно изучалъ науку жизни—чиновничьей и провинціальной. Вооруженный здравымъ смысломъ, чувствомъ справедливости и непосредственнымъ общечеловѣческимъ чутьёмъ правды, онъ былъ достаточно проницателенъ оцѣнить прелести дореформенной бюрократіи, безъ помощи какихъ бы то ни было идейныхъ внушеній. Другое дѣло — додуматься до общаго смысла и вывода изъ этой оцѣнки... Потомъ, свободный отъ модныхъ увлеченій своего поколѣнія, на короткое время, да и то болѣе по личнымъ практическимъ соображеніямъ поддавшійся только жоржъ-зандизму, онъ могъ съ безстрастіемъ естествоиспытателя изслѣдовать пышныя фигуры во всевозможныхъ европейскихъ уборахъ, и Чайльдъ-Гарольдовъ, и Рудиныхъ, и просто донъ-жуановъ и шарлатановъ безъ всякихъ плащей. Со временъ Фонвизина русскіе Иванушки не видѣли болѣе неумолимаго и неутомимаго врага и съ эпохи *Мертвыхъ душъ* не раздавался болѣе прямой, національный голосъ почвенной самобытной русской натуры.

И, наконецъ, гдѣ пришлось зазвучать этому голосу? Тамъ, гдѣ всѣ Иванушки являются обыкновенно въ самомъ забавномъ, каррикатурномъ видѣ, гдѣ всякій европеизмъ превращается въ яркую заплату на неопрятномъ самодѣльномъ платьѣ и гдѣ, съ другой стороны, «крапивное сѣмя», отравлявшее еще Сумарокова, разростается въ непроходимую чащу всевозможныхъ неправдъ и произвола.

Да, трудно представить болѣе счастливое совпаденіе могучаго сатирическаго таланта, личной искренности и правдивости, полнѣйшей неприкосновенности къ соблазнамъ современной мысли и даже моды и благодарнѣйшей среды для изученія отрицательнѣйшихъ явленій оффиціальнаго міра и общественной жизни...

XVI.

Раньше подробнаго разбора произведеній Писемскаго мы, на основаніи общаго представленія объ его личности и талантѣ, можемъ безошибочно заключить о развитіи, объ основныхъ моментахъ и періодахъ его творчества. Писемскій на сцену общественной литературы выступилъ въ 1847 году, романомъ *Боярщина*. Романъ былъ запрещенъ и, конечно, быстро распространился въ рукописи. Первое произведеніе Писемскаго явилось въ печати въ іюльской книгѣ *Отечественныхъ Записокъ* 1848 года,—повѣсть *Нина*. Затѣмъ слѣдовалъ непрерывный рядъ разсказовъ, большихъ повѣстей, драмъ и комедій. Не проходило года безъ какого-либо произведенія Писемскаго. Не всѣ они одинаковаго достоинства, не всѣмъ имъ авторъ посвящалъ достаточно труда и вниманія, но это не мѣшало славѣ Писемскаго расти непрерывно и достигнуть полнаго блеска въ эпоху появленія романа *Тысяча душъ* и драмы *Горькая судьбина*. Эти, дѣйствительно, въ высшей степени зрѣлые плоды великаго таланта заключили первый періодъ литературной работы нашего автора, явились, такъ сказать, послѣдними словами необычайно обильной многолѣтней художественной рѣчи.

Этотъ періодъ можно назвать *дореформеннымъ*. Онъ закончился какъ разъ наканунѣ преобразовательнаго движенія шестидесятыхъ годовъ, успѣлъ охватить и ранніе его проблески, едва замѣтныя, часто подземныя струи новыхъ теченій и совершенно открытыя, бьющія ключемъ, стремленія подготовителей и осуществителей освободительныхъ реформъ.

Дальше слѣдовали годы именно этихъ реформъ, коснувшихся рѣшительно всѣхъ сторонъ нравственной, общественной и государственной жизни Россіи. Литература, естественно, оказалась одною изъ самыхъ заинтересованныхъ и фактически затронутыхъ областей. Именно она въ теченіе десятилѣтій волновалась, работала и страдала ради совершившихся теперь перемѣнъ, и, разумѣется, шестидесятые годы должны были отличаться безпримѣрнымъ оживленіемъ печати, ознаменоваться небывало-страстной работой мысли и слова. Эта работа—въ силу самой страстности—не всегда могла стоять на высотѣ умственной зрѣлости, разумной осмотрительности и культурной невозмутимой терпимости. Партійная полемика и подчасъ личные счеты врывались бурнымъ потокомъ въ вопросы общаго значенія и содержанія. Но именно эта стре-

мительность и запальчивость свидѣтельствовали о богатомъ запасѣ силъ и убѣжденій у борцовъ. Очевидно, людямъ было изъ за чего любить и ненавидѣть, было что-то, далеко не всѣмъ поколѣніямъ и временамъ понятное и доступное, что до сихъ поръ живетъ и горитъ на страницахъ старыхъ журналовъ и способно при случаѣ захватить даже современнаго читателя—все равно, какимъ, но глубокимъ чувствомъ...

Писемскій не могъ, конечно, миновать общей участи, и на первыхъ порахъ превратился прямо въ публициста: въ декабрѣ 1861 года, въ *Библіотекѣ для Чтенія* появился фельетонъ Никиты Безрылаго, а два года спустя въ *Русскомъ Вѣстникѣ* было напечатано *Взбаламученное море*. Фельетонъ и романъ—отвѣты прославленнаго писателя на злобы дня. А этими злобами были ни болѣе, ни менѣе, какъ уничтоженіе крѣпостного права, мечта русской интеллигеціи о распространеніи просвѣщенія среди освобожденнаго народа, городское и земское самоуправленіе, безцензурная печать и все объединяющая и увѣнчивающая идея общественной самодѣятельности на всѣхъ поприщахъ обновленной жизни.

Это—второй, очень краткій, но необычайно рѣшительный періодъ и въ личной, и въ литературной судьбѣ Писемскаго.

Послѣ *Взбаламученнаго моря* дѣятельность нашего автора продолжалась еще около семнадцати лѣтъ. Послѣднее произведеніе *Масоны* начато въ 1878 году и напечатано въ журналѣ *Огонекъ* за 1880 годъ. Эти годы не менѣе урожайны, чѣмъ ранняя, молодая эпоха таланта Писемскаго. Предъ нами семь пьесъ и четыре романа: изъ нихъ *Люди сороковыхъ годовъ* и *Масоны* по объему обширнѣйшія работы автора. Но урожай этотъ, очевидно, выросталъ на не совсѣмъ доброкачественной нивѣ. Романомъ *Взбаламученное море* Писемскій порвалъ связи съ передовой петербургской журналистикой и поступилъ въ сотрудники и даже въ завѣдующіе беллетристическимъ отдѣломъ *Русскаго Вѣстника*. Но и этотъ журналъ не особенно благосклонно удѣлялъ свои страницы произведеніямъ Писемскаго, напечаталъ всего двѣ пьесы—*Ваалъ* и *Просвѣщенное время*, и ни одного романа, въ 1876 году отказался и отъ пьесы *Финансовый геній*. Бывшему необычайно уважаемому сотруднику *Современника* и *Отечественныхъ Записокъ*, редактору *Библіотеки для Чтенія* въ теченіе пяти отвѣтственныхъ лѣтъ, съ 1858-го по 1863-й годъ, — теперь оставалось довольствоваться иллюстрированными журналами и новыми изданіями, терпѣвшими нужду въ именахъ.

Ясно, автору приходилось писать не для славы, и даже не для идей, требовавшихъ настоятельно публичнаго провозглашенія и выясненія, а просто изъ-за гонорара и отчасти по старой писательской привычкѣ. Талантъ, разумѣется, окончательно не исчезъ и въ темный періодъ непопулярности, и по временамъ ярко освѣщалъ не одну страницу въ томъ или другомъ произведеніи Писемскаго. Но животворящій духъ будто отлетѣлъ отъ писателя. Душевная горечь и творческая усталость заволакивали какимъ-то смутнымъ сѣрымъ цвѣтомъ рѣдкіе проблески былой нравственной самоувѣренности и вдохновенной силы. И въ послѣднемъ романѣ *Масоны* механическій, промышленный характеръ писанія сказался вполнѣ. Авторъ, за отсутствіемъ жизненныхъ красокъ и психологическаго анализа, принужденъ наполнять десятки страницъ утомительнѣйшимъ и совершенно безцѣльнымъ изложеніемъ масонскихъ философическихъ и обрядовыхъ вымысловъ...

Таковъ конецъ такого блестящаго начала!

Но для насъ любопытенъ не эффектъ контрастовъ, а смыслъ исторіи. И мы надѣемся его прослѣдить по несомнѣннымъ даннымъ, привести въ стройную связь всѣ звенья обширной цѣпи.

Наша задача облегчается извѣстной намъ психологіей Писемскаго, а планъ изслѣдованія намѣчается самыми условіями его дѣятельности.

Писемскій началъ писать въ провинціи и описывать провинціальную Россію. *Нина* появилась въ печати, когда революціонныя движенія Европы отразились страхомъ и ужасомъ въ Россіи и для литературы насталъ «страшный годъ», по выраженію самого Писемскаго. Старые исконные порядки получили теперь особое, въ полномъ смыслѣ неприкосновенное значеніе. Крѣпостное право и невозбранная всеобъемлющая чиновничья опека казались болѣе обезпеченными, чѣмъ когда-либо. Въ печати водворилось молчаніе, тѣмъ болѣе удручающее, что оно наступило непосредственно послѣ шумной литературы сороковыхъ годовъ и страстныхъ статей Бѣлинскаго. Томительный промежутокъ до новаго оживленія мысли долженъ продолжаться до половины пятидесятыхъ годовъ. На это именно время и падаютъ первыя произведенія Писемскаго.

Холодъ, сковавшій интеллигентныя силы столицы, конечно, еще суровѣе отразился на провинціи. И раньше здѣсь лишь изрѣдка мелькали проблески сознательной жизни и общихъ культурныхъ интересовъ. Въ романѣ *Люди сороковыхъ годовъ* являются только два человѣка въ «пошловатомъ провинціальномъ міркѣ» «предста-

вителями маленькаго ручейка мысли». И это было, когда еще писалъ Бѣлинскій и существовало кое-какое публичное слово съ общественнымъ содержаніемъ. Во что же превратился «провинціальный мірокъ», когда самые источники ручейковъ изсякали и замирали безгласно? Царила «тишь да гладь» болота, подернутаго плотной плѣсенью и задавленнаго мертвенной атмосферой...

Но здѣсь не было «Божьей благодати», и чуткому взору художника на видимой тиши и глади являлась необычайно пестрая, хотя и пригнетенная худосочная жизнь, а среди, повидимому, одноцвѣтнаго болотнаго населенія наблюдатель ясно различалъ великое разнообразіе организмовъ, бытовыхъ особенностей, даже психологическихъ оригинальныхъ чертъ, распознавалъ и въ этомъ мертвомъ царствѣ вездѣсущую борьбу сильныхъ и слабыхъ и могъ слѣдить за любопытнѣйшими положеніями побѣдителей и побѣждаемыхъ, героевъ и жертвъ.

Онъ видѣлъ, прежде всего, «царей» дореформеннаго провинціальнаго болота, множество начальства, чиновъ, ранговъ, вооруженныхъ часто безконтрольной и безсудной властью. Она свободно «разыгрывалась до послѣдней прелести», какъ выражается нашъ романистъ, не встрѣчая отпора у общества, апатичнаго, поглощеннаго мелкими, частными интересами, и не придавая ни малѣйшаго значенія еще болѣе глубокимъ опорамъ своего величія, порабощенному народу. Бюрократія — первое, что привлекло все вниманіе Писемскаго, лично чиновника, усерднаго исполнителя своихъ обязанностей и одушевленнаго извѣстнымъ бюрократическимъ идеаломъ. И онъ представилъ одну изъ самыхъ полныхъ и яркихъ характеристикъ стараго оффиціальнаго міра, какая только могла быть доступна художественному творчеству.

Затѣмъ слѣдовало—общество. При всей мелочности внѣшняго существованія и ничтожествѣ нравственныхъ и умственныхъ запросовъ, художникъ могъ и здѣсь усмотрѣть не мало яркихъ пятенъ, своего рода центровъ болотной суеты. Это — мѣстные аристократическіе мірки, сіявшіе тусклымъ, часто фальшивымъ свѣтомъ, но привлекавшіе къ себѣ неотразимо рои мѣстныхъ мошекъ. Въ самыхъ центрахъ выдавались надъ общимъ уровнемъ рѣдкостные экземпляры разныхъ породъ, невѣдомыхъ въ провинціальныхъ захолустьяхъ и тѣмъ болѣе любопытныхъ, гипнотизирующихъ первобытную публику.

Это—«столичные слетки», сливки крѣпостного барства, нахватавшіеся цѣною шальныхъ денегъ «европейскаго просвѣщенія»,

продѣлавшіе всѣ фигуры моднаго благороднаго маскарада: безумный разгулъ и мотовство, картежная игра и забіячество, наконецъ, финансовое, нравственное и часто физическое банкротство, именуемое «познаніемъ жизни», «разочарованіемъ», «неудовлетворенностью высшей натуры». Это—одинъ типъ, на грязи уѣздныхъ и губернскихъ переулковъ производящій эффектъ золота,—типъ фатальный и непреодолимо-губительный для читательницъ романовъ Ричардсона, Руссо, Марлинскаго, «пища роковая» для томныхъ дѣвичьихъ и дамскихъ сердецъ. Это — птенцы байроновскаго гнѣзда, часто копіи съ копій, въ полномъ смыслѣ «ничтожные призраки» и не болѣе, какъ «чужихъ причудъ истолкованье»... Но среди лиллипутовъ даже человѣкъ ниже средняго роста играетъ роль гиганта.

Другой типъ — не столь блестящій, менѣе распространенный, потому что менѣе пошлый и назойливый,—тоже порожденіе «чужихъ словъ», тоже москвичъ въ иноземномъ плащѣ, но только другого фасона. Тамъ на сценѣ—наука страсти нѣжной подъ покровомъ жестокаго равнодушія и презрѣнія ко всему существующему, здѣсь—тѣ же доблестные умыслы на женское «воображеніе, сгорающее нѣгой и тоской» и на «младую грудь, тѣснимую сердечнымъ томленіемъ», но въ уборѣ уже не изъ демоническихъ чувствъ, а изъ необозримо выспреннихъ идеаловъ, вмѣсто «огромнаго сердца»—«орлиный умъ». Сущность комедіи не мѣняется, но развитіе дѣйствія, обстановка, особенно чувства и характеры героинь—иныя. Это—дѣтища болѣе возвышеннаго европеизма, «подражанія» болѣе отвѣтственныя и часто трагическія въ то время, когда исторія перваго типа—сплошной фарсъ и умственно-ограниченное шутовство. Однимъ словомъ, это Рудины, въ провинціальной перспективѣ окончательно измельчавшіе, но тѣмъ ярче обнаруживающіе жалкія особенности своей натуры.

Наконецъ, на самомъ отдаленномъ планѣ кажущаяся почти неподвижной смутная народная масса. Для властей, общества и самыхъ его избранныхъ героевъ она представляетъ нѣчто одноцвѣтное, однородное, туго или совсѣмъ немыслящее и «безчувственное», олицетворяетъ матерію рядомъ съ парящими надъ нею высшими существами. Врядъ ли кому приходитъ на умъ вглядѣться въ многомилліонный муравейникъ и извлечь отсюда поучительный фактъ или не совсѣмъ заурядную личность. Только все того же художника, наблюдателя по инстинкту и психолога по данному природой таланту, влечетъ даже и этотъ будто застывшій безличный фонъ разныхъ оффиціальныхъ и общественныхъ сценъ и картинъ.

Даже здѣсь художникъ найдетъ необычайно яркія явленія и откроетъ невѣдомую на «просвѣщенномъ верху» оригинальность и силу русской стихіи. Онъ достигнетъ еще болѣе изумительныхъ результатовъ: въ сѣрой, смутной массѣ выслѣдитъ опредѣленный духовный складъ и вѣками выросшее и выстраданное міросозерцаніе...

Тогда творческое изображеніе дореформенной Россіи представитъ настоящую подлинную исторію. Писемскій выполнитъ эту задачу съ безпримѣрной въ нашей литературѣ полнотой матеріала и личныхъ наблюденій, и съ талантомъ, часто достигающимъ силы и правды первостепенныхъ художниковъ русскаго слова. Именно силы и правды... Потому что рѣдко въ художникѣ можно встрѣтить такую проницательность взгляда, такую ясность положительнаго здраваго смысла и такую безпощадность нравственнаго чувства. Встрѣтить, снова повторяемъ, тамъ, гдѣ передъ художникомъ отрицательныя явленія *будничной*, не *идейной* жизни, гдѣ предъ нимъ нарушенія общихъ законовъ справедливости, практической мудрости, общечеловѣческой гуманности, а не заблужденія или злоупотребленія въ области идей, теорій, логическихъ выводовъ изъ фактовъ жизни. Здѣсь мы встрѣтимъ подъ перомъ нашего автора все, что угодно, только не исторію, еще менѣе художественное воспроизведеніе дѣйствительности. Настанетъ время и для такой литературы. Но пока передъ писателемъ дореформенное, повидимому, мирно и невозмутимо процвѣтающее царство.

Здѣсь жизнь не мечется и не мѣняется въ неустанномъ волненіи, а представляетъ будто окаменѣвшій пейзажъ, и наблюдатель можетъ, спокойно «вперивъ очи», отыскивать свои перлы. Онъ будетъ заниматься этимъ дѣломъ съ тѣмъ большей охотой, что здѣсь же въ этомъ самомъ заштилѣвшемъ морѣ отыщетъ много перловъ,—одинаково и для своего сатирическаго генія, и для своего сердца, найдетъ неистощимый запасъ пошлости и всяческаго уродства, но соберетъ въ то же время не мало и красоты. Такими, по крайней мѣрѣ, ему будутъ казаться нѣкоторые порядки. И мы, пересматривая великую лѣтопись старыхъ русскихъ золъ, должны будемъ остановиться и на тѣхъ людяхъ и явленіяхъ, какія нашимъ лѣтописцемъ были сочтены за благо. Это тѣмъ настоятельнѣе для насъ, что смыслъ всего, что Писемскій отмѣтитъ своимъ сочувствіемъ, непосредственно рѣшитъ вопросъ о смыслѣ и судьбѣ позднѣйшей, столь роковой для автора, дѣятельности.

XVII.

Одинъ изъ самыхъ излюбленныхъ мотивовъ русской литературы, начиная съ XVII вѣка и кончая сатирой Щедрина—преслѣдованіе всевозможныхъ спеціально-чиновничьихъ доблестей. При самыхъ тяжелыхъ условіяхъ литературной дѣятельности и при скромнѣйшихъ общественныхъ взглядахъ писателей этотъ мотивъ не сходитъ со сцены. Сумароковъ, отрицавшій у мужика «благородныя чувствія» и не допускавшій даже мысли о какой-либо перемѣнѣ въ крѣпостныхъ порядкахъ, становится безпощаднымъ либераломъ въ вопросѣ о «крапивномъ сѣмени». Его современникъ Капнистъ посвящаетъ большую комедію *Ябедѣ*, т. е. взяточничеству, судебной волокитѣ, канцелярскому криводушію, и недостатокъ художественнаго таланта возмѣщаетъ необычайной искренностью и жизненной правдой своихъ нападокъ. Писателямъ слѣдующаго столѣтія приходится только продолжать дѣло своихъ предшественниковъ, и гоголевскій *Ревизоръ*—та же *Ябеда*, только во всемъ блескѣ геніальнаго творческаго дарованія.

Очевидно, предъ Писемскимъ, въ наблюденіяхъ за провинціальнымъ бюрократическимъ міромъ, лежалъ давно проторенный путь, и любопытно, что онъ самъ знаетъ и помнитъ своихъ отдаленнѣйшихъ образцовъ. Въ романѣ *Взбаламученное море* изображается пиршество губернскихъ властей у откупщика. Герой романа—самъ чиновникъ—смотритъ съ ужасомъ и отвращеніемъ на позорное зрѣлище. «У Бакланова морозъ пробѣжалъ по кожѣ: ему представилось, что онъ и всѣ прочіе господа тѣ же лица, какъ и въ *Ябедѣ* Капниста, которыя, ограбивъ неправеднымъ судомъ бѣдняка, у богатаго его противника пьютъ, ѣдятъ, поютъ и торжествуютъ свое поганое дѣло»...

И дѣйствительно, по всѣмъ произведеніямъ Писемскаго проходятъ рѣзкіе отголоски уничтожающей характеристики старыхъ судей и законниковъ, какую сатирикъ прошлаго вѣка представилъ въ первомъ же актѣ своей комедіи. Но не велика была бы заслуга новаго писателя, если бы онъ не вышелъ изъ круга давно затронутыхъ темъ и обрисованныхъ лицъ. Писемскій далеко опередилъ *всѣхъ* своихъ предшественниковъ, не исключая и Гоголя. Если соперничать по таланту съ творцомъ *Ревизора* даже для Писемскаго задача могла бы оказаться довольно рискованной, — по широтѣ общественнаго захвата и глубинѣ художественнаго проникновенія въ явленія извѣстнаго порядка Писемскій стоитъ, несом-

нѣнно, выше своего любимаго учителя. Предъ нами не только самая полная *исторія* жестокаго недуга русской жизни, но и основательнѣйшая *психологія* его, воспроизведенная въ живыхъ образахъ, шагъ за шагомъ. Мы видимъ не только *что̀ такое* чиновникъ и власть при дореформенномъ строѣ, но и *какъ развивалась* нравственно, изъ какого *первоисточника* возникла подобная власть. И что особенно важно и убѣдительно, этотъ процессъ раскрывается предъ читателемъ не путемъ однихъ внѣшнихъ фактовъ, писатель вводитъ насъ, такъ сказать, въ самую лабораторію, постепенно и неотразимо вырабатывавшую именно такіе, а не иные типы. И процессъ производитъ на насъ тѣмъ сильнѣйшее впечатлѣніе, что за каждымъ моментомъ мы чувствуемъ *личную* освѣдомленность автора. Здѣсь нѣтъ ни одной теоретически соображенной черты, ни одного на угадъ сдѣланнаго штриха, пишутся, въ сущности, *мемуары*, воспроизводится *правда* въ самомъ строгомъ смыслѣ, и *поэзія* ограничивается лишь необычайной живостью и цѣльностью красокъ. У читателя ни на минуту не можетъ явиться мысль о преднамѣренности авторскихъ настроеній и живописаній. Самый тонъ слишкомъ спокоенъ, какъ бы безучастенъ и только изрѣдка прерывается невольнымъ и совершенно естественнымъ движеніемъ личнаго чувства—негодованія на торжествующую «кривду» и состраданія къ ея жертвамъ. И даже эти движенія никогда не переходятъ въ крикъ страсти и гнѣва, остаются чаще всего на мудромъ уровнѣ крыловскихъ нравоученій.

Когда въ первый разъ на сценѣ появился гоголевскій *Ревизоръ*, большинство публики оказалось озадаченнымъ не столько смѣлостью произведенія, сколько по истинѣ страшнымъ содержаніемъ... Возможна-ли такая бездна неправды, такая безнадежная утрата совѣсти и человѣческаго достоинства? Гдѣ мыслимъ цѣлый городъ, сплошь населенный грабителями и насильниками и въ то же время блюстителями закона и порядка? Авторъ наклеветалъ на свою родину или поддался личному желчному чувству!

Такія вопросы и заключенія сыпались со всѣхъ сторонъ, быстро довели автора до полнаго отчаянія и заставили его буквально бѣжать изъ отечества. Но публика, съ своей стороны, была не безусловно виновата. Ей показали необычайно мрачную картину, настоящую шайку оффиціальныхъ преступниковъ, но это, въ сущности, только *плоды* извѣстной почвы, послѣднія звенья длинной и сложной цѣпи. Вотъ этой-то почвы и этой цѣпи великій сатирикъ не открылъ зрителямъ и не убѣдилъ въ *неотразимой естествен-*

ности изображенныхъ явленій—тѣхъ, кто не хотѣлъ или не могъ примириться съ его созданіемъ.

Писемскому предстояло восполнить въ высшей степени важный пробѣлъ и задача ему подсказана не отвлеченными соображеніями, а личной судьбой, его собственной чиновничьей карьерой.

Чтобы цѣлую жизнь, съ юныхъ лѣтъ, превратить въ погоню за грубѣйшими удовольствіями тщеславія и комфорта, чтобы нравственное существованіе свести къ тоскѣ о награжденіяхъ и чинахъ, а службу къ «безгрѣшнымъ доходамъ» и умышленному беззаконію, требуется особый складъ ума и сердца, нарочитая выработка всего нравственнаго міра. И это тѣмъ необходимѣе, что явленіе отнюдь не носитъ характера случайности, исключительности. Оно до такой степени всеобъемлюще, что въ исторіи русскаго сатирика о чиновничьемъ мірѣ возможенъ одинъ лишь честный герой—авторскій смѣхъ и авторское возмущенное чувство.

Откуда же такое эпидемическое и притомъ необычайно устойчивое бѣдствіе? Отвѣтъ Писемскаго самый обстоятельный, подробный. Писатель объяснитъ намъ, какую школу проходитъ будущій чиновникъ, въ дѣтствѣ и ранней молодости, какимъ взглядамъ подвергается въ началѣ службы, какъ составляется его карьера и чѣмъ, наконецъ, завершается его нравственный и служебный путь.

Мы застаемъ нашего героя—въ разсказѣ *Старческій грѣхъ*—на шестнадцатомъ году жизни. Онъ, конечно, сынъ такого же чиновника, какимъ будетъ самъ. Отецъ не дослужился до большихъ чиновъ, съ «просителями» привыкъ къ безпробудному пьянству, съ начальствомъ къ подлѣйшимъ униженіямъ. Сынъ едва убѣдилъ отца отдать его въ школу уже въ шестнадцать лѣтъ. У столь возрастнаго ученика нѣтъ приличнаго платья, и первыя его впечатлѣнія—жестокая сцена съ директоромъ изъ-за слишкомъ пестраго костюма, первые плоды педагогіи — слезы, «противъ воли» обливающія его лицо, первыя привѣтствія учителей и товарищей — *разношерстный* и *луковникъ*, такъ какъ у бѣдняка нѣтъ другого завтрака, кромѣ хлѣба съ лукомъ. А дальше—дикія фантазіи воспитателей, — за нихъ воспитанники расплачиваются розгами и самыми настоящими физическими и нравственными истязаніями, безконечная пытка заушеній человѣческаго достоинства въ лицѣ слабѣйшаго, т. е. бѣднѣйшаго, полное отсутствіе умственныхъ вліяній и гуманныхъ воздѣйствій на мысль и сердце учащихся, совершенная случайность и, съ точки зрѣнія казенной педагогіи, преступность знакомства съ лучшими писате-

лями своей родины. Нашъ герой только отъ товарища узнаетъ о существованіи Пушкина и безсознательно, по дѣтски съ перваго мгновенія отдается чарующей власти его поэзіи. И это въ годы цвѣтущей мужественной юности!

И съ другими товарищами не лучше. Благородныя органическія стремленія здоровой молодости ко всему возвышенному и нравственно-сильному, страстное преклоненіе предъ тѣмъ же Пушкинымъ, принимаетъ хотя и трогательныя, но странныя и подчасъ прискорбныя формы. И вполнѣ естественно. Эту молодежь никто не считаетъ нужнымъ узнать близко, по человѣчески, войти въ ея чуткій, подвижный міръ, отыскать здѣсь положительные задатки лучшаго будущаго, любовно дать имъ развиться и созрѣть и тѣмъ самымъ предотвратить болѣзненные побѣги, неизбѣжные на самой плодородной почвѣ рядомъ съ драгоцѣннѣйшими злаками. И вотъ въ изображенной предъ нами школѣ, десятки, сотни юношей годъ за годомъ впитываютъ въ себя сначала страхъ предъ своими наставниками, потомъ недовѣріе и, наконецъ, непреодолимое презрѣніе. Лучшими, умственно и нравственно, оказываются тѣ, кто сильнѣе другихъ проникнутъ этими чувствами, кто менѣе поддался гнету казенной формальной дисциплины, и какой-нибудь Охоботовъ, отчаяннѣйшій лѣнтяй въ наукахъ, является восторженнѣйшимъ читателемъ Пушкина, знатокомъ литературы и честнѣйшимъ товарищемъ. Что́ же получается въ результатѣ, когда подобная школа пройдена и предъ юношей непосредственно за ея стѣнами открывается путь самостоятельной дѣятельности?

Отвѣтъ одинъ—непроницаемая смута мыслей, влеченій и, слѣдовательно, совершенная неустойчивость самыхъ искреннихъ взглядовъ и самыхъ благородныхъ намѣреній.

О нашемъ героѣ читаемъ:

«Кончивши курсъ, такимъ образомъ, онъ очутился какъ бы на какомъ-то нравственномъ распутьи: въ немъ было множество возбуждено прекрасныхъ инстинктовъ, но и только! Протестантъ почти противъ всего, но во имя какого знамени и самъ того хорошенько не зналъ. Вольнодумецъ, въ отношеніи религіи на словахъ, онъ въ то же время предъ каждымъ экзаменомъ бѣгалъ къ мѣстной чудотворной иконѣ въ соборъ и молился тамъ усерднѣйшимъ образомъ. Ненавидя до глубины души всякій начальствующій авторитетъ, я не знаю, врядъ ли бы и самъ удержался, если бы только случай выпалъ, обнаружить грубѣйшій произволъ. Зналъ

онъ, пожалуй, и многое, но все какъ-то отрывочно, случайно, и непригодно ни для какого практическаго дѣла, а между тѣмъ угрожающее ему житейское положеніе было почти отчаянное»...

И это не мелодрама, а самое заурядное, повседневное явленіе. Школа выбросила изъ себя новаго члена общества столь же равнодушно, какъ и приняла его въ свои нѣдра мальчикомъ, вела его по своимъ мытарствамъ—юношей. Она какъ наймитъ и подневольный стражъ выполняла свои на самомъ дѣлѣ важнѣйшія въ мірѣ обязанности съ тоскливымъ формализмомъ и съ капризными взрывами злобнаго чувства, накипающаго у всякаго непризваннаго дѣлателя. Но этого мало. Формализмъ и злоба могли съ годами проникнуть и въ душу юноши, заразить его раннимъ скептицизмомъ и «холодомъ сердечнымъ», наполнить его сердце единственнымъ, вполнѣ естественнымъ стремленіемъ—спастись во что бы то ни стало отъ рабскихъ униженій, самому стать въ положеніе господина и сильнаго. А какъ достигнуть этой цѣли? Развѣ можно разсуждать и выбирать, когда ежеминутно виситъ надъ человѣкомъ угроза быть оскорбленнымъ, опозореннымъ и уничтоженнымъ за отцовскую бѣдность, за плохой костюмъ, за мѣщанскія манеры, за плебейское происхожденіе, а нашему герою даже за «студенческій мундиръ», т. е. за «ученость» и предполагаемый «безпокойный характеръ» и «острый умъ»? Здѣсь принципъ: «спасайся кто можетъ», и его примѣнить на практикѣ тѣмъ легче, что въ самые отвѣтственные молодые годы не было заложено въ будущаго «борца» ни одной опредѣленной идеи объ его обязанностяхъ предъ самимъ собою и обществомъ. И съ первыхъ же шаговъ между школой и жизнью, между «ученостью» и «кускомъ хлѣба» едва проходимая пропасть.

XVIII.

«Учиться для жизни»—какая простая и вотъ уже почти двадцать вѣковъ, по крайней мѣрѣ, со временъ римскихъ стоиковъ, извѣстная истина, а между тѣмъ, она—величайшая ересь и отнюдь недопустимое новшество въ томъ мірѣ, гдѣ приходится учиться и дѣйствовать нашему будущему дѣятелю и, при счастливыхъ стеченіяхъ, «государственному мужу».

Только что кончившій студентъ, даже съ медалью, несомнѣнно умный, талантливый и готовый трудиться до пота лица уже потому, что у него нѣтъ «почти куска хлѣба», совершенно нигдѣ

и ни на что не нуженъ. Губернаторъ рѣшительно не знаетъ, какое мѣсто онъ можетъ дать молодому человѣку «въ студенческомъ мундирѣ», только медаль его вдохновляетъ—опредѣлить «ученаго» въ приказъ—писцомъ. Это значитъ осудить юношу на новый крестный путь, не менѣе тернистый, чѣмъ только-что пройденная школа. Здѣсь столько же начальства, еще болѣе заинтересованнаго въ своей «власти» и въ безпросвѣтно-мертвенныхъ «формахъ», еще чаще личныя униженія: къ «власти» и формализму присоединяется еще проклятый вопросъ о кускѣ хлѣба. Слѣдовательно, конкурренція среди слабѣйшихъ, подчиненныхъ, и конкурренція оружіемъ слабѣйшихъ, т. е. на поприщѣ тѣхъ же самоуниженій, «исполнительности» и «преданности».

А потомъ, и самыя обязанности писца, по существу, менѣе всего просты и исполнимы. Канцелярія — неистощимое царство «формъ», «обычаевъ», часто свойственныхъ исключительно только этой, а не другой канцеляріи. Усвоить ихъ—цѣлая наука, стоющая университетскаго курса и ничего общаго съ нимъ не имѣющая. А ближайшими учителями являются, большею частью, люди, едва сами выбившіеся изъ низшихъ слоевъ канцелярскаго міра, всѣмъ существомъ впитавшіе инстинкты раболѣпія и требующіе ихъ отъ другихъ тѣмъ настоятельнѣе, чѣмъ больше униженій приходилось и приходится имъ самимъ терпѣть. Въ результатѣ,—завязывается глухая, но безпощадная борьба исконнаго чиновничьяго духа со всякимъ свѣжимъ элементомъ, борьба *принципіальная*, въ силу преданій и самыхъ основъ канцелярской дѣятельности, обостряющая вражду между двумя дѣйствительно совершенно различными мірами—образованіемъ, высшимъ умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ и оффиціальной службой.

И перечитайте сердечныя признанія статскаго совѣтника Салатушки, познакомьтесь съ карьерой Вихрова, Бакланова, Калиновича, вы поймете, что значитъ «служить» и, въ особенности, что́ значитъ преуспѣвать на службѣ?

Никто изъ русскихъ писателей, съ такой по истинѣ жестокой правдой, не вскрылъ глубочайшихъ тайниковъ канцелярскаго міра, никто съ такой ослѣпительной яркостью не освѣтилъ душевныхъ опустошеній, совершающихся день за днемъ въ каждой новой жертвѣ. Это картина рыбы, выброшенной на берегъ. Она въ первыя минуты рвется и трепещетъ, потомъ движенія становятся медленнѣе и порывистѣе, наконецъ, всякіе порывы исчезаютъ, самый трепетъ прекращается—и предъ вами трупъ, готовый пре-

даться гніенію и разложенію. Вотъ такой же процессъ совершается съ душой самаго энергичнаго и благороднаго человѣка, если его въ теченіе многихъ лѣтъ подвергнуть воздѣйствію извѣстной среды.

Предъ нами одна изъ трогательнѣйшихъ страницъ, вообще когда-либо написанныхъ нашимъ, далеко не чувствительнымъ художникомъ: очевидно, наболѣвшее личное чувство невольно сообщило рѣчи автора оттѣнокъ необычной мягкости.

«Не знаю, извѣстно ли читателю, что по разнаго рода канцеляріямъ, начиная отъ неблагообразныхъ камеръ земскихъ судовъ до паркетныхъ апартаментовъ министерствъ, въ этихъ плѣшивыхъ, завитыхъ и гладко стриженыхъ головахъ, такъ прилежно наклоненныхъ надъ черными и красными столами, засохло и погребено романтизму и всякаго рода иныхъ возвышенныхъ стремленій никакъ не менѣе, чѣмъ и въ воинственныхъ строяхъ, такъ ярко блистающихъ на Марсовомъ полѣ. Какъ и что происходитъ тамъ съ этими нѣжными растеніями нашей души, я не знаю, но канцелярскій воздухъ, положительно можно сказать, неблагопріятенъ для нихъ. Изъ сотни товарищей Іосафа, нѣкогда благородныхъ и умныхъ малыхъ, садившихся до и послѣ него на подобный ему стулъ, очень немногіе прошли благополучно этотъ житейскій искусъ»...

Писемскій высказываетъ истину, извѣстную еще автору *Ябеды*. Тамъ, одинъ изъ героевъ говорилъ другому:

Послушай: окрещенъ кто ужъ въ чернилахъ разъ,
Тотъ чернъ останется, хоть мой во Іорданѣ...

Но у новаго автора фактъ поясняется многочисленными и многообразными типами, разъ навсегда «окрещенными въ чернилахъ». Однѣ изъ жертвъ, медленно задушенныхъ «пустою безполезной работой», умираютъ въ нищенскихъ углахъ; это, сравнительно, счастливцы; другіе, въ родѣ отца нашего героя, спиваются и погибаютъ на улицѣ или пропадаютъ безъ вѣсти. Наконецъ, третьи, по словамъ автора, большинство—выплываютъ на поверхность, но путемъ какихъ нравственныхъ утратъ и лишеній?..

«Третьи—благоразумно подлѣли: въ какой-нибудь годъ отростили себѣ брюшко, женились на дочеряхъ какихъ-нибудь совсѣмъ уже отпѣтыхъ экзекуторовъ и надсмотрщиковъ гражданскихъ палатъ, и сами потомъ дѣлались такими же скрозьземельными, какъ говоритъ народъ, плутами. Иные изъ нихъ уѣзжали даже въ Петербургъ, дослуживать тамъ до довольно видныхъ мѣстъ; но печать позорнаго опошлѣнія все-таки горѣла на ихъ челѣ».

Мишка превосходно знаетъ всѣ петербургскіе ходы и выходы, запросто бесѣдуетъ съ важнѣйшими лицами, узнаетъ отъ нихъ административныя тайны и планы и такъ обобщаетъ свои наблюденія и свѣдѣнія на счетъ «питерскихъ»:

«Дерутъ съ нашей братьи еще почище здѣшнихъ».

Провинціальнымъ чиновникамъ, пріятелямъ, на вопросъ о странныхъ успѣхахъ Калиновича онъ прямо заявляетъ:

«Богъ вѣдь знаетъ, господа, какъ и прочто у васъ человѣка возвышаютъ. Больше всего, чай, надо полагать, что письмами отъ Хованскаго онъ очень хорошую себѣ рекомендацію дѣлаетъ».

Съ Мишкой согласенъ и еще одинъ, не менѣе ядовитый плутъ, но изъ другого «высшаго свѣта», князь Иванъ. Попавъ въ тюрьму, онъ убѣждаетъ свою бывшую возлюбленную—написать въ Петербургъ, что она «готова половиной состоянія пожертвовать для спасенія» его князя: «вѣдь Петербургъ не любитъ ни о чемъ даромъ безпокоиться!»...

Но неужели, спросите вы, всюду и всѣ непремѣнно берутъ деньги, хотя бы даже и съ такой граціей, какъ это дѣлаетъ баронесса? Несомнѣнно, есть чиновники, особенно высшіе, слишкомъ брезгливые просто по натурѣ и достаточно обезпеченные по состоянію:—по крайней мѣрѣ, они безупречны?

Отнюдь нѣтъ,—отвѣчаетъ нашъ лѣтописецъ дореформенной Россіи. Мы уже слышали отъ захолустнаго «скрозьземельнаго» философа: «взятокъ на многіе фасоны много», и философъ примѣрно обозначилъ нѣкоторые фасоны: «балы да обѣды съ шампанскимъ», «жена—женщина молодая да умная»—всѣ эти вещи неотразимы для молодыхъ чиновниковъ, враговъ денежныхъ взятокъ, и авторъ въ другой разъ уже отъ себя прибавляетъ: «По многимъ опытамъ было дознано, что отъ денегъ нѣкоторые помоложе чиновники еще спасались, но отъ тонкихъ обѣдовъ—никто!..»

Но «жены» едва ли не гибельнѣе даже обѣдовъ для чиновничьей служебной нравственности. Вы помните, гоголевскія нападки на женъ, весьма часто, по мнѣнію автора *Мертвыхъ душъ*, виноватыхъ во взяточничествѣ мужей? У Писемскаго найдется не мало фактовъ для подтвержденія и этой истины изъ области недавняго прошлаго. Но гораздо сильнѣе захватывалъ нашего автора вопросъ о вліяніи женщины на высшую политику дореформенной администраціи. Здѣсь Писемскій неистощимъ въ примѣрахъ и личныхъ указаніяхъ.

Мы уже знаемъ необычайно изящную баронессу, съумѣвшую

устроить изъ своей квартиры «совершенный рай» безъ всякихъ затратъ со стороны мужа. Потомъ намъ разскажутъ исторію цѣлыхъ двухъ «вѣдомствъ», ведущихъ междоусобную брань изъ-за того, что глава одного вѣдомства не далъ у себя мѣста отцу возлюбленной другого сановника. А отецъ однажды уже былъ отставленъ за растрату... Послѣ этого понятна жестокая тоска статскаго совѣтника Салатушки.

Онъ обязанъ бывать въ итальянской оперѣ исключительно ради женъ начальниковъ: тѣ восхищаются музыкой и пѣніемъ,— нельзя же имъ не сочувствовать! Такъ пролагается путь къ «дѣйствительному статскому», когда только по мнѣнію Салатушки, и можно ощущать «полное самоуваженіе».

Таковы герои и сцены въ *столицѣ*. Легко представить какъ рисуется у Писемскаго *провинція*, гдѣ онъ самъ усиливался преуспѣвать по службѣ и, по собственному его признанію, принужденъ былъ стараться производить на начальника впечатлѣніе умницы—въ чиновничьемъ смыслѣ.

Дореформенный чиновничій міръ въ провинціи для Писемскаго— сплошное «темное царство». Если здѣсь и случаются проблески,— лишь затѣмъ чтобы еще сильнѣе оттѣнить общій непроницаемо-мрачный фонъ. Всѣ герои автора, и отрицательные и положительные, и самъ онъ совершенно единодушны, что служить честно и достойно безусловно немыслимо, на всемъ пространствѣ старой Россіи. «Въ нашихъ мѣстахъ служить, такъ мотать себя надо молодому человѣку», говоритъ провинціальный чиновникъ. Еще энергичнѣе выражается Вихровъ, такъ какъ у него совѣсть болѣе чуткая и смыслъ болѣе развитой, чѣмъ у закоренѣлаго повытчика. Его письмо къ кузинѣ послѣ первыхъ опытовъ на поприщѣ губернской службы дышетъ отчаяніемъ.

«Знаете ли вы, что, можетъ быть, нѣтъ болѣе трагическаго положенія, какъ положеніе человѣка, который бы у насъ въ Россіи вздумалъ честно служить. Трудно вообразить себѣ, до какой деморализаціи дошло у насъ такъ-называемое чиновничество. На цѣлый губернскій городъ выищется не болѣе двухъ, трехъ сносно-честныхъ людей, за которыхъ, вѣроятно, Богъ и терпитъ сей градъ на землѣ, но которыхъ, тѣмъ не менѣе, все-таки съѣдятъ и выживутъ. Я только еще успѣлъ немножко почестнѣй пошевелиться въ этомъ омутѣ всевозможныхъ гадостей и мерзостей, какъ на меня сейчасъ же пошли доносы и извѣты».

Даже больше. Въ первый же день Вихрова довели до исте-

рическаго припадка и до слезъ. А крѣпкій, кажется, и самолюбивый человѣкъ!

И для иллюстраціи этихъ мыслей и настроеній авторъ выводитъ великое множество властителей провинціальныхъ захолустій, всегда въ одномъ и томъ же опредѣленномъ свѣтѣ.

Во главѣ идутъ губернаторы. Мы знаемъ ихъ карьеры,— можно представить, какъ воспользуется оффиціальной силой человѣкъ, попавшій въ люди за свой ростъ и канцелярскій навыкъ!

Неизмѣнно при каждомъ изъ подобныхъ героевъ состоитъ дама; она такъ и слыветъ въ губерніи «дама сердца губернаторскаго» и все населеніе повседневно произноситъ ея имя съ разными приставками, знаменующими ея неограниченное вліяніе вездѣ и на все: «для госпожи Пиколовой», «за г-жу Пиколову», или «для m-me Базелейнъ», «отъ m-me Базелейнъ», или «съ г-жей Марковой», «ради г-жи Марковой». И такъ безъ конца. Перемѣщаются чиновники, совсѣмъ выгоняются изъ службы, покрываются вопіющія злоупотребленія, почти разбои, воздвигаются гоненія на обывателей, въ угоду г-жамъ Пиколовымъ и ихъ родственникамъ. Авторъ будто устаетъ писать невѣроятную эпопею и заставляетъ своего героя пуститься даже въ область исторіи съ цѣлью отыскать подобные примѣры управленія.

И Вихровъ находитъ единственный: поступки татаръ въ золотой ордѣ съ русскими: потому что, объясняетъ онъ, «съ такимъ безстыдствомъ поступать въ общественной дѣятельности можно только въ азіятскихъ государствахъ».

И снова предъ нимъ возстаетъ безнадежная судьба юноши «съ волей, съ характеромъ, съ страшнымъ честолюбіемъ», который рѣшился бы честно служить...

Но вѣдь не чиновники же наполняютъ все громадное государство, они лишь ничтожная горсть; существуетъ повсюду общество, Россія живетъ въ половинѣ XIX-го вѣка, причисляется къ странамъ культурнымъ, въ губерніяхъ и даже уѣздахъ процвѣтаютъ художественныя увеселенія, — тотъ же рыцарь г-жи Пиколовой устраиваетъ спектакли, находитъ исполнителей для *Гамлета*, и компетентный судья Вихровъ доволенъ многими изъ нихъ, не только какъ актерами на сценѣ, но и какъ людьми... Что же чувствуетъ все это общество, когда предъ нимъ разыгрываются событія изъ эпохи монгольскаго ига? Вѣдь губернаторъ изъ его же среды бросаетъ жертвъ подъ ноги г-жѣ Пиколовой, наноситъ оскорбленія его же достоинству и самолюбію въ лицѣ отдѣльныхъ единицъ?

Вопросы, въ высшей степени важные. Если бы авторъ не усмотрѣлъ ихъ, его картина казалась бы отрывкомъ, необоснованнымъ навѣтомъ. Но Писемскій чутьемъ художника понялъ самыя основы извѣстныхъ явленій и не пожалѣлъ красокъ для изображенія *почвы* и *среды*. И здѣсь онъ опять полнотой и основательностью изображенія выше своего предшественника. Гоголь бралъ *отдѣльные типы*, не задаваясь мыслью объ *общей перспективѣ*, рисовалъ портреты и жанры, и предоставилъ другимъ отыскивать объединяющій мотивъ своей живописи: Писемскій, уступая Гоголю талантливостью характеристикъ, превзошелъ его содержательностью и размахомъ общественной картины.

XIX.

Одно изъ оффиціальныхъ лицъ дореформенной Россіи писало о своей эпохѣ: «Россія тогда кончалась XIV-мъ классомъ. Ниже этой ступени, кромѣ солдатъ, которые имѣли коллективное, машинное значеніе, и купцовъ, представлявшихъ родъ промышленной прислуги, *ничего* не было—только *скорлупа*, въ которой вмѣщалось четырнадцатигранное зерно» *).

Это впечатлѣніе не совсѣмъ точно. Въ сущности, не ранги давали людямъ рѣшающее значеніе, а матеріальная сила—*сословнаго* или *денежнаго* положенія. Авторъ напрасно купцовъ вообще низвелъ до роли прислуги и не упомянулъ «господъ»,—и тотъ, и другой элементъ стоялъ отнюдь не ниже оффиціальной власти, въ извѣстныхъ случаяхъ даже управлялъ ею. Это совершенно логически слѣдуетъ изъ нравственнаго характера стараго чиновничества. И народъ извѣстной поговоркой: «съ богатымъ не борись, съ сильнымъ не тягайся» вполнѣ вѣрно изобразилъ фактическое положеніе дореформенной власти. Она сама, при всѣхъ своихъ полномочіяхъ, находилась въ услуженіи у *богатаго* и *сильнаго*.

Писемскій съ точностью слѣдуетъ дѣйствительности.

Прежде всего — чиновникъ и мѣстный баринъ... Припомните краснорѣчивѣйшія сцены въ *Боярщинѣ*, гдѣ графъ по собственному усмотрѣнію мѣняетъ распоряженія администраціи и даже дѣлаетъ ей выговоры, въ лицѣ исправника. Но исправникъ лицо, сравнительно, незначительное, хотя и вполнѣ сильное и даже страшное для всѣхъ, кромѣ графа. Подобная исторія и съ губернаторами. Въ разсказѣ *Старая барыня* описываются дикія сумаз-

*) Валуевъ. *Русская Старина*, 1891, XI, 325.

бродства крѣпостницы... Но не только самой «барынѣ» все сходитъ съ рукъ, даже дворня ея можетъ невозбранно безчинствовать, разбивать базары, по очень простой и обычной причинѣ: госпожа со всѣми губернаторами «въ дружелюбіи». Всѣхъ она задариваетъ тысячными подарками, закармливаетъ обѣдами, и живетъ совершенно какъ Соловей-разбойникъ, а ея слуги чувствуютъ себя своего рода казаками эпохи междуцарствія.

Еще позорнѣе рабство власти предъ кулаками и явными мірскими грабителями. Въ романѣ *Тысяча душъ*—вся администрація «въ прислугахъ» у Мишки Папушкина, и онъ даже открыто ведетъ себя «господиномъ». Авторъ характеризуетъ его: «мужикъ скотоватый, только боявшійся чертей и разбойниковъ на дорогѣ' больше никого».

Мало—не боялся, а просто въ глаза какому угодно начальству заявлялъ о своемъ безусловно неограниченномъ могуществѣ. Онъ едва удостоиваетъ вниманіемъ всѣхъ пониже губернатора, и о самомъ губернаторѣ отзывается въ самыхъ оскорбительныхъ намекахъ. Онъ даже не желаетъ просмотрѣть смѣты общественныхъ подрядовъ, составленную для него губернской администраціей: «коли я обсчитанъ, то и вашъ братъ обсчитанъ», говоритъ онъ губернскому архитектору, очевидно, болѣе увѣренный въ его услужливости, чѣмъ въ иномъ своемъ приказчикѣ. Никакія угрозы на него не дѣйствуютъ. Мы знаемъ его положительный взглядъ на «питерскихъ» и чиновничью карьеру вообще. При этомъ взглядѣ нельзя чувствовать и тѣни уваженія къ носителямъ власти, и Папушкинъ дѣйствительно не стѣсняется грозить, чиновникамъ: «Прямо скажу, не имъ сломить Мишку Трофимова, а я ихъ выучу!..» Этотъ крикъ стóитъ барскаго презрѣнія и другихъ, болѣе энергическихъ мѣръ противъ недостаточно угодливыхъ или просто неловкихъ администраторовъ.

И Папушкинъ не одинъ. Авторъ разсказываетъ исторію, какъ губернаторъ и вся губернская администрація объявили человѣка сумасшедшимъ въ угоду родственнику, сдѣлавшему очень хорошую себѣ рекомендацію письмами отъ Хованскаго...

Легко представить, на какой высотѣ при такихъ условіяхъ могъ стоять нравственный и законный авторитетъ власти? Это—сплошное и глубокое дискредитированіе и закона, и его представителей, исчезновеніе у сильныхъ и слабыхъ, у начальствующихъ и подвластныхъ всякаго серьезнаго отношенія даже къ понятіямъ о законности и справедливости. Въ результатѣ—общая деморали-

зація, и она становится тѣмъ яснѣе, чѣмъ извѣстный слой общества ближе къ ея первоисточнику. И авторъ утверждаетъ, что въ провинціи общее правило: тѣсное соприкосновеніе, вообще «дружелюбіе» съ чиновничьимъ міромъ—вѣрнѣйшій признакъ нечистой совѣсти и темныхъ дѣлъ.

Само общество привыкло видѣть во всемъ этомъ нормальный порядокъ вещей. Оно, подобно чиновнику-философу, взятки считаетъ непремѣннымъ спутникомъ человѣческой дѣятельности, не можетъ допустить и мысли, чтобы чиновникъ могъ жить прилично на свой счетъ. Столь же естественна и власть губернаторскихъ дамъ, требующихъ «колѣнопреклоненія». Общество до тонкости, знаетъ мечты, дѣла своихъ властителей, ихъ образъ жизни, ихъ доходы, взаимныя отношенія, тайныя пружины и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдитъ за движеніемъ свѣтилъ на губернаторскомъ горизонтѣ.

Припомните сцены въ театрѣ, когда среди публики появляется Калиновичъ, повидимому, окончательно сломившій своихъ враговъ, побѣдоносный и властный... Сколько раболѣпства, даже совершенно безцѣльнаго,—раболѣпства по инстинкту, по стихійной привычкѣ, сколько добровольныхъ, безкорыстныхъ жертвъ личнымъ достоинствомъ, самолюбіемъ, просто приличіемъ! Еще вчера эта толпа готова была падать ницъ предъ губернаторомъ-взяточникомъ и губернскія дамы составляли свиту его супруги, а сегодня вся публика апплодируетъ по примѣру новаго свѣтила, дамы не сводятъ съ него глазъ и считаютъ нужнымъ немедленно сдѣлать визитъ актрисѣ, удостоившейся вниманія начальника: вѣдь она можетъ стать «дамой сердца»!

И общество отъ начала до конца дѣйствуетъ будто безсознательно, механически. Оно всецѣло во власти *фактовъ*, и ни на минуту не задумывается надъ ихъ смысломъ и содержаніемъ. Оно во мгновеніе ока измѣняетъ развѣнчаннымъ властителямъ и бросается къ стопамъ новыхъ, не отдавая ни малѣйшаго отчета въ относительной *нравственной* цѣнности тѣхъ и другихъ. Надъ этой хотя бы и интеллигентной толпой неотразимо тяготѣетъ опытъ русской народной мудрости: «кто палку взялъ, тотъ и капралъ».—Весь ходъ вещей окончательно отъучилъ русскаго обывателя предъявлять какіе бы то ни было запросы *общаго* характера своему начальству: отвѣты уже получены и разъ навсегда. Въ результатѣ—возмутительнѣйшія беззаконія и честнѣйшія намѣренія имѣютъ въ подобной средѣ одинаковую участь. Честность

даже прямо невыгодна: она можетъ обезпокоить князя Ивана, Мишку Трофимова, «старую барыню», привыкшихъ состоять съ властью въ «дружелюбіи».

И эта косность общества, его рабское низкопоклонство предъ видимой силой и невозмутимое равнодушіе или явное недовѣріе къ благороднымъ стремленіямъ и дѣйствительно государственнымъ задачамъ лучшихъ людей—несравненно болѣе страшное зло, чѣмъ бюрократическій произволъ и чиновничьи кляузы. Калиновичъ безъ особенныхъ усилій низвергъ губернатора, но онъ приходитъ въ полное отчаяніе предъ «общественнымъ мнѣніемъ». Извнѣ предъ нимъ покорная, преданная толпа, но, какъ всѣ рабы, она мститъ болѣе свободному и чистому дѣятелю клеветой и заугольной злобой. Она видитъ только *чиновника* и не хочетъ знать *человѣка*. Она и къ Калиновичу прикидываетъ ту же самую мѣрку, какою измѣряла и измѣряетъ десятки «отъявленныхъ мерзавцевъ»...

Великій, конечно, вопросъ, кто виноватъ въ ослѣпленіи толпы, почему она органически неспособна вдумываться въ явленія и въ людей, почему *всякій* чиновникъ непремѣнно вызываетъ у обывателя *одно и то же* опредѣленное представленіе, и нѣтъ возможности устранить укоренившійся взглядъ никакими словами и поступками... Но каково бы ни было рѣшеніе вопроса, Калиновичу не легко. Припомните его слезныя и въ то же время нестерпимо-желчныя жалобы на свое положеніе среди губернской интеллигенціи. Всѣ труды его разбивались въ прахъ, вся страстная жажда честно и свято послужить обществу не встрѣтила ни малѣйшей признательности, все идеальное безкорыстіе осталось неоцѣненнымъ, незамѣченнымъ, даже личная безупречная нравственность, столь исключительная для губернскаго дореформеннаго властителя, не была поставлена въ счетъ. И въ результатѣ, отчаяніе овладѣваетъ энергичнымъ и на рѣдкость отважнымъ человѣкомъ.

«Какъ сведешь все это въ итогъ,—заканчиваетъ Калиновичъ,—такъ выходитъ далеко не пустяки жить въ обществѣ, въ которомъ такъ еще шатко развито понятіе о чести, о справедливости, жить и дѣйствовать въ такомъ обществѣ далеко не вздоръ».

Это чувство, повидимому, не разъ испытывалъ самъ авторъ. Разсказавъ трагическую исторію несчастнаго идеалиста Ферапонтова, жертвы *старческаго* грѣха,—и торжество завѣдомыхъ негодяевъ подъ покровительствомъ властей, онъ заканчиваетъ разсказъ:

«Мнѣ, признаться, сдѣлалось не на шутку страшно, даже за самого себя... Жить въ такомъ обществѣ, гдѣ Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовскіе людьми правыми и судья въ лицѣ полиціймейстера: чтобы жить въ этомъ обществѣ, какъ хотите, надобно имѣть большой запасъ храбрости».

Да, и даже очень большой, не только дѣятелямъ, а простымъ людямъ, имѣющимъ несчастье сколько-нибудь выдаваться надъ толпой. Основной законъ рабской психологіи — не допускать ничего изъ ряду вонъ, ничего выше общаго уровня. Рабъ охотно примирится съ матеріальнымъ превосходствомъ, богатствомъ и родовитостью, но изольетъ всю злобу опошленной души на недоступныя и по натурѣ ненавистныя ему нравственныя преимущества. Умный, сердечно-чуткій и благородно-гордый человѣкъ въ этой средѣ то же, что́ выставленный на всеобщее позорище мученикъ. Съ нимъ безпрестанно повторяется исторія лермонтовскаго пророка, хотя и въ переносномъ смыслѣ: вмѣсто камней и грязи, въ него бросаютъ клеветой, злорадствомъ, издѣвательствами. Писемскій съ обычной полнотой воспроизвелъ эту психологію интеллигентнаго общества. У него постоянно выступаетъ на сцену общественное мнѣніе, какъ заключительный аккордъ въ жизненной драмѣ отдѣльной личности.

И здѣсь нѣтъ пощады ни полу, ни молодости, ни старости. Вотъ, напримѣръ, завѣдомо несчастная женщина, жена дикаря и деспота, въ конецъ измученная и забитая... Ея жизнь ни для кого не тайна, и не можетъ быть, повидимому, неразрѣшимой загадкой и вопіющимъ преступленіемъ—ея вполнѣ естественное желаніе спастись, наконецъ, изъ ада. Спасеніе ей является въ лицѣ просвѣщеннаго, уже не особенно юнаго и, слѣдовательно, надо думать, не совсѣмъ легкомысленнаго героя. Она жадно кватается за его страстныя рѣчи... Но, на ея горе, краснорѣчивый герой столь же жалокъ и ничтоженъ духомъ, какъ выспрененъ и геніаленъ на словахъ. Мы дальше встрѣтимся съ нимъ... Результатъ извѣстенъ... Счастье бѣдной женщины, что она сходитъ съ ума, скоро умираетъ, не испивъ до послѣдней капли своего позора...

И что́ же?.. Именно въ нее летитъ грязь общественнаго злословія, она виновата и въ каторгѣ своей супружеской жизни, и въ неудачной попыткѣ вздохнуть свободнымъ воздухомъ.

Такова исторія въ *Боярщинѣ*.

То же самое въ не менѣе драматической повѣсти *Виновата ли она?* Дѣвушку выдали замужъ противъ ея воли, какъ жертву

искупленія за долги родителей, т. е по просту выкупили живымъ человѣкомъ долговой документъ. Мужъ оказался грязнымъ, вѣчно пьянымъ животнымъ. Опять истомившееся сердце и полузадушенная грудь ждутъ не дождутся какого бы то ни было облегченія. И чѣмъ напряженнѣе ожиданіе, тѣмъ больше опасности впасть въ жестокую ошибку. Развѣ узникъ, которому обѣщаютъ выпустить на свободу, справляется прежде всего о томъ, какова въ данную минуту погода на волѣ?... И у этой героини рыцаремъ оказывается просто хорошо одѣтый, недурно поющій, граціозно сложенный господинъ: все-таки не пьяный первобытный эгоистъ! Результатъ по прежнему печальный: мужъ, правда, освобождаетъ страдалицу отъ брачныхъ узъ, но вся жизнь передъ ней—юдоль неудовлетворенной тоски, горькаго раскаянія и, въ лучшемъ случаѣ, сѣренькихъ и все также душныхъ будней...

«Общественное мнѣніе» ничего знать не хочетъ, хотя наша героиня и не нарушила супружескаго долга. Она даже виновата въ томъ, что ее заставили выйти замужъ и что ея супругъ и господинъ оказался пьяницей: она, видите ли, должна была «исправить недостатки мужа»... Но пусть обѣ женщины дѣйствительно провинились, пусть и въ самомъ дѣлѣ преступно желаніе освободиться отъ власти мужа, будь это даже формальная пытка: предъ нами дѣвушка, повинная только въ болѣе серьезномъ направленіи ума, чѣмъ остальныя провинціальныя невѣсты. Она любитъ читать, не увлекается танцами и обществомъ уѣздныхъ сердцеѣдовъ Она, слѣдовательно, «горда». Такова логика общественнаго мнѣнія. И съ какимъ злорадствомъ оно мститъ, когда дѣвушка, на великое горе, увлекается молодымъ человѣкомъ рудинской породы и терпитъ, конечно, полное разочарованіе. «Теперь лучше узнаетъ себѣ цѣну!»—кричатъ торжествующія матроны. И опять ни единаго проблеска человѣческаго пониманія или невольнаго состраданія.

Авторъ понимаетъ основу этого явленія. Онъ, по обыкновенію, беретъ самыхъ простыхъ людей, одаренныхъ просто живою мыслью и свободной отзывчивостью развитого чувства,—напримѣръ, смотритель уѣзднаго училища Годневъ и его дочь Настенька. Люди они добрые, это всѣмъ извѣстно, но, на взглядъ общественнаго мнѣнія, все-таки неудобные: Годневъ—старый идеалистъ, любитель изящной литературы и строгій также къ вопросу о нравственномъ изяществѣ, его дочь—безпокойное, благородное сердце, воспріимчивая, отчасти романтическая натура, полная безсознатель-

ной граціи и поэзіи. И ужъ это значитъ «далеко уйти» отъ уѣзднаго муравейника, стяжать даже его ненависть.

Въ романѣ — рядъ превосходныхъ сценъ, спокойно, но въ высшей степени правдиво рисующихъ пропасть между повальной исконной духовной косностью провинціальнаго общества и рѣдкими одинокими личностями. Годневъ хочетъ познакомить болѣе или менѣе интеллигентыхъ обывателей съ первымъ произведеніемъ Калиновича, такъ же городского обывателя, слѣдовательно, не безъинтереснаго для публики. Но у всякаго, оказывается, развитъ какой угодно интересъ, только не къ литературному событію. Начиная съ чиновниковъ и дворянъ и кончая купцомъ—у всѣхъ «свои дѣла», самыя насущныя и совершенно довлѣющія. Купецъ даже наглядно это показываетъ, захлопывая дубовую калитку передъ Годневымъ, запирая ее на защелку и припоръ, и спуская еще съ цѣпи собаку. Весь его отвѣтъ на сообщеніе Годнева: «только пожалъ плечами» и выговорилъ: «всякому, сударь, доложу вамъ, человѣку свое счастье»... И въ слѣдующую минуту, конечно, и забылъ о «счастьи» новоявленнаго литератора.

Въ этой сценѣ — цѣлая философія провинціальной культуры. Каждый обыватель сидитъ за дубовой калиткой и цѣпной собакой, предоставляя остальному міру идти своимъ путемъ, лишь бы только калитка и собака оставались въ цѣлости. Губернаторъ, исправникъ, судъ могутъ посягнуть на эти основы обывательскаго благополучія, литераторы же никоимъ образомъ. Ясно, слѣдовательно, куда должно быть направлено обывательское вниманіе. Въ этой средѣ нѣтъ мѣста не только литературѣ—цвѣту истинно-культурной жизни, а просто мысли, процессу мышленія, выходящему за предѣлы насущныхъ заботъ о личной матеріальной безопасности и кое-какой желудочной сытости. «Ненависть, злоба и зависть здѣсь царствовали, и только; сверхъ того, надъ всѣмъ этимъ царила какая-то мертвенность и скука»...

И врядъ-ли какой еще писатель какой бы то ни было литературы достигалъ такой мѣткости и живости красокъ, такой простоты и въ то же время содержательности въ изображеніяхъ этой мертвенности и скуки. Гоголевское описаніе общества и нравовъ губернскаго города N—галлерея геніальныхъ жанровыхъ картинъ, и именно онѣ вызвали у Пушкина невольное горькое восклицаніе о томъ, какъ скучна Россія... Но что бы сказалъ великій поэтъ, прочитавши разсказъ Писемскаго о будняхъ города Энска! Это уже не мелочи, не пошлость, не смѣхотворные уроды и без-

надежные глупцы, — это въ полномъ смыслѣ берега миѳическаго Стикса, надъ которыми по всей справедливости слѣдовало бы начертать дантовскую надпись. И авторъ не позволяетъ себѣ ни единой крикливой, преувеличенной черты, ни одного нетерпѣливаго или рѣзкаго мазка. Утлая, низменная, безъидейная жизнь ложится на его полотно столь же спокойно и уравновѣшенно, какъ она течетъ и въ дѣйствительности. Вы будто сами переживаете обывательскій день съ утра до вечера въ то время, когда художникъ развертываетъ предъ вами одну за другой самыя заурядныя житейскія сцены. Каждая изъ нихъ не представляетъ ничего любопытнаго, но всѣ онѣ вмѣстѣ такъ расположены, такъ изумительно жизненно освѣщены, что въ концѣ вы невольно отрываетесь отъ книги и готовы воскликнуть: «Что за проклятіе и какая тьма висятъ надъ этимъ краемъ!»

Да, мы видѣли проклятіе для всѣхъ, спасшихъ въ душѣ своей подобіе Божіе, но горшее для тѣхъ, кому мысль и слово—хлѣбъ насущный.

Мы знаемъ, какъ встрѣтили провинціальные обыватели литературный дебютъ Калиновича. Не лучше и въ столицахъ. Въ Петербургѣ нашъ герой нашелъ честнѣйшаго журнальнаго труженика, нажившаго за цѣлые годы каторжной работы жестокую чахотку, бездну желчи и смертный ужасъ предъ поприщемъ литератора. Его предсмертный завѣтъ всякому—бѣжать отъ пропасти, и Калиновичъ въ концѣ своей многоопытной карьеры объясняетъ почему.

На сожалѣніе Настеньки, что онъ не остался литераторомъ, Калиновичъ выходитъ изъ себя: «О, чортъ эта литература!.. Если бъ я даже былъ какимъ-нибудь русскимъ Байрономъ, Шекспиромъ,— что-жъ изъ этого? На нашихъ глазахъ мы видѣли, какая участь постигаетъ всѣхъ передовыхъ людей на этомъ дѣлѣ: кого подстрѣлятъ, кто нищимъ умретъ на соломѣ, кто съ кругу сопьется, или съ ума сойдетъ... Нѣтъ еще-съ!.. Покуда у насъ не водъ поэтамъ и художникамъ... не ко двору они намъ пришли...»

Калиновичъ произноситъ эту рѣчь въ порывѣ личной горечи, въ тяжелую минуту своей жизни, но его доказательства — исторически достовѣрны, и самъ авторъ призвалъ на помощь все свое великое искусство, чтобы подготовить насъ именно къ такому выводу.

Но, вѣдь, нельзя же отрицать,—литература все-таки существуетъ въ Россіи, и какъ бы губернаторы ни презирали «студенче-

скіе мундиры», а скрозьземельные канцеляристы—вообще науку,—университеты ежегодно выпускаютъ множество ученыхъ и даже образованныхъ молодыхъ людей. Такъ было и въ дореформенной Россіи: читали Пушкина, Лермонтова, хотя и меньше, чѣмъ Бенедиктова и Марлинскаго, слушали лекціи, кончали курсы, хотя и у не особенно просвѣщенныхъ профессоровъ... Куда же дѣвались всѣ эти читатели и студенты? Чѣмъ отражалось ихъ существованіе на старомъ русскомъ обществѣ? Вѣдь они возвращались сюда же изъ аудиторій и должны были представлять силы, несомнѣнно, иного качества, чѣмъ жалкіе существователи.

Да, и представляли. Нашъ авторъ удѣлилъ этимъ силамъ едва ли не больше вниманія, чѣмъ всѣмъ прочимъ дореформеннымъ явленіямъ. Въ первой же повѣсти онъ представилъ одинъ изъ главнѣйшихъ типовъ «новыхъ людей» въ лицѣ Эльчанинова. Это было въ 1847 году. Потомъ повторилъ его три года спустя въ разсказѣ *Тюфякъ*, въ лицѣ главнаго героя Бешметева, и, наконецъ еще двумя годами позже, снова собралъ всѣ черты своего избранника для фигуры Шамилова, въ повѣсти *Виновата ли она*? Другой типъ не менѣе «новаго человѣка» будетъ обработанъ съ такой же настойчивостью и основательностью.

XX.

Когда, въ началѣ 1856 года, появился романъ Тургенева *Рудинъ*, публика и даже критика оказались менѣе всего подготовленными для какого-либо опредѣленнаго сужденія о новомъ произведеніи, въ особенности объ его героѣ. Однихъ восхищалъ блестящій ораторъ, чрезвычайно ловкій и развитой діалектикъ, другихъ повергалъ въ отчаяніе жалкій, трусливый и безвольный соблазнитель юнаго дѣвичьяго сердца. Въ одной и той же личности столько великаго и прекраснаго, ничтожнаго и смѣшного! Современники не догадались посмотрѣть на героя глазами самого творца, поискать разгадки въ личной жизни и личномъ нравственномъ мірѣ автора. Но даже если бы они и вступили на этотъ единственно вѣрный путь, ихъ ошибки и недоразумѣнія могли бы не вполнѣ исчезнуть. Смутное впечатлѣніе самыхъ разнородныхъ духовныхъ задатковъ рудинскаго типа, повидимому, неразлучно съ самой его сущностью.

А между тѣмъ почти за десять лѣтъ до тургеневскаго романа рѣшеніе задачи было уже намѣчено твердо и ясно. Рудинъ выступилъ на сцену какъ бывшій питомецъ московскаго универ-

исторія и по психологіи. Эльчаниновъ, отъ природы способный, легко прошелъ университетскую науку, въ 3—4 дня списалъ пропущенныя лекціи, въ одинъ мѣсяцъ приготовился къ экзамену «съ свойственной только студентамъ быстротою», и, конечно, немедленно забылъ всю ученость, разъ миновала нужда. Одновременно шло изученіе жизни, преимущественно, разумѣется, ея «украшенія», т. е. женщинъ. Наука эта оказалась еще легче университетской и неизмѣримо пріятнѣе: Эльчаниновъ быстро изучилъ женскія слабости, усвоилъ нарочитую дерзость въ обращеніи, вошелъ въ кружки мужчинъ, занятыхъ тою же наукой, не встрѣтилъ и здѣсь особенныхъ трудностей—подвизаться и блистать... Въ результатѣ успѣхи среди женщинъ заставили его открыть въ себѣ самомъ «сильныя страсти», а, слѣдовательно, и «глубокія страданія», повседневное обращеніе съ безличными пошляками убѣдили его окончательно, что онъ до тонкости знаетъ жизнь и людей, а художественные инстинкты и увлеченія до послѣдней степени развили эпикурейскія и сибаритскія наклонности, въ конецъ подорвали нравственную энергію и устойчивость ума и воли и подчинили юнаго героя первымъ мимолетнымъ раздражающимъ впечатлѣніямъ.

Психологія, какъ видите, очень простая. Обычная мало-индивидуальная основа заурядпаго русскаго человѣка, фейерверочные таланты, отсутствіе всякаго противовѣса и руководительства со стороны школы и семьи, раннее развитіе фантазерства и эгоизма безъ опредѣленныхъ жизненныхъ задачъ, дешевые успѣхи въ дешевомъ обществѣ, и «геніальная натура» готова, съ необъятными претензіями и микроскопическими силами духа.

Втолкните этого генія въ настоящую реальную жизнь, оторвите его отъ будуаровъ и ужиновъ, отъ любовныхъ свиданій и пріятельскаго фразерства, вы немедленно увидите жалкую комедію въ самомъ трагическомъ освѣщеніи. Для генія не существуетъ будничной дѣятельности: ему давайте подвиговъ, невиданнаго землей блеска и неслыханной смертными славы. Онъ вѣдь «избранная натура», это онъ слышалъ уже отъ десятка красивыхъ женщинъ, читалъ въ безмолвно-восторженныхъ дѣвическихъ очахъ, и тоже повторяли неоднократно пріятели-сотрудники по пирушкамъ и будуарному подвижничеству. Онъ ежеминутно готовъ унестись въ эмпиреи, но по землѣ не умѣетъ сдѣлать и шага, не споткнувшись, не издавъ жалобнаго стона или «демоническаго вопля», не пославъ проклятій человѣчеству.

А между тѣмъ, эмпиреи далеко, поневолѣ приходится дышать

воздухомъ и ходить по землѣ, естественно герой быстро становится разочарованнымъ, ему жизнь начинаетъ «казаться несносною», а люди—ничтожными рабами. Въ переводѣ на правдивый и простой языкъ, это значитъ—«Эльчаниновъ началъ падать духомъ», т. е. являть изъ своей экзотической особы не демона съ помятыми крыльями, а мокрую курицу.

Но сознаніе до конца не дается горе-богатырю, тѣмъ болѣе, что онъ, по привычкѣ, все еще сохраняетъ былой полетъ и непремѣнно встрѣтитъ наивную женскую душу, которая повторитъ предъ нимъ старую, но вѣчно свѣжую исторію...

Шамиловъ, на первый взглядъ, гораздо выше только-что изображеннаго героя, даровитѣе, разностороннѣе и даже извнѣ эффектнѣе. Этотъ совсѣмъ близокъ къ Рудину: то же обиліе научныхъ и художественныхъ свѣдѣній, то же краснорѣчіе, тѣ же непрерывные, литературные и научные планы, и вдобавокъ интригующая внѣшность. Женщина, конечно, и въ его жизни должна играть исключительную роль, но онъ все-таки не дошелъ до усердія Эльчанинова въ наукѣ страсти нѣжной. Шамиловъ, въ самомъ дѣлѣ, питаетъ серьезныя намѣренія учиться и думать, и мы вѣримъ его словамъ,—онъ дѣйствительно «натура не пошлая», и даже, пожалуй, «не дюжинный человѣкъ»... Но все это пропадаетъ прахомъ. Роковое несоотвѣтствіе претензій и силъ, личныхъ стремленій и запросовъ жизни, умственныхъ порывовъ и практическихъ результатовъ тяготѣетъ надъ Шамиловымъ еще сильнѣе, чѣмъ надъ героемъ *Боярщины*. Именно потому сильнѣе, что его стремленія и порывы выше и искреннѣе.

Но почему же, спросите вы, у несомнѣнно умнаго и даровитаго человѣка столь неосновательныя претензіи и стремленія остаются до конца, не переходятъ въ болѣе цѣлесообразныя жизненныя задачи и болѣе здравомыслящее представленіе о собственныхъ силахъ и практическихъ условіяхъ дѣятельности? Почему Шамиловъ, наравнѣ съ Эльчаниновымъ, долженъ кончить столь непослѣдовательно и безусловно—сразу отринуть порывы и идеи, броситься въ позорный омутъ животнаго существованія, будто съ заоблачной вершины скатиться внизъ, въ смрадную долину? Вопросъ этотъ касается одинаково и общественнаго явленія, и авторскихъ воззрѣній. Онъ намъ неизбѣжно предстанетъ и послѣ другихъ типовъ: тогда мы попытаемся его разрѣшить, теперь доведемъ до конца исторію рудинства.

Третій герой ея—Бешметевъ, по прозвищу *Тюфякъ*. Можетъ

показаться неожиданнымъ причисленіе и этой, уже окончательно жалкой личности къ сонму «геніальныхъ натуръ». Тѣмъ болѣе, что одинъ изъ русскихъ критиковъ, Аполлонъ Григорьевъ, написалъ уничтожающее обвинительное слово противъ *Тюфяка*. Неудержимо стремительному, но далеко не всегда сознательному и еще рѣже логическому автору Бешметевъ показался, ни болѣе, ни менѣе, какъ вторымъ Задоръ-Мановскимъ, героемъ повѣсти *Боярщина*. Чтобы оцѣнить всю тяжесть обвиненія, достаточно припомнить авторскій отзывъ о Задоръ-Мановскомъ. «Это былъ неглупый, но необразованный человѣкъ, упрямый и злой по природѣ, онъ былъ въ то же время честолюбивъ и жаденъ». Изъ-за честолюбія и жадности, т. е. ради генеральскаго чина и приданаго Задоръ-Мановскій женился, но жестоко обманулся въ своихъ разсчетахъ: приданаго за женой не оказалось и съ нимъ «сдѣлалось что-то въ родѣ удара», по выздоровленіи онъ принялся мстить, «съ каждымъ днемъ началъ хуже и хуже обращаться съ женою. Никакой покорностью, никакимъ вниманіемъ не могла она угодить ему»... И дальше—потрясающая исторія настоящаго ада.

И вотъ къ такому-то герою приравнивается Бешметевъ за то, что онъ влюбился въ красивую дѣвушку, встрѣтилъ въ ней пошлѣйшее и развращеннѣйшее созданіе, съ отчаянія обратился къ обычному средству русскихъ людей не-героевъ, и среди безпросвѣтнаго, разбитаго и униженнаго существованія доставляетъ себѣ сомнительное удовольствіе, отнюдь не великодушное, но столь естественное при такихъ условіяхъ—иронизируетъ надъ приключеніями супруги! За этими сценами *конца* для глазъ критика исчезъ весь психологическій смыслъ исторіи. А онъ такъ ясенъ и менѣе всего преступенъ—насколько касается именно нашего героя.

Основной рудинскій недугъ — практическое безволіе, мгновенная растерянность въ рѣшительныхъ столкновеніяхъ со внѣшнимъ житейскимъ міромъ у Бешметева достигаетъ высшаго предѣла. Онъ даже *словами* не способенъ бороться и сопротивляться, о дѣйствіяхъ не можетъ быть и рѣчи. Онъ, несомнѣнно, даровитѣе даже Шамилова и гораздо серьезнѣе его по направленію ума. При благопріятныхъ обстоятельствахъ его планы на счетъ профессуры осуществились бы, у него лично достало бы для этой цѣли и энергіи и любви къ наукѣ и серьезнаго отношенія къ дѣлу. Но именно обстоятельства и налегли всей тяжестью на Бешметева еще съ дѣтства и заранѣе успѣли отнять у даровитаго юноши не только всякій намекъ на обычный блескъ рудинскихъ натуръ,

но даже окончательно отбили желаніе претендовать на какое-либо личное преимущество, и совершенно законное отличіе. Другіе герои жестокіе расхолаживающіе опыты переживали уже въ зрѣлые годы, Бешметеву пришлось расти и учиться въ самомъ горнилѣ подобныхъ опытовъ. Вотъ это-то обстоятельство и проглядѣлъ безпощадный судья Бешметева.

Въ дѣтствѣ Бешметевъ очень некрасивъ, никто его не ласкаетъ, «молодыя барышни не подзывали для поцѣлуя и разговоровъ», тихій, послушный, «до невѣроятности добрый», потомъ — жертва семейной драмы: его отца отдали подъ судъ, домъ перестали посѣщать гости,—онъ ученикъ семинариста... Таковъ Бешметевъ — ребенокъ. Въ гимназіи — страхъ предъ учителями, отчужденность среди товарищей: и могло ли быть иначе послѣ такого дѣтства! Въ университетѣ—одинокія мечты о научной дѣятельности, о блестящихъ лекціяхъ, о славѣ, и, конечно, затаенная жажда счастья. «Какъ хороша вообще женщина», думалъ этотъ, по мнѣнію Григорьева, безнадежный циникъ, думалъ въ тѣ годы, когда Эльчаниновы и Шамиловы въ совершенствѣ постигали науку женскихъ слабостей...

Въ результатѣ—страстное, романтическое увлеченіе дѣвушкой, незнакомой, случайно замѣченной изъ окна... И подобное увлеченіе тотъ же жестокій критикъ отождествляетъ съ брачной исторіей Задоръ-Мановскаго! Конечно, было бы желательнѣе, чтобы юноши влюблялись и женились по строгому изслѣдованію душевныхъ совершенствъ предметовъ своей любви, чтобы брачныя узы связывали мыслящихъ существъ, а не физіологическихъ особей... Это, несомнѣнно, выше и человѣчнѣе «волненій чувства молодого». Но тогда Аполлону Григорьеву свою декламацію на счетъ «животненныхъ инстинктовъ», въ интересахъ послѣдовательности, слѣдовало бы распространить на чистѣйшія явленія хотя бы, напримѣръ, шекспировской поэзіи,—Миранду, Офелію, Джульетту, и ужъ, безъ сомнѣнія, на всѣхъ героевъ любовныхъ интригъ. Тѣмъ болѣе, что «циникъ» Бешметевъ ведетъ себя съ невѣстой отнюдь съ не меньшей стыдливостью и съ не менѣе глубокимъ чувствомъ трепетнаго счастья, чѣмъ самая «красная дѣвушка».

Въ этомъ именно трепетѣ и все несчастье Бешметева. Жизнь требуетъ извѣстной жесткости и даже нападательныхъ способностей, а Бешметевъ совершенно безоруженъ для какой бы то ни было защиты.

Онъ теряется предъ теткой, провинціальной кумушкой, при-

тязательной и подчасъ нахальной «бой-бабой»: она снабдила племянника прозвищемъ «тюфяка» за то, что онъ не ласкается къ ней, не разговорчивъ, «безпрестанно все читаетъ», желаетъ сдавать магистерскій экзаменъ, хотя за это и не будутъ платить жалованья. Бешметевъ—безпомощенъ предъ подобной силой, а слезы больной матери повергаютъ его въ безысходное отчаяніе. Онъ долженъ остаться дома ради нея и забыть свои мечты о профессурѣ... Этотъ же трепетъ и передъ свадьбой: Бешметевъ прибѣгаетъ даже къ молитвѣ для успокоенія своихъ волненій... Какъ это похоже на циника!.. Естественно, у автора другое опредѣленіе: «Павелъ, добрый мой Павелъ рѣшительно сдѣлался мизантропомъ!» восклицаетъ Писемскій въ послѣднемъ актѣ драмы Бешметева.

Очевидно, критикъ оказался на сторонѣ разбитной тетушки и вообще провинціальнаго «общественнаго мнѣнія». Всѣ терзанія Павла отъ начала до конца остаются исключительно его личнымъ достояніемъ. Ему рѣшительно не съ кѣмъ подѣлиться горемъ и сомнѣніями,—ему, съ дѣтства одинокому, пригнетенному и въ то же время по натурѣ любящему и «до невѣроятности доброму». И вотъ какъ разрѣшается «циническая» исторія нашего героя.

Въ припадкѣ страшнаго негодованія на новую интригу неисправимой супруги, Бешметевъ наговорилъ ей рѣзкихъ словъ, и сейчасъ же бросился изъ дому. «Пробѣжавъ версты три, наконецъ, утомился, упалъ на траву и какъ малый ребенокъ началъ рыдать. Трудно перечислить и опредѣлить тѣ чувствованія, которыя породили эти слезы; это были ревность, злоба, жалость, раскаяніе, однимъ словомъ, все то, что можетъ составить для человѣка нравственный адъ». Этотъ адъ и болѣзнь сводятъ Бешметева въ могилу; передъ смертью онъ имѣніе отказываетъ женѣ...

Такъ кончаетъ самый жалкій, блѣдный и прозаическій Рудинъ. Ни умъ, ни даровитость, ни серьезныя знанія не помогли ему даже въ личной жизни; напротивъ, положительныя свойства его натуры только ускорили и усилили драматическую развязку. Бешметевъ — честнѣе и душевно глубже другихъ героевъ того же типа. Тѣхъ спасалъ эффектъ, и чѣмъ онъ ярче, тѣмъ ослѣпительнѣе и сложнѣе оставалось впечатлѣніе. Тургеневскій Рудинъ, самый блестящій, идетъ впереди; онъ больше всѣхъ вызвалъ волненій и недоразумѣній, затѣмъ, Шамиловы, Эльчаниновы и, въ заключеніе, убитый судьбой Бешметевъ.

Рудина самъ авторъ выноситъ на поверхность, другихъ вывозитъ мелкая житейская ловкость и прямолинейный эгоизмъ, Беш-

метевъ гибнетъ по простотѣ души, по добротѣ сердца и по исконной запуганности всего своего существа.

Конецъ «блестящихъ» рудинскихъ исторій у Писемскаго одинъ: сначала возмутить жизнь достойной женщины или дѣвушки, въ рѣшительную минуту бѣжать, а потомъ пристроиться къ богатымъ покровителямъ, а еще чаще—покровительницамъ и во всей наготѣ обнаруживать въ теченіе всей остальной жизни безличіе и органическую развинченность своей природы.

Но какова бы ни была участь Рудиныхъ, они—*лучшіе люди* среди дореформеннаго общества, по умственному развитію, по талантамъ, даже по нравственнымъ задаткамъ. Такими они выступаютъ на сцену, и естественно, ихъ власть захватываетъ *лучшихъ женщинъ*, въ отношеніи ума и сердца. Героини *Боярщины* и *Богатаго жениха*—явныя любимицы автора, тѣмъ болѣе, что судьбою первой изъ нихъ Писемскій стремился оправдать жоржъзандистскія идеи своей молодости, а вторая — вообще одна изъ идеальныхъ женскихъ фигуръ въ его произведеніяхъ. Очевидно, у Анны Павловны и у Вѣры не было лучшаго выбора, чѣмъ Эльчаниновъ и Шамиловъ. И вотъ этотъ лучшій выборъ, въ результатѣ, оказывается мукой и позоромъ бѣдныхъ женщинъ! Мы должны имѣть въ виду этотъ фактъ: онъ цѣликомъ входитъ въ характеристику дореформеннаго общества. То же значеніе имѣютъ и герои другого типа, разновидности россійскаго демонизма и московскаго чайльдъ-гарольдства.

XXI.

Переходъ отъ Рудиныхъ къ демонамъ — самый легкій, непосредственный. Несказанныя муки непризнанныхъ великихъ силъ и бездонныхъ чувствъ одинаково свойственны и героямъ пышныхъ фразъ и не менѣе краснорѣчиваго. *демоническаго*, молчанія. Даже тургеневскій Рудинъ безпрестанно намекаетъ на разочарованіе, на грандіозное невыясненное призваніе, а Рудинъ Писемскаго, Шамиловъ, прямо сравниваетъ себя съ Ренэ, т. е. съ «подстрѣленнымъ орломъ». «Прочитайте этотъ романъ,—внушаетъ онъ Вѣрѣ,— и вы тогда поймете меня. Во мнѣ много силъ, и не такое бы мнѣ поле разрабатывать»...

Какое же? Отвѣтъ уже не демоническій, а просто донъжуанскій. Эльчаниновъ «обезумѣлъ отъ восторга» на свиданіи съ Анной Павловной и наговорилъ ей рѣчей, мало чѣмъ уступаю-

щихъ клятвамъ лермонтовскаго демона. Шамиловъ, разумѣется, еще пламеннѣе: «все мое бытіе», «жизнь моя вы»... Краснорѣчіе не помѣшаетъ героямъ спрятаться въ кусты,—то же самое при случаѣ не прочь продѣлать и демоны. Обѣ породы родственныя, ихъ роднитъ *фраза* и *поза*, небольшая лишь разница въ мотивахъ фразъ,—небольшая, потому что даже и фразы часто буквально однѣ и тѣ же у бывшаго слушателя университетскихъ лекцій и у отставного или дѣйствующаго гвардейскаго офицера, приблизительно въ чинѣ поручика: демонизмъ, вѣроятно, по своему презрѣнію къ земнымъ почестямъ, не любитъ болѣе высокихъ ранговъ.

Это совпаденіе рудинства, т. е. безусловно интеллигентнаго явленія съ каррикатурнымъ демонизмомъ и даже донъ-жуанствомъ,—явленіемъ исключительно будуарнаго содержанія, замѣчательно въ высшей степени. Идеи у русскихъ юношей превращаются въ такую же науку страсти нѣжной и въ такое же оружіе противъ женскихъ слабостей, какъ и гусарскій мундиръ. Всѣ рѣчи на счетъ высшаго призванія и идеаловъ сводятся къ безумному воплю: «Ты моя!», а туманные, но необычайно интересные намеки на «битву жизни» разъясняются коротко и сильно: «Я тебя не пущу... хоть бы цѣлый міръ тебя отнималъ у меня!» Очевидно, какая-то роковая и чрезвычайно ироническая судьба желѣзной властью пригвождаетъ героическихъ *идеалистовъ* къ самому шаблонному, избитому пути «отважныхъ блондиновъ», какъ—не всегда точно—называли въ старину «друзей дома». Дальше мы оцѣнимъ смыслъ этого рока, и намъ, наравнѣ съ идеальными мыслителями, помогутъ вполнѣ реальные чувствователи.

Ихъ у Писемскаго не одинъ и опять съ разными оттѣнками. Самый ранній—Бахтіаровъ, изъ повѣсти *Тюфякъ*, черезъ три года слѣдовалъ герой разсказа—*Mr. Батмановъ*. Это—необычайно яркія и типичныя фигуры, рядомъ съ ними едва замѣтны такіе dii minores, какъ *Мазуринъ* изъ очень небольшого и изувѣченнаго въ печати разсказа *Нина*, и Курдюмовъ, герой повѣсти *Виновата ли она?*, явившейся пять лѣтъ спустя послѣ *Тюфяка*. Послѣдніе два героя сами по себѣ лишены демоническихъ чертъ, и могутъ быть причислены къ типу лишь по впечатлѣнію, какое они производятъ на своихъ жертвъ

У Писемскаго, по части демонической психологіи, были великіе предшественники—Пушкинъ и Лермонтовъ. Но мы уже указывали, до какой степени самостоятельно отнёсся къ этимъ явленіямъ нашъ авторъ. Онъ сразу поставилъ вопросъ на новую почву.

Евгеній Онѣгинъ и Печоринъ—*столичные* демоны и если имъ приходится рѣять временно надъ провинціальными Тамарами, они не считаютъ серьезной свою задачу, они или просто издѣваются надъ своей добычей, или выжидаютъ момента, когда захолустная oie blanche превратится въ петербургскую львицу.

У Писемскаго на сценѣ исключительно провинціальный демонизмъ. Правда, и его герои получили воспитаніе въ столицахъ: иначе они были бы лишены гипнотизирующей силы. Но они мельче своихъ старшихъ современниковъ, не столь прихотливы вкусомъ и ограниченнѣе умомъ. И здѣсь, слѣдовательно, талантъ писателя избираетъ вѣрнѣйшій пріемъ обнаружить все уродство и смѣхотворность демонизма, освободивъ его предварительно отъ постороннихъ, чуждыхъ ему примѣсей. Сдѣлать это Писемскому было совершенно естественно: самъ онъ лично отнюдь не страдалъ байронической лихорадкой и не стремился жечь дамскія сердца огнемъ разочарованія и тайныхъ страданій. Ни того, ни другого нельзя сказать объ авторахъ *Евгенія Онѣгина* и *Героя нашего времени*, конечно, *до* возникновенія того и другого романа, которые и явились своего рода публичнымъ покаяніемъ геніальныхъ поэтовъ.

Какая простая психологія и до крайности незамысловатая философія московскихъ чайльдъ-гарольдовъ, если съ нихъ сорвать всѣ лишніе уборы и выставить на всеобщее зрѣлище безъ всякихъ недомолвокъ и «смягчающихъ обстоятельствъ»! Біографіи почти тождественны, потому что и самые типы явленіе шаблонное, безличное, не индивидуальное. Бахтіаровъ—гусаръ, Батмановъ—кирасиръ: это необходимо для «сильныхъ страстей» и демоническихъ страданій. «Страсти»—ничто иное, какъ трактирные кутежи, картежная игра, покупная женская любовь, «страданія»—финансовое банкротство, т. е. утрата шальныхъ наслѣдственныхъ денегъ, поиски за новыми благопріобрѣтенными средствами, бѣгство въ провинцію, атаки на богатыхъ уѣздныхъ и губернскихъ невѣстъ и, въ результатѣ, въ лучшемъ случаѣ женитьба на милліонѣ и роль «состоящаго при женѣ», въ худшемъ—тунеядное, пошлое прозябаніе на доходы подозрительнаго происхожденія.

Въ столицахъ, при громадномъ изобиліи разочарованныхъ гусаръ и кирасировъ, Батмановы и Бахтіаровы привлекаютъ общее вниманіе лишь временно, пока у нихъ есть возможность мотать деньги и ослѣплять праздную толпу эксцентричностями полнокровнаго животнаго организма. Но при первыхъ же признакахъ денежнаго кризиса публика отворачивается отъ своихъ увесели-

телей и имъ, будто развѣнчаннымъ актерамъ, приходится искать другихъ зрителей, еще не искушенныхъ въ тайнахъ гусарскаго демонизма.

Начинается губернская эпопея, въ высшей степени благодарная, потому что провинція вѣчно живетъ заднимъ числомъ и изнываетъ неутолимой тоской — чувствовать и поступать «какъ въ Петербургѣ».

И какъ мало требуется рессурсовъ общипанному орлу, чтобы явиться настоящимъ львомъ среди дамъ просто пріятныхъ и дамъ пріятныхъ во всѣхъ отношеніяхъ!

Прежде всего они должны быть непремѣнно «жестоки», на лицѣ носить отпечатокъ тайны и борьбы, лучше всего, если лицо будетъ блѣдно, или даже съ матовымъ оттѣнкомъ, въ черныхъ усахъ, неподвижный, загадочный, т.-е., по просту, нахальный и неинтеллигентный взглядъ, потому что иначе провинціальное общество сочтетъ героя за «ученаго» и «философа», и сейчасъ же образуетъ кругомъ него пустоту. Конечно, и поступки соотвѣтственные, отдаленно намекающіе на подвиги полковыхъ ёръ и забіякъ: напримѣръ, сказать невѣроятную дерзость чувствительной дѣвицѣ, «растерзать» сердце двумъ-тремъ, а то и больше— чужимъ женамъ, не особенно твердымъ въ семейной морали, застрѣлить изъ пистолета свою верховую лошадь за «непослушаніе», а главное, окружить себя ореоломъ неизглаголанныхъ страданій и сверхчеловѣческихъ житейскихъ опытовъ. Именно на эту удочку особенно охотно идутъ всѣ Татьяны и Маріи. Неоцѣненный страдалецъ и непонятый герой!—всего четыре слова, и на нихъ зиждется вся демоническая слава и все земное благополучіе нашихъ героевъ.

«Вы для меня загадка!»—раздумчиво шепчетъ одно подстрѣленное сердце, онъ «жестокій, но все-таки интересный»,—соображаетъ другая губернская Миньона. А герои въ отвѣтъ—или презрительная улыбка, или: «Немудрено, я самъ себя не понимаю», или, наконецъ, самый неотразимый наѣздъ... Красавица, сраженная блѣднымъ лицомъ и мрачнымъ взглядомъ и въ конецъ уничтоженная трагической исторіей съ верховой лошадью, едва смѣетъ выговорить:

«— Какой вы страшный! Я васъ буду бояться... Васъ никто не пойметъ!»

Это именно герою и надо; слѣдуетъ убійственный отвѣтъ:

«— Что дѣлать; по мнѣ кажется, что вы меня немного поняли...»

Развѣ можно здѣсь устоять! Этотъ избранный, необыкновен-

ный человѣкъ, столько пережившій, будетъ, наконецъ, по достоинству оцѣненъ и утѣшенъ *ею*, губернской Татьяной, до сихъ поръ только по романамъ знавшей «жестокихъ, но интересныхъ» героевъ! А теперь предъ ней во очію стоитъ демоническая фигура во всемъ мрачномъ сіяніи демонизма и таинственности, и именно *она*, m-lle Юлія, Бетси, или m-me Бешметева, Наунова—имена же ихъ легіонъ—призвана проникнуть въ бездну тайнъ и умягчить елеемъ любви израненное сердце!.. Можно ли представить болѣе соблазнительную задачу для дѣвицы или дамы, только-что наканунѣ проведшей всю ночь напролетъ надъ пронзительной исторіей князя Звонскаго?..

Такова психологія демонизма,—политика еще проще, она цѣликомъ заимствована изъ извѣстной басни Крылова *Тѣнь и человѣкъ*. Бахтіаровъ и Батмановъ, равномѣрно какъ и сильнѣйшій изъ россійскихъ демоновъ Печоринъ, буквально повторяютъ мораль сей аллегоріи. Бахтіаровъ окончательно запутываетъ въ свои сѣти Юлію Бешметеву, отступаясь отъ нея съ видомъ полнѣйшаго равнодушія при первомъ сопротивленіи. Печоринъ для подобнаго маневра считалъ достаточнымъ нѣсколько дней, Батмановъ, менѣе сильный левъ, кладетъ срокъ въ двѣ недѣли. И результаты никогда не обманываютъ нашихъ героевъ, и, что̀ особенно любопытно, политика оказывается одинаково дѣйствительной и для какой-нибудь Юліи, выходящей замужъ уже готовою кокоткой, и для искренне и честно влюбленной m-me Науновой.

Мало этого. Господа Бахтіаровы только *намъ* и *теперь* могутъ казаться дутыми ничтожествами и «комиками», въ свое время и въ извѣстномъ обществѣ они—соль земли, отнюдь не менѣе Шамиловыхъ и Рудиныхъ. Умнѣйшая и достойнѣйшая губернская дама, сестра Бешметева, не можетъ устоять предъ властью Бахтіарова, правда только *нравственно*, но тѣмъ значительнѣе фактъ. И если вы спросите, почему?—получится отвѣтъ: Бахтіаровъ *выше всѣхъ*, по уму и даже по образованію, среди окружающаго общества. Онъ единственная яркая личность рядомъ съ удручающими посредственностями.

И наша дама права́. Не г-на же Кипренскаго, мѣстнаго кавалера, ставить наравнѣ съ какимъ бы то ни было жестокимъ демономъ. Именно въ лицѣ Кипренскаго, губернская мужская молодежь съ неменьшимъ усердіемъ, чѣмъ женская, уничтожается предъ великолѣпными особами Батмановыхъ и Бахтіаровыхъ. Батмановъ третируетъ Кипренскаго какъ своего лакея, повер-

гаетъ его въ несказанное счастье своей «откровенной» бесѣдой на счетъ политики съ женщинами и въ то же время публично шельмуетъ его.

Демоны, слѣдовательно, выше всѣхъ—и не только въ глазахъ дамъ и дѣвицъ. Они имѣютъ даже лишніе шансы сравнительно съ Рудиными, потому что ихъ притязанія на исключительное положеніе понятнѣе, болѣе по плечу общественному мнѣнію провинціи. Только ихъ въ губерніи называютъ *messieurs*, т. е. только за ними признаютъ аристократизмъ, тонкое воспитаніе, столичный лоскъ, и тетка Бешметева, до глубины души презирающая скромность и ученость своего племянника, къ отставному кирасиру, несомнѣнно, отнесла бы цѣликомъ свой идеалъ кавалера: «Ужъ именно можно сказать прекрасный молодой человѣкъ; съ обращеніемъ, по французски такъ и рѣжетъ»...

И цѣнительницы этихъ добродѣтелей не исчезаютъ до конца. Демоны непремѣнно достигаютъ своихъ земныхъ цѣлей: Бахтіаровъ женится на трехъ фабрикахъ и милліонѣ денегъ, Батмановъ пристраивается ко вдовѣ купчихѣ, живетъ у нея въ домѣ, ходитъ весь залитой въ бриллiантахъ и спаиваетъ шампанскимъ цѣлое общество...

Мы такого заключенія не слышали ни объ Онѣгинѣ, ни о Печоринѣ. Правда, одинъ изъ нихъ разыгрываетъ довольно глупую и ужъ совсѣмъ не демоническую роль, но о батмановской профессіи здѣсь не можетъ быть и рѣчи. И вовсе не потому, что бы Онѣгинъ представлялъ нѣкую высшую фармацію; напротивъ: онъ столь же умственно баналенъ, лично ничтоженъ и въ серьезныхъ положеніяхъ жизни трагикомиченъ, какъ и его младшій собратъ. Все дѣло въ томъ, что Онѣгинъ пребываетъ въ нѣкоторой романтической дымкѣ, особенно въ первыхъ главахъ романа. Великій поэтъ быстро и отважно шелъ къ реальному творчеству, какъ объ этомъ самъ заявлялъ въ томъ же романѣ, и, можетъ быть, со временемъ предъ русской публикой явилась бы не менѣе талантливая, но болѣе *прозаическая* исторія того же типа. А пока разочарованный герой, правда, въ сильной степени подерганный и помятый, все еще хранитъ на своемъ блѣдномъ лицѣ нѣкоторый отпечатокъ поэтичности. На герояхъ Писемскаго нѣтъ этого отпечатка съ самаго начала. Здѣсь демонизмъ въ самомъ натуральномъ видѣ и исторія его реальна отъ первой буквы до послѣдней. И если у нѣкоторыхъ читателей и особенно читательницъ къ Онѣгину все еще можетъ остаться нѣкоторое чув-

ство нѣжности или состраданія, относительно Бахтіарова, или Батманова оно положительно немыслимо. Демонизмъ, слѣдовательно, у нашего автора вдвинутъ въ тѣ самыя рамки и освѣщенъ тѣмъ самымъ свѣтомъ, какъ это было сдѣлано и относительно рудинства.

Можно представить, въ какихъ послѣ этого рамкахъ оказались просто интересные губернскіе герои. А ихъ много, едва-ли не больше, чѣмъ демоновъ, и производятъ они не меньшія опустошенія въ провинціальномъ овчарникѣ. Вотъ, напримѣръ, Мазуринъ—свѣтскій человѣкъ, богачъ, красавецъ. Всѣ мамаши, конечно, заранѣе покорены: такіе женихи рѣдкость! Но любопытнѣе безкорыстное увлеченіе дочерей. Мазуринъ—просто пустой невѣжественный мужчина, не ушедшій дальше физической чистоплотности, дорогого щегольства, французской гастрономіи и внѣшней воспитанности. Онъ ничего не читаетъ, ни чѣмъ не интересуется, кромѣ собственной наружности и желудка, дѣвицамъ разсказываетъ старые пошлые анекдоты... И онъ для какой-нибудь «идеальной» Нины, «съ маленькой головкой», но «съ прекрасно развитой грудью» и «темно-голубыми глазами»—неотразимъ. И вовсе не потому, чтобы Нина была легкомысленна или безнравственна, нѣтъ, ей совершенно искренне Мазуринъ кажется «интереснымъ», умнымъ, образованнымъ, вообще «выше другихъ».

Еще поучительнѣе исторія г-на Курдюмова. Умственнымъ развитіемъ онъ немного опередилъ кумира Нины, но онъ «какой-то всеобщій художникъ», поетъ, культивируетъ разныя другія искусства. Все это выходитъ у него совершенно механически, «не достаетъ душонки, чтобы съ толкомъ спѣть романсъ», говоритъ о немъ авторъ устами одного изъ героевъ. И все-таки—красивый брюнетъ съ художественными наклонностями и, въ особенности, съ романсомъ на устахъ увлекаетъ безусловно умную и во всѣхъ отношеніяхъ достойную женщину. Рядомъ съ мужемъ, пьянымъ дикаремъ, Курдюмовъ дѣйствительно — «выше» и «интереснѣе»... Очевидно, демоны и даже ничтожнѣйшіе ихъ соревнователи, какъ бы ни были пошлы сами по себѣ, становятся силой при извѣстномъ уровнѣ общественнаго развитія, силой безусловной — не только для глупыхъ дѣвицъ и жуирующихъ дамъ, а вообще для всѣхъ женщинъ, предъявляющихъ къ будничной жизни болѣе или менѣе повышенныя требованія. И именно ничтожество *героевъ* бросаетъ рѣшительный и самый вѣрный свѣтъ на характеръ *толпы*, въ данномъ случаѣ — русскаго дереформеннаго интелегентнаго общества.

Остается низшій, безправый и свиду будто безличный слой—крѣпостной народъ. Здѣсь литература Писемскаго, въ виду установленныхъ нами нравственныхъ особенностей его личности, представляетъ исключительный интересъ.

XXII.

Основательнѣйшее знакомство Писемскаго съ народной жизнью и народной психологіей, поразительное искусство воспроизводитъ народный языкъ и складъ чисто-крестьянскихъ характеровъ, никогда и никѣмъ не подвергались сомнѣнію, даже въ темный непопулярный періодъ дѣятельности писателя. И дѣйствительно:—не требуется особеннаго художественнаго вкуса, чтобы испытывать высшее наслажденіе при чтеніи его произведеній изъ деревенской жизни, или отдѣльныхъ сценъ въ романахъ съ крестьянами дѣйствующими лицами. Не много можно указать случаевъ въ художественной литературѣ, гдѣ до такой степени излишне вмѣшательство эстетической критики: такъ ярка жизненность, такъ неподдѣльна и краснорѣчива правда народныхъ типовъ и картинъ у Писемскаго! Тѣмъ важнѣе, конечно, нравственный и общественный смыслъ такого блестящаго творчества.

Первое произведеніе, посвященное Писемскимъ народной жизни—*Лѣшій*, написанный въ 1851 году, въ слѣдующемъ—*Питерщикъ*, три года спустя *Плотничья артель*, въ 1857 году явилась *Старая барыня* и годомъ позже драма *Горькая судьбина*, увѣнчавшая народническую поэзію нашего автора въ дореформенное время, въ концѣ 1861 года разсказомъ *Батька* закончилась вообще дѣятельность Писемскаго въ этомъ направленіи. Не смотря на появленіе этого разсказа уже послѣ крестьянской реформы, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, онъ безъ всякихъ затрудненій можетъ быть причисленъ къ раннимъ произведеніямъ, по манерѣ и по духу творчества. Писатель еще не успѣлъ пережить сильныхъ потрясеній, какія, мы увидимъ позже, всколебали его душу въ первые годы освободительной эпохи.

Русская публика уже въ теченіе четырехъ лѣтъ читала тургеневскіе *Записки охотника*, когда появился *Лѣшій* и потомъ *Питерщикъ*. Любопытнѣйшія фигуры Хоря, Овсянникова были извѣстны всѣмъ: именно имъ предстояло выступить и у Писемскаго. Превосходно также изображалась дѣятельность «управителей» въ лицѣ «Бурмистра»: мотивъ, опять избранный и нашимъ писате-

лемъ. Вообще Писемскому не приходилось совершать безусловныхъ открытій въ народной жизни, но онъ за то немедленно обнаружилъ совершенно оригинальное отношеніе къ ней. При всемъ спокойствіи и изящной простотѣ тургеневскихъ разсказовъ, читатель не могъ не почувствовать вполнѣ опредѣленнаго тяготѣнія авторскаго сочувствія въ извѣстную сторону. *Записки*, несомнѣнно, писались въ интересахъ мужика, точнѣе—*ради* мужика. Мы теперь знаемъ, авторъ выполнялъ свою «Аннибалову клятву», но и безъ этого свѣдѣнія здѣсь нельзя не ощутить весьма стойкаго характернаго теченія сороковыхъ годовъ. Это не значитъ, будто художникъ находился во власти тенденціи. Его *впечатлѣнія* развивались въ извѣстномъ направленіи, а Тургеневъ, по его словамъ, считалъ «страннымъ и смѣшнымъ» «освобождаться отъ собственныхъ впечатлѣній потому только, что они похожи на тенденцію». У всякаго наблюдателя получаются разныя впечатлѣнія отъ однихъ и тѣхъ же предметовъ, и Тургеневъ, одушевляя такимъ, а не инымъ духомъ свои *Записки*, оставался лишь типичнымъ представителемъ своей идеалистической эпохи.

Съ Писемскимъ не могло произойти ничего подобнаго; онъ стоялъ слишкомъ далеко отъ современныхъ идейныхъ теченій и не обладалъ тургеневской чуткостью къ *общему смыслу* жизненныхъ явленій. Въ результатѣ, предъ нами совершенно другая народническая литература, хотя въ художественномъ отношеніи отнюдь не менѣе сильная.

Руководящую идею, точнѣе, практическое правило при изображеніи народной жизни, Писемскій высказалъ устами одного изъ своихъ положительныхъ и умнѣйшихъ героевъ-крестьянъ: «скажемъ по мужику, а надо сказать и по барину». Эти слова Петра изъ *Плотничьей артели* лежатъ въ основѣ всѣхъ разсказовъ Писемскаго.

У автора, прежде всего, крѣпостной порядокъ *самъ по себѣ* не возбуждаетъ никакихъ сильныхъ чувствъ, онъ будто дѣйствительно законъ природы и справедливости. Правда, мы слышали отъ Вихрова, повидимому, уничтожающія соображенія на счетъ неограниченной власти барина надъ мужикомъ. Но, во-первыхъ, это писалось уже много лѣтъ *позже* отмѣны крѣпостнаго права, а потомъ, мы видѣли, рѣчь Вихрова стоитъ въ непримиримомъ противорѣчіи съ другими данными того же романа. Въ дореформенной литературѣ нѣтъ даже и поводовъ къ противорѣчію: авторъ остается исключительно на *нравственной* почвѣ и не касается *обще-*

ственной. Онъ имѣетъ дѣло съ *бариномъ* и съ *мужикомъ*, какъ разъ навсегда установленными и неизбѣжными явленіями.

Это—отнюдь не крѣпостничество, не сочувствіе рабству и еще менѣе равнодушіе къ барскому произволу или жестокости. Нѣтъ, это просто *уклоненіе* автора отъ самаго вопроса о крѣпостномъ правѣ, точнѣе, этотъ вопросъ внѣ авторскаго кругозора. Писемскій пишетъ и разсуждаетъ *въ предѣлахъ* крѣпостного строя, и здѣсь, именно, онъ исполненъ гуманности, здраваго смысла, справедливости, здѣсь онъ всегда готовъ стать на сторону слабѣйшаго, но только не касаясь самихъ устоевъ. Вы скажете: мужикъ непремѣнно *слабѣйшій* уже потому, что онъ *подданный*, крѣпостной, слѣдовательно, защита его, при извѣстномъ порядкѣ вещей, является исходнымъ нравственнымъ принципомъ. Но вотъ именно это-то обобщеніе и не существуетъ для строго практической, житейской мудрости. Въ результатѣ и выходитъ разговоръ о дурныхъ и хорошихъ господахъ, умныхъ или глупыхъ мужикахъ, а не вообще о *господахъ* и *мужикахъ*, какъ *общественныхъ явленіяхъ*, независимо отъ какихъ бы то ни было частностей.

Но Писемскій въ лучшую пору дѣятельности—высокодаровитый и безусловно искренній художникъ. Вотъ эти-то свойства писателя, помимо его воли, такъ сказать, безъ его вѣдома, приводятъ читателя къ опредѣленнымъ выводамъ.

Прежде всего, нашъ авторъ по наслѣдственнымъ и личнымъ инстинктамъ—совершенный демократъ: мы это знаемъ на основаніи его общей психологіи, и каждое произведеніе безусловно подтверждаетъ наше свѣдѣніе. Любимый народный типъ Писемскаго сродни тургеневскому Хорю и Овсянникову: ясная, ничѣмъ незамутимая «житейская мудрость», исключительная энергія и практическая даровитость, необычайно острое пониманіе окружающей дѣйствительности, и все это вмѣстѣ съ лукавымъ юморомъ и инстинктивнымъ консерватизмомъ въ мысляхъ и поступкахъ. Этотъ сложный, но въ высшей степени цѣльный образъ представленъ у Писемскаго многочисленными фигурами, и постоянно въ разсужденіяхъ и дѣйствіяхъ героевъ невольно чувствуется присутствіе авторскаго міросозерцанія и духовно-родственнаго сочувствія.

Заканчивая повѣсть о житейскомъ успѣхѣ одного изъ такихъ мудрецовъ, Писемскій прибавляетъ: «Я вмѣстѣ съ тѣмъ въ лицѣ его порадовался и вообще за русскаго человѣка».

Вопросъ идетъ о *Питерщикѣ*. Предъ нами натура сильная, богато одаренная, таящая въ глубинѣ великую мощь, но и не

малыя страсти. Вѣдь даровитымъ людямъ уравновѣшенная мудрость вообще дается не даромъ и достается также собственнымъ горбомъ, какъ и матеріальное благосостояніе. Въ этомъ полнота крестьянскихъ типовъ у нашего автора и высшій драматическій интересъ. Мы видимъ, какъ ростутъ и развертываются великія народныя силы, какъ онѣ борются и одолѣваютъ безчисленныя препятствія, воздвигнутыя самою жизнью противъ крѣпостного, хотя бы и не зауряднаго человѣка. Но здѣсь же обнаруживается и еще нѣчто другое, помимо несомнѣнно положительныхъ достоинствъ мужика: богатый запасъ стихійной первобытной грубости и даже дикости. Умнѣйшій и талантливѣйшій мужикъ неразрывно связанъ съ исконными порядками и идеалами своей среды. Ни «мудрость,» ни постоянныя сношенія съ болѣе культурнымъ міромъ не могутъ исцѣлить его отъ самыхъ темныхъ умственныхъ предразсудковъ и нерѣдко безпощадно-жестокихъ нравственныхъ понятій.

Онъ прежде всего неисправимый и неуклонно послѣдовательный эгоистъ. Сильный и удачливый, онъ цѣнитъ необычайно высоко силу и удачливость. Къ слабымъ, хотя бы и не по своей винѣ, онъ относится съ невольнымъ пренебреженіемъ. Онъ—совершенное дѣтище упорной жизненной борьбы, закаленный воинъ житейской битвы, и вопросы альтруизма и безкорыстной гуманности играютъ у него самую второстепенную роль. Припомните Макара Григорьева, одного изъ идеальной породы мудрецовъ. Его основной взглядъ на человѣчество—необычайно рѣшительный: мужики—плуты, а баре—или всенепремѣнные враги мужика, или малосмысленный народъ. Тѣ же мысли выражаетъ и Илья Мосѣичъ, въ расказѣ *Батька*; уничтожающая иронія по отношенію къ господамъ и глубокій скептицизмъ на счетъ мужицкихъ добродѣтелей. А Петръ изъ *Плотничьей артели* прямо въ глаза барину заявляетъ свое недовѣріе къ его хозяйственному смыслу и въ то же время рекомендуетъ почаще пускать въ ходъ «палку-понукалку» съ мужиками: «нашъ братъ-мужикъ плутъ; какъ узнаетъ, что въ передкѣ плети нѣтъ, такъ мало того, что не повезетъ, да тебя еще осѣдлаетъ».

Вотъ какую философію создала крѣпостная эпоха у *лучшихъ* людей изъ народа. Правы-ли они? Неужели баре исключительно или непримиримо враждебная сторона противъ мужика, или безнадежно пустые люди? А мужики, въ свою очередь, злокозненные лѣнтяи, вѣчно наклонные къ обману и притворству?

Да, таково оказывается убѣжденіе самыхъ, несомнѣнно, разумныхъ мужиковъ, и отнюдь не міроѣдовъ, и не мѣщанъ въ дворянствѣ, а просто многоопытныхъ житейскихъ мудрецовъ. И если мы вникнемъ въ этотъ взглядъ, онъ окажется вполнѣ естественнымъ и въ общемъ даже справедливымъ.

Въ самомъ дѣлѣ, обратитесь къ тѣмъ же мужикамъ и соберите у нихъ свѣдѣнія о той житейской школѣ, которая воспитала ихъ мудрость.

Первый Макаръ Григорьевъ... Уже будучи почтеннымъ и богатымъ хозяиномъ, онъ едва спасся отъ унизительной экзекуціи за нѣсколько слишкомъ искреннихъ словъ своему барину. Хорошо, барыня поняла всѣ роковыя послѣдствія наказанія для такого мужика, съ самолюбіемъ и чувствомъ личнаго достоинства, и спасла его отъ несмываемаго позора. Макаръ Григорьевъ всю жизнь не можетъ забыть этой услуги, потому что послѣ экзекуціи ему дѣйствительно не быть бы человѣкомъ, ни въ своихъ собственныхъ глазахъ, ни въ чужихъ. Какое же представленіе у него могло остаться о подобномъ баринѣ? Слѣдующій опытъ — «народническія» увлеченія сына стараго барина Павла Вихрова... Мы знаемъ результаты этихъ увлеченій, по истинѣ изумительныя бесѣды юнаго героя съ мужиками на счетъ кислорода и алкоголя... Что могъ подумать Макаръ Григорьевъ при подобныхъ экскурсіяхъ въ народъ? Не имѣлъ ли онъ право, вмѣстѣ съ Петромъ, Ильей Мосѣичемъ пустить въ ходъ весь свой юморъ по поводу такого «умнаго» и «образованнаго» господина и отозваться объ его *дѣйствительномъ* разумѣ съ неменьшимъ пренебреженіемъ, чѣмъ, напримѣръ, тургеневскій кучеръ отзывается о тонко-просвѣщенномъ Пѣночкинѣ, Хорь полагаетъ о своемъ баринѣ, а Овсянниковъ прямо издѣвается надъ однимъ изъ романтиковъ-народолюбцовъ? Все это явленія, въ сущности, одного порядка: баре, при всей своей великой власти и даже при самыхъ благихъ намѣреніяхъ, не могли внушить ни довѣрія, ни уваженія—ни своимъ «рабамъ», ни своимъ «меньшимъ братьямъ».

Опытъ Макара Григорьева подтверждаетъ и Петръ, могъ бы подтвердить и Илья Мосѣичъ, такъ какъ весь разсказъ *Батька* какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ его неуважительнымъ чувствамъ на счетъ барскаго разумѣнія.

Петру выпала на долю обычная мужицкая драма съ героями— старикомъ отцомъ и молодою мачихой. Кому бы развязать роковой узелъ, какъ не полноправному барину? Но, оказывается, баринъ наѣз-

жаетъ въ деревню рѣдко и потомъ съ нимъ мужики могутъ говорить только въ минуты его счастливыхъ настроеній, а то въ другой часъ «еле ноги уплетутъ!» И Петръ только по счастливой случайности можетъ повѣдать *барынь* свое горе. Но и то не въ пользу: слѣдуетъ барскій гнѣвъ на виновную мачиху, и этимъ ограничивается все личное участіе господина въ судьбѣ своего «подданнаго».

Въ разсказѣ *Батька* такой же раздражительный баринъ, въ теченіе многихъ лѣтъ считаетъ честнѣйшимъ мужикомъ снохача и по его наговорамъ губитъ цѣлую семью. Правда раскрывается слишкомъ поздно, и барину остается только развѣ «сорвать сердце», но не поправить ошибокъ и не возмѣстить зла. А между тѣмъ, и этотъ, и предыдущій баринъ—люди добрые, отнюдь не тираны и не насильники: они только плохо знаютъ мужика и не считаютъ нужнымъ входить въ подробное изслѣдованіе его жизни и его насущныхъ интересовъ. Естественно, у мужика составляется твердое убѣжденіе на счетъ барскаго малосмыслія. Припомните, съ какимъ презрѣніемъ принимаютъ мужики рѣчь Базарова... А вѣдь, Базаровъ умѣлъ говорить съ ними иначе и гораздо лучше, чѣмъ только-что названные господа. Въ результатѣ, когда даже барину вздумается оказать мужику несомнѣнное благодѣяніе, мужикъ встрѣтитъ благородный порывъ недовѣріемъ и даже насмѣшкой. Онъ не привыкъ съ этой стороны ждать чего-либо дѣльнаго, зрѣло обдуманнаго и приспособленнаго къ мужицкимъ нуждамъ на основаніи ближайшаго ознакомленія съ ними. Естественно, Илья Мосѣичъ презираетъ даже барскія книги, барское воспитаніе и противоставляетъ «пустякамъ», тунеядству и нравственной безотвѣтственности барскаго существованія — практичность, дѣловитость и непрестанный тернистый житейскій путь мужика съ дѣтства до глубокой старости.

Теперь, представьте, какъ подобныя отношенія должны вліять на *массу*. У лучшихъ и энергичнѣйшихъ людей они, укореняя чувства недовѣрія и даже презрѣнія, не могутъ подорвать личныхъ силъ; напротивъ, у самолюбиваго и даровитаго мужика непремѣнно явится желаніе *подальше*, по крайней мѣрѣ, фактически,—стать отъ своего барина. И дѣйствительно, наши мудрецы живутъ и дѣйствуютъ особнякомъ, это—большею частью оброчные, стихійно отдѣляющіеся отъ порабощенной и униженной крестьянской толпы. Это *ихъ* оружіе борьбы. Какое же остается у *толпы?*

Единственное исконное прибѣжище слабыхъ—хитрость, обманъ, пассивное сопротивленіе, затаенное желаніе, по возможности, пара-

лизовать разсчеты сильнаго, или, во всякомъ случаѣ, не способствовать имъ. Помѣщикъ—*внѣшняя* и притомъ съ ногъ до головы вооруженная сила, внѣшняя, это въ лучшемъ случаѣ, а чаще — враждебная или фактически, въ формѣ открытаго деспотизма, или нравственно — въ формѣ гадливаго презрѣнія къ «хаму». Послѣднее едва ли не хуже, такъ какъ здѣсь на сцену выступаетъ средостѣніе въ лицѣ «управителя», «бурмистра», т. е. деспота-хама, отвратительнѣйшей разновидности крѣпостнической власти.

Въ первомъ же разсказѣ Писемскаго герой «управитель», бывшій камердинеръ, типичный аристократъ лакейской крови, т. е. озлобленно-презирающій мужика и болѣзненно-зорко оберегающій свое достоинство. Лакей ничего не смыслитъ въ крестьянскомъ обиходѣ, но понимаетъ толкъ въ крестьянскихъ дѣвицахъ, и начинается неограниченное развращеніе захолустнаго дѣвственнаго края. Не случись въ уѣздѣ благороднаго исправника, «управитель» могъ бы до конца дней подвизаться на своемъ поприщѣ.

Его произволъ основанъ, конечно, на барской власти надъ «этимъ народомъ», баринъ для него, слѣдовательно, своего рода провидѣніе, фетишъ, единственный богъ, и, естественно, рабская преданность господину растетъ пропорціонально насиліямъ надъ подданными. Отсюда одинъ изъ любопытнѣйшихъ типовъ старой эпохи, выведенный вполнѣ въ разсказѣ *Старая барыня*.

Разсказъ бывшаго дворецкаго большой госпожи, самовластной и безсмысленно жестокой. Всю жизнь онъ провелъ въ школѣ неудержимаго разгула эгоизма, среди полнаго отупѣнія основныхъ человѣческихъ инстинктовъ, и постепенно именно этотъ разгулъ и тупость усвоилъ, какъ законный порядокъ вещей. Личность госпожи заслонила въ его глазахъ весь жизненный и нравственный горизонтъ, лишила совершенно личной способности видѣть и понимать людей и факты, сдѣлалась для него воплощенной моралью и олицетвореннымъ закономъ. Вышелъ невѣроятный нравственный уродъ... И когда вы слушаете, съ какимъ умиленіемъ старикъ едва не наканунѣ смерти повѣствуетъ о вопіющихъ неправдахъ и жестокостяхъ своей покойной госпожи, вамъ не за человѣка становится страшно, а за цѣлый народъ, выдвигающій изъ своей среды подобныхъ нравственныхъ идіотовъ и подпадающій ихъ безумію. Да, достаточно одного такого явленія, чтобы, безъ всякаго гражданскаго краснорѣчія и чувствительной поэзіи, сознать всю бездну крѣпостническаго зла, всю необъятность его тлетворныхъ вліяній.

Но, къ счастью, самъ же народъ и произноситъ, здѣсь же на мѣстѣ, свой судъ надъ собственными отбросами. Хозяйка постоялаго двора, гдѣ идетъ разсказъ о старой барынѣ, «съ неизмѣнной правдивостью» выводитъ на свѣжую воду сущность барскаго великолѣпія и лакейской вѣрности и необычайно просто, но безпощадно разсѣеваетъ ореолъ, сооружаемый рабомъ. Это чисто инстинктивный голосъ нравственнаго чувства и человѣческой нравственной свободы, и онъ никогда не замолкалъ въ русскомъ народѣ даже подъ гнетомъ «старыхъ барынь».

Мы видимъ, какъ логически могло сложиться міросозерцаніе мудрыхъ людей изъ народа, сколько у нихъ было основаній такъ, а не иначе судить о баринѣ и о мужикѣ. Но всякій отрицательный приговоръ неминуемо возбуждаетъ вопросъ о положительномъ настроеніи, осужденіе произносится во имя чего-либо достойнѣйшаго, однимъ словомъ, во имя какого бы то ни было идеала. Долженъ же онъ существовать и у нашихъ мудрецовъ. Они, столь проницательные въ своемъ пониманіи барской власти и мужицкаго подданства, успѣли навѣрное составить опредѣленное представленіе о *настоящемъ* баринѣ и *добромъ* мужикѣ, и, въ результатѣ, конечно,—объ извѣстномъ *ихъ* удовлетворяющемъ строѣ жизни.

Да, отвѣты на всѣ эти вопросы существуютъ. На счетъ идеальнаго барина мы уже слышали: это ни болѣе, ни менѣе, какъ Костанжогло, отличный хозяинъ, превосходно знающій мужицкій бытъ и строго вникающій въ него, однимъ словомъ, тотъ же умный дѣловитый мужикъ, только распоряжающійся другими мужиками. Такъ характеризуется *настоящій* помѣщикъ въ *Плотничьей артели*, а въ разсказѣ *Фанфаронъ* сообщается, что именно по такомъ баринѣ, когда онъ умеръ, вся деревня обливалась горькими слезами. Такой идеалъ, конечно, могъ возникнуть только въ полномъ соотвѣтствіи вообще съ идеальными запросами дореформеннаго мужика. Авторъ далъ намъ полную возможность проникнуть въ природу и душу лучшихъ сыновъ закрѣпощеннаго народа, и въ то же время намѣтилъ вопросъ о другомъ *хорошемъ* баринѣ, честномъ «пріобрѣтателѣ», хорошемъ не съ мужицкой точки зрѣнія.

Всѣ эти вопросы составляютъ содержаніе драмы *Горькая судьбина*. Драма въ свое время стяжала академическій вѣнокъ: была удостоена уваровской преміи и вызвала восторгъ публики. Популярность ея не прекращается до нашихъ дней. Многіе и знаютъ-то Писемскаго только по этой пьесѣ да еще развѣ по роману *Тысяча душъ*. И драма заслуживаетъ такой чести, не столько

талантливостью,—не менѣе талантливы и другія народническія произведенія Писемскаго,—сколько богатствомъ и значительностью содержанія.

XXIII.

Ананій Яковлевъ—единственная фигура во всей русской народнической литературѣ, по истинѣ эпическая, грандіозная, своего рода король Лиръ мужицкаго царства. У него и рѣчь отмѣнная, простая, народная—съ какимъ-то неуловимымъ оттѣнкомъ своеобразной силы и важности, въ трагическіе моменты—она становится необычайно внушительной, почти величественной. Такъ можетъ говорить человѣкъ, всецѣло проникнутый сознаніемъ своей личности, успѣвшій испытать свою мощь и умъ и стать на исключительную высоту сравнительно съ другими. Это впечатлѣніе сопровождаетъ всѣ сцены, гдѣ является Ананій: съ женой, съ деревенскимъ пьяницей, съ бариномъ, съ властями.

Ананія совершенно, повидимому, не коснулись рабскія вліянія крѣпостного состоянія, у него нѣтъ и намека на безсознательную покорность, онъ рѣшительно не способенъ на униженія, баринъ ему не рисуется въ особомъ свѣтѣ привилегированныхъ правъ на него, какъ крѣпостного. Ананій, среди общаго самоотреченія и безправія, доросъ до понятія о *своемъ* «честномъ имени», о *своемъ* правѣ; за нихъ онъ готовъ пойти на поселенье, не продастъ ихъ ни за какія деньги, отважится на какую угодно борьбу и съ какимъ угодно противникомъ...

Какимъ чудомъ могъ родиться, вырости и даже достигнуть благосостоянія подобный человѣкъ тамъ, гдѣ отъ бурмистра до послѣдняго мужика *всѣ* господскую *волю* считаютъ *закономъ*, страхъ предъ гнѣвомъ барина полагаютъ выше всякой нравственности и справедливости, о чести же, честномъ имени—*ни одинъ* изъ односельчанъ Ананія не имѣетъ даже самаго смутнаго представленія? Даже больше. Бурмистра, какъ истаго выученика рабской школы, приводитъ въ ярость малѣйшій проблескъ свободы и человѣческаго достоинства именно у *мужика*. Онъ, въ столкновеніяхъ съ Ананіемъ, не столько старается заслужить предъ бариномъ, сколько съ исконнымъ хамскимъ инстинктомъ борется за *свои* интересы, за свое рабское самолюбіе. Ананій, весь какъ онъ есть, живой укоръ ему, бурмистру, его подневольной жизни и постыдному сомоуничиженію. Недаромъ бурмистръ непрестанно напоминаетъ Ананію, какъ служили и слѣдуетъ служить господамъ,

какъ онъ, бурмистръ, «нѣмѣлъ и трепеталъ взгляду господскаго». Въ его глазахъ Ананій—нѣчто противоестественное и противозаконное: «султанъ великій», «король—моголъ великій»,—осыпаетъ онъ Ананія саркастическими эпитетами, готовый жизнью и кровью защищать старые рабскіе порядки. Явленіе въ высшей степени любопытное въ психологическомъ и бытовомъ смыслѣ! Самая вопіющая неправда и беззаконнѣйшій строй жизни могутъ съ теченіемъ времени выработать самоотверженныхъ и убѣжденныхъ защитниковъ, своего рода рыцарей, могутъ окончательно извратить человѣческую природу, и она дѣйствительно и вполнѣ искренне будетъ тосковать о «неволѣ и цѣпяхъ» и до глубины души ненавидѣть всякія внѣшнія стремленія къ свободѣ и личному достоинству.

Послушайте, съ какой гордостью, да—именно *съ гордостью* повѣствуетъ бурмистръ о чемъ же? о какихъ-либо подвигахъ отваги и мужества?—нѣтъ, о *трепетѣ* и *нѣмотѣ* предъ однимъ взглядомъ господина, и какъ они, старики, «кажинный часъ ждали и чаяли, что вотъ разразится гроза», столь же безсмысленная, несправедливая, фантастическая, какъ, напримѣръ, удары кнута, которыми пьяный погонщикъ осыпаетъ забитое, ни въ чемъ не повинное, безгласное животное. Гордость положеніемъ, на какое въ баснѣ сѣтуетъ даже оселъ!

И вы чувствуете всю жизненность изображеннаго явленія, и оно говоритъ вамъ о прошломъ злѣ съ неотразимымъ краснорѣчіемъ, вызывая нескончаемую вереницу думъ и воспоминаній. Но въ нашемъ случаѣ оно особенно краснорѣчиво рядомъ съ личностью совершенно не крѣпостническаго закала. Если бурмистръ представляетъ обычный *нормальный* продуктъ крѣпостного права, если во всей деревнѣ мы не видимъ ни одного мужика «инако мыслящаго», тѣмъ замѣчательнѣе фактъ появленія въ этой средѣ Ананія, на рабскій сарказмъ бурмистра держащаго такой отвѣтъ:

«Великій, коли самъ себя знаю!..»

«Самъ себя знаю»,—вѣдь это подлинное, *человѣческое самосознаніе*—тамъ, гдѣ ни жизнь, ни законъ не признаютъ за мужикомъ индивидуальности, его личнаго *я*, слѣдовательно, даже не предполагаютъ возможности такого психологическаго курьеза, какъ «*самъ себя* знаю».

Таковъ герой... Но всякій героизмъ пріобрѣтаетъ цѣну и смыслъ въ зависимости отъ сцены, гдѣ онъ раскрывается. А сценъ для крѣпостного героя можетъ быть великое множество и, если мы

обратимся къ нашему автору, онѣ окажутся въ большинствѣ одинаковыми. Мы знаемъ помѣщиковъ «съ тонкими вкусами», отдѣляющими себя отъ «этого народа» «управителями», знаемъ паничей-идеалистовъ и, наконецъ, идеально-хозяйственныхъ господъ. Разсказъ *Старческій грѣхъ* показываетъ цѣлую галлерею новыхъ фигуръ. Это въ нѣкоторомъ родѣ отрывокъ изъ поѣздки Чичикова, но только у Писемскаго свои собственные герои.

Главный герой разсказа, ищущій по помѣщикамъ денегъ взаймы, пріѣзжаетъ сначала къ маіору Одинцову: это — вѣчно пьяный, безумный любитель танцовальнаго искусства, ежеминутно готовый избить до полусмерти не только подданныхъ, но и всякаго перваго встрѣчнаго. Дальше, личность совершенно другого типа: г. Гавриловъ, несказанно изящный гастрономъ, гостепріимный хозяинъ, тонкій собесѣдникъ. Фигура, повидимому, необычайно пріятная, но самъ авторъ не можетъ сдержать чувства негодованія на джентльмена, таящаго подъ европейской внѣшностью неисчерпаемую бездну эгоизма, разсчетливости, неумолимаго безсердечія. Съ виду благопристойная жизнь выходитъ въ дѣйствительности сплошнымъ «преступленіемъ». Даже американскій плантаторъ симпатичнѣе: тотъ, по крайней мѣрѣ, борется съ природой, иногда съ дикими племенами и звѣрями, а здѣсь сибаритъ, «рабъ лѣнивый ни разу не добылъ своимъ плечикомъ копѣйки», не вступалъ ни въ какую борьбу, а спокойно ѣлъ тонкіе обѣды и копилъ изъ любви къ искусству... Въ заключеніе галлереи помѣщица въ родѣ Коробочки.

Вотъ одинъ изъ уголковъ крѣпостническаго царства. Вообразите Ананія «подданнымъ» у кого-либо изъ подобныхъ господъ, хотя бы даже у лучшихъ среди нихъ—у полковника Вихрова или у героя разсказа *Батька*. Допустили бы они мысль, что мужикъ можетъ *самъ себя знать*,—положимъ, тотъ же полковникъ, отвѣчающій розгами на гораздо болѣе невинное заявленіе Макара Григорьева? А чтобы сдѣлалъ съ Ананіемъ маіоръ Одинцовъ или, еще лучше, г. Гавриловъ? Даже Коробочка навѣрное догадалась бы «подмаслить» исправника или засѣдателя, чтобы смирить «султана великаго».

И для насъ было бы въ высшей степени поучительнымъ зрѣлищемъ видѣть Ананія лицомъ къ лицу съ кѣмъ бы то ни было изъ помѣщиковъ Писемскаго. Совершеннѣйшіе изъ нихъ превосходно *знаютъ себя* и, конечно, это господское самосознаніе менѣе всего способно ужиться съ мужицкимъ. Столкновеніе могло

бы выйти и драматическимъ, и, снова повторяемъ, поучительнымъ. Иной авторъ именно и изобразилъ бы его, вовсе не подъ вліяніемъ либеральной тенденціи. Онъ просто взялъ бы наиболѣе распространенный типъ помѣщика - крѣпостника, среди героевъ самого же Писемскаго, и поставилъ бы рядомъ съ нимъ столь же реальную, хотя и исключительную, личность Ананія.

Но Писемскій уклонился отъ этого вполнѣ естественнаго пріема,— уклонился отнюдь не преднамѣренно: просто человѣческій и писательскій инстинктъ не влекъ его къ особенно яркимъ мотивамъ *общественаго культурнаго содержанія*, а больше къ мотивамъ нравственнымъ и психологическимъ. Въ результатѣ Ананій, какъ крѣпостной, поставленъ въ самыя благопріятныя условія, какія только можно вообразить въ дореформенную эпоху. Но и такой оборотъ, помимо его смысла для авторскаго творчества, не менѣе важенъ и для общественнаго вопроса, какъ бы авторъ ни стоялъ далеко отъ этой задачи.

Молодой помѣщикъ, Чегловъ-Соковинъ до такой степени укрощенъ и сокращенъ, если такъ можно выразиться, въ своей роли барина, что не будь предъ нами произведеніе Писемскаго, можно было бы автора заподозрить въ нѣкоторомъ умыслѣ. По направленію ума, Чегловъ нѣчто въ родѣ Чацкаго: у него тѣ же взгляды на службу, на общество, та же симпатія къ народу. По характеру, нашъ герой еще замѣчательнѣе: нервный, добрый, въ отношеніи «къ мужикамъ плутамъ»—Тентентниковъ, вообще въ жизни— слабый, безвольный юноша, знающій лишь два средства противъ непріятныхъ положеній—водку и истерику. Очевидно, подобный помѣщикъ менѣе всего можетъ представлять какой бы то ни было типъ *крѣпостного барина*, даже вообще барина, и въ его сношеніяхъ и столкновеніяхъ съ мужиками не будетъ, на сколько это зависитъ отъ него лично, ничего крѣпостническаго и просто барскаго. Находитъ же онъ возможнымъ вполнѣ серьезно предложить Ананію дуэль, не смущаясь поднять его до себя, какъ человѣка и какъ члена общества, потому что дуэль, по понятіямъ времени—дѣло исключительно людей свободныхъ и благородныхъ.

Очевидно, слѣдовательно, Чегловъ, *какъ личность*, органически и принципіально *не можетъ быть* повиненъ въ какой бы то ни было несправедливости, насиліи, вообще крѣпостнической неправдѣ, и если въ его жизни возникнетъ драма и съ его личностью сплетется неправда,—вины всему этому слѣдуетъ искать *внѣ* Чеглова какъ человѣка... Гдѣ же именно?

Драма складывается у Писемскаго не менѣе любопытно въ общественномъ смыслѣ, чѣмъ характеры главныхъ героевъ.

Ананій является домой послѣ продолжительнаго отсутствія и находитъ въ домѣ ребенка, прижитаго его женой съ бариномъ. Всѣмъ извѣстно, до какой степени исторія крѣпостного права богата донъ-жуанскими подвигами господъ и даже ихъ камердинеровъ, управителей и просто близкихъ людей. Повѣсть о женскомъ позорѣ, несомнѣнно, одна изъ обширнѣйшихъ главъ въ крѣпостническомъ мартирологѣ, и у васъ, при одномъ намекѣ на интригу барина съ крестьянкой, невольно складывается обычное представленіе о подобномъ событіи. Баринъ «приказалъ», староста «свелъ», и все прочее въ томъ же родѣ.

Что же у Писемскаго?

Насильникомъ оказывается вовсе не баринъ, а мужикъ, именно Ананій. За него выдали Лизавету противъ ея желанія, онъ приневолилъ ее быть ему женой, *завѣдомо убѣжденный*, что она не любитъ его: но вѣдь «коли въ церкви Божіей повѣнчаны,—надо жить по закону!» все равно, даже если жена буквально видѣть не можетъ безъ чувства отвращенія своего суженаго. Именно такова участь Лизаветы. Выходитъ,—она жертва мужика-мужа, а не барина-любовника. Опять, слѣдовательно, Чегловъ и въ романической роли чистъ и благороденъ. Тѣмъ болѣе чистъ, что Лизавета на самомъ дѣлѣ любитъ его, еще до замужества, и отдается ему, по влеченію сердца, какъ сдѣлала бы это, «будь она барыня, крестьянка, купчиха, герцогиня, все равно»... Такъ заявляетъ Чегловъ Ананію, и совершенно справедливо.

При такой постановкѣ вопроса является невольный, повидимому, вполнѣ логическій выводъ: въ драмѣ нѣтъ никакой крѣпостнической основы, и Чегловъ могъ и не быть бариномъ Ананія, и Ананій могъ состоять въ какихъ угодно общественныхъ отношеніяхъ къ Чеглову, —событіе нисколько не измѣнилось бы ни по формѣ, ни по содержанію. Въ сущности, предъ нами обыкновенная исторія измѣны жены нелюбимому мужу ради любимаго человѣка. Такое заключеніе долженъ имѣть въ виду и авторъ, старательно устранившій со сцены всѣ признаки обычныхъ крѣпостническихъ любовныхъ исторій и отнявшій у героя барина всѣ характерныя черты и *героя*, и *барина*. И это заключеніе вполнѣ обосновано, насколько вопросъ касается начала, нравственныхъ мотивовъ драмы, но смыслъ ея совершенно мѣняется въ развитіи и катастрофѣ.

Представьте отцомъ ребенка Лизаветы не Чеглова, а кого-либо, не имѣющаго законныхъ правъ вмѣшиваться въ семейную жизнь Ананія и распоряжаться его личностью. Въ худшемъ случаѣ,—Лизавета уѣхала бы съ мужемъ въ Петербургъ и, судя по настроенію Ананія послѣ перваго взрыва гнѣва и обиды и послѣ бесѣды съ священникомъ, жизнь ея врядъ ли стала бы хуже въ Петербургѣ, чѣмъ раньше была въ деревнѣ. Ананій не изъ мелкихъ, мстительныхъ и отъ природы жестокихъ натуръ! При всемъ своемъ громадномъ самолюбіи, онъ находитъ возможнымъ «истерзаючись всѣмъ сердцемъ», «со слезами на очахъ своихъ» просить жену образумиться и жить, «какъ и прочіе добрые люди». Онъ только человѣкъ принципа и глубокой неистребимой любви даже къ женѣ-измѣнницѣ.

Но Чегловъ—отецъ ребенка и, какъ баринъ, можетъ располагать судьбой своего крѣпостного. Онъ самъ, лично, не способенъ на насиліе, но мы уже знакомы съ бурмистромъ, и вотъ ему-то именно предстоитъ съ безпощадной послѣдовательностью осуществить собственно не волю Чеглова, какъ любовника Лизаветы, а Чеглова, какъ барина, точнѣе осуществить священный для крѣпостного раба исконный крѣпостной порядокъ. На сцену выступаетъ, слѣдовательно, извѣстный *строй жизни*, какъ *стихійная сила*, независимо отъ личностей. Чегловъ самъ по себѣ можетъ быть какимъ угодно хорошимъ человѣкомъ, можетъ лично становиться съ Ананіемъ «на одну доску», можетъ кричать ему о своемъ «трупѣ», какъ искупленіи за Лизавету,—*независимо* отъ всего этого и даже *противъ* личныхъ желаній и намѣреній *господина* явятся *рабы*, гораздо глубже его самого проникнутые его правами, настоящіе фанатики-роялисты рядомъ съ гуманнымъ и терпимымъ королемъ. Крѣпостной строй, самъ по себѣ, по своимъ жизненнымъ основамъ, по своему нравственному духу выработалъ *себѣ* слугъ и защитниковъ, себѣ, *какъ принципу*, *устою*, *обычаю*, *закону*, и эти слуги не отступятъ ни шагу отъ своего господина—не отдѣльной личности, а вошедшаго въ ихъ плоть и кровь жизненнаго уклада. Народная мудрость знаетъ это явленіе: «милуетъ царь, да не милуетъ псарь»,—многовѣковая поговорка, сложившаяся на почвѣ именно рабскаго жестокаго усердія въ противовѣсъ высшей снисходительности. Драма *Писемскаго*—одна изъ блестящихъ, и что особенно поучительно, отнюдь не преднамѣренныхъ иллюстрацій этой мудрости.

Кажется, всѣ данныя, чтобы даже изъ столь напряженной

завязки не вышла трагическая катастрофа, до послѣдней степени гуманизированъ и обезличенъ носитель крѣпостнической власти, а между тѣмъ, именно эта-то власть и затягиваетъ узелъ и влечетъ страшный исходъ. Результатъ оказывается самый общественно-тенденціозный, хотя авторъ менѣе всего думалъ и объ общественномъ вопросѣ, и о какой бы то ни было тенденціи. Сдѣлай онъ главнымъ героемъ Золотилова-Пѣночкина въ смягченной формѣ, иной зритель могъ бы сообразить: да, конечно, Золотиловы—отрицательное явленіе и могутъ причинить много зла, но вѣдь не всѣ же русскіе помѣщики Золотиловы, и авторъ, въ сущности, выставилъ въ дурномъ свѣтѣ самое большее развѣ *одинъ изъ типовъ* крѣпостныхъ властителей. А дурные типы вездѣ возможны, и нисколько не подрываютъ самого учрежденія, *всего строя*. Такъ именно разсуждала Екатерина II, считая участь подданныхъ у добрыхъ помѣщиковъ чуть ли не высшимъ блаженствомъ.

Но вотъ является авторъ и выводитъ на сцену несомнѣнно *добраго* помѣщика, даже болѣе чѣмъ добраго,—и результатъ оказывается все-таки самый не блаженный. Кто же виноватъ? Не Чегловъ, конечно, не Ананій и не бурмистръ, а нѣчто, всѣхъ ихъ охватывающее единой темной желѣзной властью, нѣчто, стоящее выше отдѣльныхъ личностей, древній человѣкъ сказалъ бы *судьба*, мы скажемъ проще,—извѣстный строй общественной жизни,—вполнѣ опредѣленный кругъ выработанныхъ этимъ строемъ инстинктовъ, чувствъ, понятій и людей.

Такое заключеніе составляется у *насъ* при чтеніи *Горькой судьбины*, но *мысль автора* въ немъ неповинна, только его творчество—идеально жизненное и правдивое — выдвигаетъ общій истинный смыслъ изображаемыхъ явленій именно потому, что оно жизненно и правдиво. Но мы должны помнить, этотъ *общій смыслъ*—наше пріобрѣтеніе, авторъ къ нему равнодушенъ и даже пожалуй, почувствовалъ бы нѣкоторое смущеніе и недовѣріе, если бы ему изложили *идейныя* соображенія. Потому что, у него есть свой общій взглядъ на народную жизнь и взаимныя отношенія баръ и крестьянъ: это ничто иное, какъ «житейская мудрость» даровитыхъ, здравомыслящихъ, по-своему добрыхъ кулаковъ изъ того и другого лагеря. И при крѣпостномъ правѣ возможны случаи, когда барина горькими слезами оплакиваютъ его подданные и когда эти подданные достигаютъ великихъ практическихъ результатовъ, становятся богачами и живутъ и мыслятъ, «какъ добрые люди». А что касается неправды и злоупотребленій, ихъ

вездѣ не мало, они въ природѣ человѣка и въ законахъ нашей планеты. Недаромъ авторъ одаренъ такой проницательностью на счетъ всего уродливаго и смѣшного, недаромъ онъ безпощадно обнаруживаетъ все это у лучшихъ своихъ героевъ,—Настеньки и Калиновича. Ее, напримѣръ, сравниваетъ съ «тараканомъ въ клюковномъ морсѣ», до такой степени героиня забавна на провинціальномъ балу, въ провинціальномъ костюмѣ, а Калиновича—умнаго, честнаго, даровитаго, сильнаго—считаетъ особенно доступнымъ лести. И, наконецъ, недаромъ въ разсказѣ *Виновата ли она* онъ не оплакиваетъ безвременной кончины идеальнаго юноши: вѣдь «какъ знать, что бы принесла Леониду жизнь, особенно если взять въ разсчетъ его прекрасную, но все-таки странную натуру!..» Странную—въ смыслѣ исключительности по своему идеализму...

Да, авторъ не изъ оптимистовъ и мечтателей—мы это давно знаемъ, и не станетъ возводить на пескѣ красивыхъ сооруженій. Мы только что видѣли, какъ онъ покончилъ съ крѣпостнымъ вопросомъ, самымъ жгучимъ и существеннымъ въ эпоху сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ. Но имъ не ограничивались общественныя задачи дореформенной эпохи: крѣпостничество было только основаніемъ, корнями многовѣтвистаго дерева, и впослѣдствіи, когда преобразователь коснулся корней, онъ неизбѣжно долженъ былъ наложить руку на все дерево, т. е. на весь общественный и бюрократическій строй русской жизни. Съ своей точки зрѣнія это сдѣлалъ и нашъ авторъ. Онъ съ изумительной полнотой изобразилъ отрицательныя явленія чиновничества и общества, и въ результатѣ неизбѣжно у него постепенно вырисовалась положительная картина, т. е. положительный чиновникъ и положительный членъ общества.

Первой задачѣ посвященъ романъ *Тысяча душъ*, напечатанный въ одинъ—1858—годъ съ *Горькой судьбиной*: драма въ *Библіотекѣ для Чтенія*, романъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

XXIV.

Въ русской литературѣ мало найдется произведеній, гдѣ бы важнѣйшее общественное содержаніе развивалось рядомъ съ такимъ глубокимъ, вдумчивымъ и художественнымъ психологическимъ анализомъ, какъ въ *Тысячѣ душъ*. Уже самъ по себѣ герой романа—фигура въ высшей степени любопытная по своему ду-

шевному складу, независимо отъ какихъ бы то ни было драматическихъ положеній. Здѣсь въ біографію одного человѣка заключена вѣчная исторія личнаго таланта въ борьбѣ съ косностью и предразсудками общества. Калиновичъ—своего рода русскій Фигаро, и если героя французской комедіи называли подлиннымъ выразителемъ историческихъ судебъ французскаго третьяго сословія, Калиновичъ, по всей справедливости, долженъ быть признанъ типичнѣйшимъ представителемъ обширнѣйшаго класса русской интеллигенціи, разночиннаго пролетаріата. Калиновичъ, подобно Фигаро, не одинъ разъ принимается излагать повѣсть своей Одиссеи и любитъ—себя, даровитаго, многострадальнаго плебея, сравнивать съ привилегированными баловнями фортуны.

Одиссея совершенно заурядная и въ жизни она никому не бросается въ глаза. Отца Калиновича разорили, когда еще герой нашъ былъ ребенкомъ; виновникъ разоренія рѣшилъ стать благодѣтелемъ и взялъ мальчика къ себѣ—заниматься съ его двумя дѣтьми. Ученики оказываются тупыми и неспособными, за нихъ все дѣлаетъ бѣдный нахлѣбникъ; имъ располагаютъ «какъ вещью», превозносятъ способности богатыхъ идіотовъ, и на каждомъ шагу подвергаютъ его нравственнымъ униженіямъ... Дальше университетъ и почти непрерывная голодовка. Курсъ оконченъ, бездарности, умѣющія забѣгать съ задняго крыльца, получаютъ командировки за границу, а онъ принужденъ порвать со всѣми надеждами и планами, и схоронить себя въ захолустномъ уѣздномъ училищѣ...

Вотъ краткая, но въ высшей степени значительная исторія... Раньше, чѣмъ оцѣнить это значеніе, позвольте напомнить нѣкоторый психологическій пріемъ одного изъ любимѣйшихъ поэтовъ нашего автора. Вы обратили вниманіе, какимъ путемъ Шекспиръ создаетъ злодѣевъ, въ родѣ Яго, Ричарда III, Эдмунда, личностей, на первый взглядъ едва вѣроятныхъ, мелодраматическихъ? И они у Шиллера, напримѣръ, именно таковыми и вышли бы, у англійскаго драматурга ихъ душа—безусловно жизненное и логическое явленіе. И основа его самая простая и естественная. Она слагается изъ двухъ фактовъ: чрезвычайно развитого личнаго убѣжденія въ личныхъ достоинствахъ и преимуществахъ надъ другими и полнаго несоотвѣтствія внѣшняго положенія—собственнаго и другихъ—внутреннимъ даннымъ.

«Я умнѣе его, несравненно талантливѣе, я, слѣдовательно, имѣю всѣ права на почести и на всякія другія блага; онъ глу-

пецъ, трусъ, бездарность, и между тѣмъ ему почетъ и слава, а мнѣ—скромнѣйшій удѣлъ смертнаго. Гдѣ же справедливость?»

Это—всѣмъ доступная и отнюдь не преступная логика, но прибавьте къ ней страстный, стихійный темпераментъ, бросьте оскорбленнаго эгоиста въ горнило безъисходной трагической борьбы, поставьте мощный характеръ лицомъ къ лицу съ людьми слабыми или наивными, и предъ вами столь же логически развернутся драмы Отелло, Глостера, беззащитныхъ англійскихъ принцевъ и принцессъ. Шекспиръ всегда съ самаго начала заставляетъ своихъ героевъ *лично* объяснять намъ свое положеніе въ окружающей средѣ, и оно, послѣ признаній Ричарда и Эдмунда, несчастливцевъ, заклейменныхъ самой природой, послѣ рѣчей Яго, обстоятельствами и людьми заслоненнаго и униженнаго,—оказывается таковымъ, что иного исхода, кромѣ борьбы на жизнь и смерть, для этихъ героевъ нѣтъ.

Мы далеки, конечно, отъ мысли приравнивать героя Писемскаго къ гигантскимъ фигурамъ Шекспира, но вопросъ не въ трагическомъ размахѣ, а въ психологической сущности. А эта сущность у Калиновича объясняется съ совершенной точностью имъ самимъ: она ничто иное, какъ сознаніе *личныхъ духовныхъ преимуществъ и унизительнаго общественнаго положенія*. Сильный характеръ неизбѣжно ожесточается при такихъ условіяхъ и голосу совѣсти грозитъ сильнѣйшая опасность...

Вотъ какой сценой заканчивается автобіографическій разсказъ Калиновича.

«Грустно и тошно становится», почти воскликнулъ Калиновичъ, ударивъ себя въ грудь.—«Наконецъ злоба беретъ, когда оглянешься на свое прошедшее: хоть бы одна осуществившаяся надежда! Неблагодарные труды и вѣчныя лишенія—вотъ все, что дала мнѣ жизнь!.. Какъ хотите, съ какимъ бы человѣкъ ни былъ рожденъ овечьимъ характеромъ, невольно начнетъ ожесточаться!» «И вы, Петръ Михайлычъ,—обращается онъ къ отцу Настеньки,—еще часто укоряете меня за безсердечіе! Но, Боже мой! Какъ же я стану питать къ людямъ сожалѣніе, когда большая часть изъ нихъ страдаютъ или потому, что безнравственны, или потому, что дѣлали глупости, наконецъ, лѣнивы, небрежны къ себѣ. Я ни въ чемъ этомъ не виноватъ, и все-таки страдаю... Я хочу и буду вымещать на порочныхъ людяхъ то, что самъ несу безвинно».

«При послѣднихъ словахъ лицо молодого человѣка приняло какое-то ожесточенное выраженіе».

«— Вы совершенно правы въ вашихъ чувствахъ,—сказала Настенька.

«— Я, сударь, не осуждаю васъ, а желаю только, чтобъ Богъ умирилъ ваше сердце, только!—проговорилъ Петръ Михайлычъ».

Да, онъ—эта олицетворенная сердечность и незлобивость, даже онъ, очевидно, считаетъ настроеніе Калиновича законнымъ! Но онъ говоритъ объ «умиреніи сердца»... Легко сказать! Будь Калиновичъ изъ породы галокъ, по выраженію Базарова, его сердце здѣсь же на мѣстѣ и умирилось бы на груди Настеньки. Но вся натура его протестуетъ противъ такого умиренія, онъ нравственно задыхается отъ наплыва неисчерпанныхъ и рвущихся на волю силъ, и это ощущеніе сильнѣе его самого, сильнѣе разсудка, совѣсти, внушеній сердца. И Калиновичу столь же тяжело существовать «въ бѣдной долѣ» прямо физически, какъ орлу сидѣть въ канареечной клѣткѣ. Эта мука силы, не нашедшей приложенія, неосуществленныхъ талантовъ, скованной энергіи—можетъ разрѣшиться и разрѣшается весьма различно, въ зависимости отъ внѣшнихъ побужденій, или просто отъ окружающихъ обстоятельствъ, и въ худшихъ случаяхъ можетъ привести даже къ преступленію, къ вполнѣ отчаянному «вымещенію» накопившейся желчи на первыхъ подвернувшихся подъ руку, все равно, «порочные» ли они или праведные. И именно подобныя явленія должны были Достоевскому на каторгѣ подсказать на первый взглядъ странную мысль: ужъ не лучшія ли силы томятся въ цѣпяхъ и въ тюрьмахъ, заклейменныя преступленіемъ!

Но это исключительно-трагическія случайности, обратимся къ исторіи нашего героя—не преступника.

Первый его подвигъ—романъ съ Настенькой и разлука съ ней. Если вы припомните, съ какой сердечностью и даже поэтичностью изображена эта героиня нашимъ, совершенно не идиллическимъ авторомъ, если вы представите одинокую, опозоренную дѣвушку въ омутѣ житейской борьбы за кусокъ хлѣба, если вы отдадите справедливость ея благороднѣйшимъ душевнымъ и умственнымъ качествамъ и ея беззавѣтной любви,—вы и этотъ подвигъ Калиновича, не обинуясь, назовете преступленіемъ.

Да, преступленіе; но, можетъ быть, еще никогда съ большей справедливостью, чѣмъ здѣсь, нельзя примѣнить извѣстной истины: «понять—значитъ простить», что́ и дѣлаетъ сама Настенька.

Калиновичъ ни на минуту не перестаетъ любить ее, онъ плачетъ, покидая ее, онъ женится на «тысячѣ душъ», будто совер-

шая свои собственные похороны, а потомъ, на верху бурной карьеры, онъ съ юношеской безумной радостью и почти дѣтской беззавѣтной довѣрчивостью склоняетъ свою голову на ея колѣни... Врядъ ли какой-либо самый романтическій любовникъ могъ переживать столь мучительныя и искренне-глубокія потрясенія.

И все-таки, Калиновичъ бросаетъ бѣдную невѣсту ради богатой жены. Всякій пошлякъ и аферистъ способенъ на такое дѣло, но съ одной разницей: пошлякъ и аферистъ продастъ себя съ разсчетомъ на тунеядную веселую жизнь, Калиновичъ идетъ на настоящую безпощадную борьбу съ людьми и самою жизнью, именно совершая свое первое и послѣднее преступленіе. Съ будничной практической точки зрѣнія онъ, несомнѣнно, проигрываетъ: если раньше онъ въ 27 лѣтъ «старообразенъ», теперь за десять лѣтъ борьбы онъ превратится въ совершеннаго старика, успѣетъ измочалить нервы, въ конецъ отравить свою душу, и впасть въ какое-то холодное, длящееся отчаяніе. Онъ—богачъ, «ведетъ почти аскетическій образъ жизни», видный и покровительствуемый чиновникъ, «работаетъ день и ночь» и изнываетъ въ гоненіяхъ на неправды и зло. Очевидно, есть же у этого человѣка нѣчто, ставящее его выше обычныхъ корыстныхъ и сибаритскихъ вожделѣній, бросающее его въ непроглядную пучину приказной кривды и общественной пошлости—во всеоружіи энергіи и таланта.

И замѣтьте, Калиновичъ вовсе не фанатикъ честолюбія и не аскетъ по натурѣ. Онъ умѣетъ цѣнить комфортъ не хуже какого-нибудь князя Ивана и придаетъ этому комфорту тѣмъ больше значенія, чѣмъ неприглядѣе было его дѣтство и молодость. Авторъ особенно рѣзко подчеркиваетъ эпикурейскія наклонности своего героя. Въ Петербургѣ Калиновичъ не можетъ равнодушно смотрѣть на зеркальныя окна роскошныхъ магазиновъ, богатыхъ домовъ, чувство зависти душитъ его при взглядѣ на цвѣты, люстры, канделябры, картины въ золотыхъ рамахъ, блестящіе экипажи. Ему, повидимому, совершенно недоступно философское пренебреженіе къ суетѣ житейской. Онъ, какъ истый, наголодавшійся пролетарій, въ тонкомъ обѣдѣ и прочихъ благахъ роскоши мнитъ найти послѣднее слово земного благополучія.

Но лишь только все это достается ему, немедленно высшіе благородные задатки берутъ верхъ надъ инстинктами, и онъ, едва вкусивъ роскоши, налагаетъ на себя жесточайшій искусъ—неумолимаго труда и рискованной борьбы. Во имя чего же?

Честолюбія? Но его, при извѣстныхъ порядкахъ, можно удовлетворить не только безъ борьбы, но даже и безъ труда. Изображаетъ же Писемскій цѣлый рядъ завѣдомыхъ ничтожествъ и тунеядцевъ на высшихъ ступеняхъ чиновничьей лѣстницы, и мы до точности знаемъ, какъ составлялись самыя блестящія карьеры въ дореформенную эпоху. Калиновичъ, напротивъ, избралъ самый неблагодарный путь, обнаруживая необычайную ретивость въ раскрытіи всевозможныхъ служебныхъ золъ.

Очевидно, что-то помимо честолюбія воодушевляетъ энергію Калиновича, и это именно ставитъ его на недосягаемую высоту среди современнаго ему чиновничества и всего интеллигентнаго общества.

Настенька сравниваетъ Калиновича съ Бѣлавинымъ, добродѣтельнымъ петербургскимъ бариномъ, богачемъ и сибаритомъ, очень благороднымъ въ идеяхъ и рѣчахъ и совершенно равнодушнымъ къ ихъ практическому осуществленію. И вотъ Настенька сопоставляетъ этого праведника, не имѣвшаго ни случая, ни повода согрѣшить, съ Калиновичемъ.

«Я тебѣ узнала цѣну, сравнивъ его съ тобой: ты тоже эгоистъ, но ты живой человѣкъ, ты вѣкъ свой стремишься къ чему-нибудь, страдаешь, ты, наконецъ, чувствуешь къ людямъ и къ ихъ извѣстнымъ убѣжденіямъ либо симпатіи, либо отвращеніе, и сейчасъ же это выразишь въ жизни; а Бѣлавинъ—онъ обо всемъ благородно разсудитъ и дальше не пойдетъ! Ему легко жить на свѣтѣ, потому что онъ тряпка, безъ крови, безъ сердца, съ однимъ только умомъ».

И Калиновичъ выигрываетъ отъ сравненія не только съ благонамѣренными эпикурейцами, а рѣшительно со всѣми и болѣе достойными и самыми яркими представителями дореформенной интеллигенціи. Мы знаемъ этихъ представителей: не Батмановымъ и не Шатиловымъ идти рядомъ съ человѣкомъ, дѣйствительно *убѣжденнымъ* и томящимся жаждой — *осуществить свои* идеи. Сліяніе такихъ качествъ—своего рода чудо для русскаго дѣятеля. Калиновичъ въ письмѣ къ Настенькѣ говоритъ о своей *безпокойной душѣ*. Это не новость,—людей съ безпокойными душами б ы л сколько угодно въ поколѣніи Калиновича, даже и г-да Батмановы предъявляютъ права именно на такую душу, другими словами: на чувство неудовлетворенности дѣйствительностью. Но весь вопросъ *изъ за чего* и *ради чего* безпокоиться и не удовлетворяться? У демоновъ, и даже Рудиныхъ, мы напрасно стали бы искать удовле-

творительнаго и стоющаго отвѣта: демоны и сами себя не понимаютъ и даже считаютъ свою непонимаемость высшимъ знакомъ отличія демонизма, а Рудины не отдаютъ отчета—ни въ цѣляхъ, ни въ средствахъ—своего безпокойства, въ лучшемъ случаѣ это смутная романтическая тоска «прекрасной души». Калиновичъ *знаетъ*, *что* его безпокоитъ и *какимъ путемъ* достигнуть спокойствія.

И знаніе пріобрѣтено личнымъ опытомъ, личной расплатой за нищету, низкое общественное положеніе, за чувство человѣческаго достоинства, за *свои* опредѣленныя убѣжденія. Все это, отнюдь не порочное и не преступное по существу, превращается въ порокъ и преступленіе при извѣстномъ складѣ общественнаго мнѣнія. И Калиновичъ въ своемъ личномъ гнѣвѣ на чиновничьи неправды и общественную косность и малодушіе несетъ чувства громаднаго множества такихъ же безправныхъ и униженныхъ умственныхъ илотовъ. Его «эгоизмъ» и «честолюбіе» поднимаются на высоту общественнаго явленія, потому что на его личномъ примѣрѣ раскрывается многообразная, повседневная, хотя и не всегда такая яркая,—борьба культурной, самосознающей личности съ общественнымъ строемъ, основаннымъ на преданіяхъ и матеріальной силѣ.

Но какимъ же путемъ вести эту борьбу?

Сороковые и пятидесятые годы вопросъ рѣшали обыкновенно такъ: литературной или просвѣтительной дѣятельностью, надо стать писателемъ или учителемъ и постепенно разбудить общественную мысль и нравственную энергію. И дѣйствительно, даровитѣйшіе люди эпохи выполняли эту программу, именно съ сороковыхъ годовъ литература, даже среди провинціальной публики, начала пріобрѣтать общественный и гражданскій смыслъ; по свидѣтельству современника, самое наименованіе «литераторъ», «писатель» слилось съ представленіемъ о дѣятелѣ, на которомъ лежитъ высшая нравственная отвѣтственность *). Отъ самого Писемскаго мы знаемъ, — въ сороковые годы литература служила для провинціальной интеллигенціи единственнымъ источникомъ высшей умственной жизни и благородныхъ настроеній. Не менѣе глубоко интересовалъ молодое поколѣніе эпохи и вопросъ о народномъ просвѣщеніи: объ этомъ свидѣтельствуютъ біографіи всѣхъ извѣстнѣйшихъ современниковъ, начиная съ Тургенева, Грановскаго и Станкевича.

---

*) Анненковъ. *Воспоминанія и очерки*, III, 192.

Предъ Калиновичемъ, слѣдовательно, пути были намѣчены, и онъ въ самомъ дѣлѣ вступаетъ на оба одновременно: становится смотрителемъ уѣзднаго училища и пытается работать въ литературѣ. Но что значило смотрительство для «безпокойной души» нашего героя! Сколько бы силъ и усердія онъ ни прилагалъ къ своей службѣ, она не исчерпала и малой доли его энергіи и даровитости. Еще печальнѣе—опытъ на поприщѣ литературы. Произведеніе начинающаго писателя даже не сочли нужнымъ прочесть и только по счастливой случайности оно могло появиться въ печати. Но даже и не въ этомъ дѣло, а въ извѣстной уже намъ истинѣ: литературѣ въ дореформенной Россіи «не водъ», и Калиновичу первымъ наставленіемъ отъ начальника будетъ — прервать литературные опыты и сношенія съ «этими господами», т. е. писателями: «которые между нами на дурномъ счету»..

Требовалась, очевидно, исключительная нравственная выносливость и художественная талантливость, чтобы проложить дорогу къ литературной славѣ. Страстная натура Калиновича горѣла нетерпѣніемъ и пожирающей жаждой широкой, вліятельной дѣятельности и во всемъ его существѣ успѣло накопиться слишкомъ много боли и желчи, чтобы еще дольше вести ему мелкую, изнурительную борьбу. Онъ рѣшается кончить вопросъ однимъ ударомъ. Представляется случай жениться на богатой, вліятельной и родовитой дѣвушкѣ, и онъ, скрѣпя сердце, съ порывами искренняго отчаянія, идетъ на «подлость»: такъ онъ самъ именуетъ свой поступокъ, и авторъ, конечно, не ради мелодраматическаго эффекта, разсказываетъ жестокія страданія своего героя наканунѣ «подлости» и въ первую брачную ночь... Вѣдь тотъ же авторъ позаботился раньше собрать всѣ предосудительныя черты въ характерѣ Калиновича, но неуклонно и прочно установилъ одинъ фактъ: Калиновичъ становится петербургскитъ чиновникомъ съ искренними, честными принципами, съ подавляющей энергіей, съ самоотверженнымъ стремленіемъ принести пользу государству и обществу. Повидимому, всѣ данныя для успѣха и торжества. Но результатъ оказывается совершенно неожиданный: герой кончаетъ свой путь—разочарованный, разбитый, уничтоженный...

Почему?—вопросъ, не столько важный для исторіи самого героя, сколько для *общаго вывода*, для *общественнаго смысла* изображенныхъ авторомъ явленій. Этотъ смыслъ—ничто иное, какъ послѣднее авторское слово о дореформенномъ порядкѣ вещей во всѣхъ главнѣйшихъ областяхъ русской жизни,—въ администраціи и обществѣ.

XXV.

По поводу Ананія Яковлева мы указали, какъ драмы при крѣпостномъ правѣ создавались не столько отдѣльными личностями, сколько самымъ строемъ дѣйствительности, и личности могли даже обладать извѣстными нравственными совершенствами, и все-таки общій духъ и ходъ жизни неизбѣжно превращалъ однихъ въ жертвы, другихъ—въ насильниковъ.

Тотъ же выводъ вполнѣ подтверждается и судьбой Калиновича, только здѣсь трагическій рокъ не крѣпостное право непосредственно, а высшіе и средніе слои общества.

Калиновичъ до карьеры успѣлъ постарѣть среди униженій и безъисходной злобы на обидчиковъ и горькую судьбу. Пессимистическое настроеніе и больные нервы — такое наслѣдство молодости приноситъ нашъ герой на свое новое поприще. Послѣдній ударъ нервамъ нанесенъ первыми петербургскими впечатлѣніями. Калиновичъ, пріѣхавъ въ столицу, центръ умственной и административной дѣятельности, вдругъ почувствовалъ себя здѣсь совершенно ненужнымъ, еще болѣе ничтожнымъ, чѣмъ въ провинціальномъ салонѣ какой-нибудь аристократки. А между тѣмъ, «великіе» не могли внушить ни малѣйшаго уваженія «ничтожеству». Калиновичъ видитъ, какими средствами достигается оффиціальное величіе, понимаетъ настоящій смыслъ на видъ необычайно серьезной и глубокомысленной чиновничьей суеты, и его новый знакомый, исконный петербуржецъ, Бѣлавинъ подтверждаетъ его отчаянный взглядъ на канцелярское величіе. Бѣлавинъ такъ отзывается о петербургскихъ «юпитерахъ» и ихъ государственной мудрости:

«Все, что, кажется, самаго простого, а тѣмъ болѣе человѣка развитого при другомъ порядкѣ вещей стало бы непремѣнно шокировать, поселять смѣхъ, злобу, досаду, они всѣмъ этимъ безконечно услаждаются. Зная, напримѣръ, очень хорошо, что въ дѣятельности ихъ нѣтъ ничего плодотворнаго, живого, потому что они или скользятъ по поверхности жизни, или гнутъ, ломаютъ ее, они въ то же время великолѣпнѣйшимъ образомъ драпируются въ свою внутреннюю пустоту, думая, что никто этого даже и не подорѣваетъ. Невообразимо, что такое... невообразимо!»

Если такъ возмущенъ Бѣлавинъ, что же могъ чувствовать Калиновичъ, третируемый какъ школьникъ или нищій, взывающій къ казенной благотворительности! Да, нищій, и не только въ гла-

захъ канцелярскихъ громовержцевъ, и наивный мечтатель, и жалкій литераторъ не только для директора департамента, но даже для князя Ивана.

Если бы личныя униженія Калиновича ограничились его молодостью и женитьба обезопасила его въ этомъ отношеніи, тогда, можетъ быть, злоба и жажда мести улеглись бы въ его душѣ. Но бѣдность и «ничтожество» до конца остаются проклятіемъ. Драматическій исходъ карьеры Калиновича неразрывно связанъ съ его личной судьбой—*жениха* и *мужа*. Именно особыми семейными условіями усложняется общественная роль героя, и романъ развивается въ такомъ смыслѣ, что безъ этихъ условій является невозможнымъ служебный разгромъ.

Зачѣмъ авторъ связалъ интригу въ такой узелъ? Не проще ли сдѣлать Калиновича просто жертвой собственнаго слѣпого, хотя и честнаго азарта и внѣшнихъ темныхъ силъ? Мы достаточно подготовлены авторомъ къ самой печальной судьбѣ благороднаго дѣятеля среди высшихъ и низшихъ бюрократовъ дореформенной эпохи...

Но вмѣсто подобнаго плана, предъ нами семейная драма, какъ первоисточникъ всей катастрофы. Княжна Полина, потомъ г-жа Калиновичъ, и ея родственникъ, князь Иванъ,—главнѣйшіе злые геніи, низвергающіе Калиновича.

На первый взглядъ можетъ показаться,—авторъ такимъ пріемомъ придалъ болѣе мелкій характеръ содержанію и смыслу романа, поставивъ во главу угла «семейныя дѣла» своего необыкновеннаго общественнаго дѣятеля. Но впечатлѣніе было бы ошибочно: въ дѣйствительности идея романа становится глубже и шире.

Князь—возлюбленный Полины, ея неограниченный господинъ, и онъ убѣждаетъ ее выйти замужъ именно за Калиновича. Молодой человѣкъ изъ *ихъ круга*, навѣрное, вызвалъ бы нѣкоторыя затрудненія, боязнь,—во всякомъ случаѣ признали бы нужнымъ приготовиться къ возможнымъ осложненіямъ. Не то съ Калиновичемъ.

«Мы, — разсуждаетъ князь, — его беремъ какъ полунагого и голоднаго нищаго на дорогѣ: онъ будетъ всѣмъ намъ обязанъ. Не давъ вамъ ничего, онъ, поневолѣ долженъ будетъ взглянуть на многое съ закрытыми глазами, и если бы даже захотѣлъ ограничить васъ въ чемъ-нибудь, такъ на вашей сторонѣ отнять у него все».

Слѣдовательно, бракъ съ самаго начала выходитъ для Калиновича едва ли не самымъ жестокимъ нравственнымъ униженіемъ. Онъ остается на всю дальнѣйшую жизнь безусловно одинокимъ и притомъ еще съ ежечасной мыслью о нанесенной ему обидѣ. Конечно, «по дѣломъ вору и мука», можетъ сказать иной строгій моралистъ, но только «мука» нашего героя досталась ему не за «дѣла». Князь Иванъ, по крайней мѣрѣ, его бракъ съ Полиной признаетъ поступкомъ совершенно законнымъ и тоску Калиновича по Настенькѣ считаетъ результатомъ «глупаго университетскаго воспитанія», «великолѣпныхъ чувствительныхъ идеекъ». И тотъ же князь не менѣе справедливымъ полагаетъ вовсе не считаться съ настроеніями Калиновича, какъ мужа, не за дѣла, конечно, а за его «нищету», за его общественное безправіе. Вотъ источникъ невыносимой драмы, начавшейся для Калиновича съ перваго же дня брачной жизни, заставившей его искать смерти на пожарѣ немедленно послѣ вѣнчанія.

И съ такой змѣей въ груди онъ долженъ приниматься за самую энергическую и разностороннюю дѣятельность, какая только доступна чиновнику. Естественно, этой энергіи часто сообщается крайнее ожесточеніе и нетерпимость, герой нашъ въ свои служебныя дѣла невольно вноситъ болѣзненный трепетъ отравленной души, безпрестанно утрачиваетъ самообладаніе и не только преслѣдуетъ *зло*, но именно мститъ *злымъ* и притомъ еще месть обставляетъ необычайно шумными драматическими сценами. Предъ нами сплошной крикъ не только благороднаго *дѣятеля*, но и несчастнаго *человѣка*. Калиновичъ здѣсь уподобляется Чацкому, когда у грибоѣдовскаго героя идейное негодованіе сливается съ чувствомъ личной обиды.

Отсюда безпощадная жестокость съ княземъ Иваномъ, стремительныя, трагическія угрозы богачу Четверикову, зятю князя, отсюда истерическій крикъ на статскаго совѣтника Опенкина, когда Калиновичъ отдаетъ оффиціальныя распоряженія, «колотя себя въ грудь».

Но это все *внѣшняя сторона* исторіи, есть другая, болѣе существенная, она касается не эпизодовъ, не сценъ, а самаго смысла и результата дѣятельности Калиновича. Чацкій, оскорбленный Софьей и осмѣянный московскимъ обществомъ, могъ сѣсть въ карету и пуститься на поиски за укромнымъ уголкомъ. Другой вопросъ, конечно, найдется ли такой уголокъ для возмущеннаго духа бѣглеца, но фактъ бѣгства на лицо. Калиновичъ гораздо

несчастнѣе: онъ *не можетъ* и *не хочетъ* спасаться по способу Чацкаго. Онъ, истый плебей, съ дѣтства закаленный въ борьбѣ, въ презрѣніи къ окружающей средѣ и непоколебимомъ чувствѣ самоуваженія, почелъ бы измѣной этому чувству —добровольное отступленіе. Онъ—одинъ въ полѣ воинъ, но именно это-то обстоятельство и взвинчиваетъ его нравственныя силы. Въ сущности, онъ съ самаго начала былъ одинъ, преуспѣвая въ петербургскихъ канцеляріяхъ, а потомъ въ провинціи одиночество стало еще безпросвѣтнѣе и безнадежнѣе.

И въ результатѣ предъ нами единственная въ русской художественной литературѣ картина: даровитѣйшій и безусловно сильный, убѣжденный администраторъ становится лицомъ къ лицу съ бюрократическимъ зломъ и общественной косностью. И замѣтьте, всѣ интересы, отвлеченныя и личныя, сосредоточены у Калиновича на его задачѣ, вопросъ *общаго* успѣха неразрывно переплетается съ *личной* жаждой мести, и такое сліяніе мотивовъ сообщаетъ энергіи героя подавляющую и неистощимую мощь. Правда, по временемъ о героѣ можно сказать, — онъ «слишкомъ зарвался» и ведетъ себя, какъ мелодраматическій персонажъ, но основа личныхъ взрывовъ *чувства* и безпримѣрнаго мужества *идеи* одна и та же, и опрометчивость въ отдѣльныхъ поступкахъ Калиновича-мужа вполнѣ вознаграждается упорной послѣдовательностью во всемъ его поведеніи, какъ администратора.

Это одно. А потомъ, какъ бы неумѣстнымъ ни казалось намъ вмѣшательство личной драмы въ общественную карьеру, оно безусловно логично и практически необходимо именно въ карьерѣ пролетарія-разночинца. Калиновичъ, въ качествѣ таковаго, не могъ выплыть на поверхность безъ многообразныхъ нравственныхъ личныхъ крушеній, не могъ—при извѣстныхъ общественныхъ условіяхъ. Какой-нибудь князь Иванъ могъ миновать эти крушенія, но Калиновичъ съ улицы вступилъ въ салонъ, и долженъ принести немалую жертву за такое передвиженіе. Прямыхъ путей для разночинца и нищаго не существуетъ, или они выпадаютъ на его долю лишь въ самыхъ ничтожныхъ случаяхъ, и онъ, какъ настоящій Фигаро, принужденъ извиваться змѣей и пускать въ ходъ сложнѣйшую и не всегда безупречную политику, чтобы выйти на болѣе или менѣе свѣжій, вольный воздухъ и преодолѣть чисто стихійныя препятствія.

Припомните сцену Калиновича съ граціозной баронессой: онъ даетъ солидную взятку подругѣ вліятельнаго лица,—*кто виноватъ*?

Дальше, онъ обязанъ проиграть въ карты достаточную сумму нѣкоему директору—опять *кто виноватъ*? Наконецъ, вообще, ни его талантъ, ни его искреннее желаніе работать рѣшительно никого не интересуютъ, но счастливая женитьба заставляетъ всѣхъ обратить на него вниманіе,—и здѣсь *кто виноватъ*?

Мы назвали цѣлый рядъ «подлостей», совершенныхъ нашимъ героемъ, онъ и самъ такъ выражается, но кто изъ толпы баронессъ, директоровъ, князей Ивановъ и, наконецъ, изъ вообще петербургскаго общества и чиновничества, начиная съ Бѣлавина, можетъ *по совѣсти* бросить камнемъ въ Калиновича? Если человѣку нужно подняться на гору, и между вершиной и подошвой лежитъ болото, онъ, конечно, можетъ и долженъ замараться въ грязи и тинѣ, но потому, что иного пути, какъ только черезъ грязь, на вершину нѣтъ, и можно сколько угодно возмущаться грязными пятнами на костюмѣ путника, но только это значитъ—рѣшать вопросъ съ конца

И въ результатѣ путь Калиновича—новая и едва ли не самая краснорѣчивая иллюстрація къ дореформеннымъ административнымъ порядкамъ, уже извѣстнымъ намъ изъ другихъ произведеній автора.

Но путь конченъ. Герой на вершинѣ, онъ почти независимый правитель губерніи и имѣетъ дѣло непосредственно съ самимъ обществомъ. До появленія Калиновича оно находилось подъ властью взяточниковъ и ихъ креатуръ, въ родѣ Мишки Трофимова и князя Ивана. Сверху до низу совершались беззаконія и злоупотребленія и ихъ всѣ знали, и Мишка Трофимовъ, величайшій изъ плутовъ, даже самой администраціи заявляетъ о своемъ неограниченномъ вліяніи на всѣхъ и на все. Калиновичъ съ головокружительной и явно безкорыстной энергіей принялся вычищать губернскія конюшни... Не естественно ли лучшимъ и интеллигентнѣйшимъ людямъ примкнуть къ благородному администратору? Вѣдь предъ ними отнюдь не выспренній мечтатель и не романтическій преобразователь, а самый реальный практическій дѣятель: лихоимцевъ онъ замѣняетъ честными людьми, въ конецъ сокращаетъ міроѣдовъ и казнокрадовъ, становится на сторону слабѣйшаго противъ насилія, является рыцаремъ справедливости и законности... Не имѣетъ ли онъ права ожидать отъ общества, если не признательности, то *пониманія* своихъ цѣлей и дѣйствій?

Да, разсуждая логически, но въ дѣйствительности—менѣе всего.

Общество оказывается въ томъ самомъ положеніи относительно

администраціи, въ какомъ мы видѣли крѣпостныхъ мужиковъ относительно своихъ помѣщиковъ. Это положеніе нравственно характеризуется чувствами отчужденности, безсознательнаго недовѣрія, отчасти пренебреженія и въ лучшихъ случаяхъ равнодушія.

«Боюсь данайцевъ и дары приносящихъ»,—вотъ классическая фраза, которую высказываютъ не буквально, конечно, а иносказательно, поступками и намеками, мужики по поводу реформъ юнаго Вихрова и обыватели по поводу дѣятельности Калиновича.

Тамъ, въ деревнѣ, недовѣрчиво и неохотно принимали несомнѣнно, повидимому, благодѣтельныя распоряженія благонамѣреннаго панича, здѣсь никакъ не хотѣли вникнуть въ достоинства новаго административнаго курса. Въ отвѣтъ на замѣну взяточниковъ честными людьми, губернія начинаетъ инсинуировать: «шайку подбираетъ». Насчетъ успѣховъ Калиновича и его ужъ слишкомъ отважныхъ дѣйствій у общественнаго мнѣнія находится лишь одно объясненіе: «Больше всего чай надо полагать, что письмами отъ Хованскаго онъ очень хорошую себѣ рекомендацію дѣлаетъ»... И такъ до конца: будто о каменную стѣну разбиваются всѣ благія намѣренія и спасительныя дѣйствія Калиновича, и даже онъ самъ, весь порывъ и энергія, начинаетъ негодовать и жаловаться. Онъ безмѣрно счастливъ, что неожиданно издалека во тьму его смертной борьбы упалъ лучъ давно знакомаго завѣтнаго свѣта въ лицѣ Настеньки, и онъ съ ней первой изливаетъ накипѣвшую годами обиду и жгучую желчь.

«Про меня тысячи языковъ говорятъ, что я человѣкъ сухой, тиранъ, злодѣй; но отчего же никто не хочетъ во мнѣ замѣтить хоть одной хорошей человѣческой черты, что я никогда не былъ подлецомъ и никогда ни предъ чѣмъ не сгибалъ голову?..»

Легко сказать, общество должно во мгновеніе ока въ чиновникѣ открыть *человѣка* и *гражданина*, послѣ того, какъ оно, въ ряду необозримыхъ поколѣній, видѣло въ чиновникѣ нѣчто совершенно другое. Прислушайтесь къ философіи Мишки Трофимова, въ особенности къ его отзыву о «питерскихъ»,—допустите ли вы, что этотъ Мишка Трофимовъ вдругъ прозрѣетъ и увѣруетъ въ идеально-честнаго питерскаго человѣка въ мундирѣ? Это было бы совершеннымъ чудомъ. Мишку можно запугать, но онъ останется при своемъ твердомъ убѣжденіи: новый вице-губернаторъ, правда, взятокъ не беретъ, но, во-первыхъ, это еще не достовѣрно: видали мы такихъ праведниковъ за спиной секретарей-грѣшниковъ, а потомъ— здѣсь что-то неладно, и весь вопросъ, съ какого конца подойти,

можетъ быть, тонкимъ обѣдомъ или г-жей Пиколовой можно доѣхать страшное начальство. Однимъ словомъ, у Мишки явится сколько угодно соображеній, и ни одно изъ нихъ не будетъ направлено на Калиновича *человѣка* и *не-подлеца*.

И самъ Калиновичъ отлично понимаетъ сущность явленія: *у общества не развито понятіе о чести, о справедливости*, и оно ко всѣмъ людямъ и фактамъ прилагаетъ, разумѣется, только ту мѣрку, какую имѣетъ: мѣрку, созданную среди умственной тьмы, нравственныхъ униженій, административныхъ неправдъ, мѣрку человѣка, выросшаго въ очагѣ исключительно матеріальной борьбы за матеріальную безопасность и спокойствіе.

Но мѣркой, какой бы то ни было, пользуется только дѣятельная часть общества, непосредственно заинтересованная въ перемѣнахъ и переворотахъ на административномъ горизонтѣ. Громадное большинство не имѣетъ непосредственныхъ связей съ властью, и относится къ административнымъ и общественнымъ явленіямъ такъ, какъ, напримѣръ, купецъ города Энска принялъ сообщеніе Петра Михайлыча о литературномъ первенцѣ Калиновича, т. е. совершенно безучастно, съ тупымъ равнодушіемъ: «моя хата съ краю»... Это уже безпросвѣтное провинціальное болото, безслѣдно засасывающее все свѣжее и живое. Оно, конечно, ни на минуту не всколыхнется ради чьихъ бы то ни было человѣческихъ и честныхъ подвиговъ, и именно эта мертвенная неподвижность едва ли еще не тлетворнѣе для всякой благородной энергіи, чѣмъ стихійное недовѣріе и открытая вражда.

Съ такимъ обществомъ пришлось имѣть дѣло Калиновичу... Ни поддержки, ни сочувствія, ни даже вниманія. Только нѣсколько чиновниковъ изъ «университетскихъ» заявили себя на его сторонѣ, но что значилъ восторженный тостъ, теплое слово человѣка, лично не имѣющаго никакой реальной силы, никакихъ общественныхъ и оффиціальныхъ связей! Вся армія Калиновича—два-три такихъ же пролетарія, какъ онъ самъ, а все остальное—или противъ него, или, во всякомъ случаѣ, не съ нимъ.

И вотъ этотъ талантливый, мужественный дѣятель рыдаетъ, «какъ малый ребенокъ», при встрѣчѣ съ покинутой дѣвушкой, взываетъ къ ней съ мольбой: «не оставь меня, другъ мой!»... На верху власти, въ самый разгаръ благородныхъ подвиговъ онъ одинокъ болѣе, чѣмъ когда-либо. И конецъ ясенъ и неотвратимъ. Достаточно малѣйшаго толчка сверху, только намека на враждебное вліяніе, и герой нашъ будетъ свергнутъ и сравненъ съ пра-

хомъ. А такой толчокъ всегда возможенъ, гдѣ существуютъ граціозныя баронессы. Въ результатѣ—самая безнадежная мораль, о какой только могъ подумать авторъ.

Онъ оканчиваетъ романъ далеко не идиллически: свѣтлаго счастья не будетъ Калиновичу и Настенькѣ, теперь его женѣ. И совершенно естественно: счастье съ трудомъ прививается къ растерзаннымъ сердцамъ и многовыстрадавшимъ душамъ. Счастье любитъ дѣвственную почву молодости и идеальныхъ воззрѣній на міръ. Но для насъ еще важнѣе конецъ *не романа* собственно, а общественной, точнѣе—служебной *исторіи* героя и его психологіи—не мужа или любовника, а дѣятеля, исключительно даровитаго и сильнаго администратора.

Здѣсь разгромъ еще болѣе драматическій, чѣмъ въ романѣ. Калиновичъ заканчиваетъ свое поприще *подсудимымъ*, въ глазахъ общества прямо преступникомъ, въ глазахъ другихъ судей, по меньшей мѣрѣ, человѣкомъ подозрительнымъ и безпокойнымъ... Понимаетъ ли авторъ смыслъ факта?

Онъ обнаруживаетъ изумительную жестокую положительность въ романическихъ вопросахъ, можно сказать безпримѣрную въ нашей художественной литературѣ. И жертвой положительности является никто другой, какъ Настенька, явно близкая сердцу автора, безконечно симпатичная, умная, сильная нравственно и практически. И вотъ, этой то героинѣ, единственной въ своемъ родѣ авторъ влагаетъ въ уста самый холодный, прозаическій взглядъ на женскую любовь,—основу всякаго романа и романическаго счастья.

Настенька лично осталась незапятнанной, но отнюдь не по принципу и не по идеальнымъ инстинктамъ, а просто — *не пришлось*. Да, такой смыслъ въ слѣдующей морали:

«Послушай, если когда-нибудь женщина увѣряла или станетъ увѣрять, что вотъ она любила тамъ мужа или любовника, что ли... онъ потомъ умеръ или измѣнилъ ей, а она все-таки продолжала любить его до гроба, повѣрь ты мнѣ, что она или ничего еще въ жизни не испытала, или лжетъ. Всѣ мы имѣемъ не ту способность, что вотъ любить именно одно существо, а просто способны любить или нѣтъ. У одной это чувство больше развито, у другой—меньше, а у третьей и ничего нѣтъ».

Судить о любви прозаичнѣе и даже безпощаднѣе врядъ ли возможно. Авторъ, очевидно, далекъ отъ всякихъ иллюзій и убѣжденъ, что Настенька, при всемъ своемъ умѣ и внѣшнихъ досто-

инствахъ, можетъ быть смѣшна, и при всей честности и сердечности можетъ испытать и первую, и вторую, и даже, пожалуй, третью любовь. Разрѣшать вопросъ досконально не представляетъ интереса, для насъ поучителенъ трезвый и правдивый взглядъ на *поэзію*. Чего же мы должны ждать насчетъ *прозы*, т. е. не романа, а исторіи Калиновича? Какой выводъ логически обязанъ сдѣлать авторъ изъ своего произведенія? Другими словами: гдѣ же спасеніе, если лучшіе и талантливѣйшіе люди кончаютъ такъ печально на самомъ, повидимому, цѣлесообразномъ и вліятельномъ пути къ добру, не на литературномъ, столь скользкомъ и загнанномъ, а на административномъ? При всякой драмѣ у зрителя невольно возникаютъ вопросы: кто виноватъ? Какъ же слѣдовало жить и дѣйствовать, чтобы избѣжать катастрофы?

Такъ и въ нашемъ случаѣ: кто виноватъ?—и отвѣтъ дается ясный и точный въ самомъ романѣ: общество и нѣкіе господа, поддавшіеся, очевидно, на искушенія жены Калиновича и на политику князя Ивана. Слѣдовательно, общій выводъ по существу дѣлится на двѣ части: Калиновича должны были поддержать поставившіе его, а для того имъ надлежало самимъ проникнуться его идеалами справедливости и законности, а потомъ общество обязано было соединиться вокругъ честнаго и дѣльнаго администратора. Но какъ же достигнуть той или другой цѣли?

Мы поставили неизбѣжный и въ то же время для Писемскаго рискованный вопросъ. Чиновники и администраторы не должны брать взятокъ, не увлекаться произволомъ и беззаконіями: это такая азбучная и очевидная истина! И даже не истина, а труизмъ, избитая банальная аксіома. Стоило ли ради нея изображать такую мрачную необъятную перспективу зла и несправедливости? А потомъ, какой смыслъ быть честнымъ и справедливымъ, если, все равно, рано или поздно придется испить чашу Калиновича? Выходить заколдованный кругъ, и только случайно и будто мимоходомъ авторъ наталкивается на его центръ.

Мы видѣли, у Калиновича—единственные сочувственники «университетскіе», слѣдовательно, высшее образованіе—гарантія служебной честности? И два главные героя Писемскаго—Вихровъ и Калиновичъ, благородные чиновники—дѣйствительно воспитанники университета. Потомъ, авторъ называетъ Калиновича «представителемъ молодой администраціи», усвоившей извѣстные административные принципы на «университетскихъ скамейкахъ».

Принципы эти мы знаемъ: «проведеніе безстрастной идеи государства съ отпоромъ всѣхъ домогательствъ сословныхъ и частныхъ»

Такъ рѣшается одна часть вопроса... Но это рѣшеніе самимъ же Калиновичемъ подвергается сильнѣйшему сомнѣнію: герой оказывается безпомощнымъ и разочарованнымъ по винѣ *общества*, лишеннаго понятій о чести и справедливости. Онъ не считаетъ нужнымъ даже вспомнить о своихъ оффиціальныхъ врагахъ, но со всею страстью и гнѣвомъ побѣжденнаго обрушивается на *общественное мнѣніе* и именно его клеймитъ предъ Настенькой, сходя со сцены. Мы, слѣдовательно, пришли къ первоисточнику, точнѣе, къ первой глубочайшей основѣ—паденія людей честныхъ и торжества беззаконниковъ: нравственная тупость общественной среды, ея полнѣйшая слѣпота въ вопросахъ общаго характера и стадное равнодушіе къ внутреннему смыслу окружающей дѣйствительности. Выводъ непосредственный: въ интересахъ даже «представителей молодой администраціи», долженъ коренным образомъ измѣниться духъ общества, должны возникнуть другіе «представители общественнаго мнѣнія». Это необходимо не только для очищенія административной атмосферы. Мы видѣли, какія опустошенія производятъ въ обществѣ господа Батмановы, Бахтіаровы, Шамиловы, Эльчаниновы, именно потому, что они кажутся *лучшими* въ данной средѣ. Если уровень среды повысится, несомнѣнно, прекратятся и подвиги столичныхъ слетковъ демоническаго или рудинскаго типа. Но какъ повысится этотъ уровень, т. е. кто на своихъ плечахъ вынесетъ достоинство общества?

Мы приходимъ къ вопросу о *положительныхъ герояхъ* Писемскаго, объ его *идеалахъ* въ области ума и нравственности. Они имѣются у всякаго истиннаго художника, хотя онъ можетъ и не съ одинаковымъ искусствомъ изображать «добродѣтельнаго» и «порочнаго» человѣка. Талантъ Писемскаго—преимущественно сатирическій, и естественно его идеальные герои и героини сравнительно блѣдны, но они постоянно присутствуютъ на его сценѣ. Ихъ характеристика ничего не прибавитъ къ нашимъ свѣдѣніямъ о *художественной силѣ* Писемскаго, но только послѣ нея мы сможемъ вполнѣ точно оцѣнить *публицистическое направленіе*, почти безраздѣльно завладѣвшее нашимъ авторомъ съ начала шестидесятыхъ годовъ.

XXVI.

Среди сочиненій Писемскаго существуетъ критическая статья о второй части *Мертвыхъ душъ*. Статья написана въ 1855 году, т. е. въ цвѣтущее время творчества нашего автора. Здѣсь съ

большой проницательностью оцѣненъ талантъ Гоголя въ изображеніи отрицательныхъ явленій и полнѣйшая неудача въ идеальныхъ характерахъ. Эта проницательность не составляла особенной личной заслуги Писемскаго,—свойства гоголевскаго генія были очевидны для всѣхъ его современниковъ, и для насъ любопытны не критическія соображенія автора на счетъ Гоголя, а его общіе художественные взгляды. Мы узнаёмъ, — Писемскій рѣшительный противникъ *напряженности*, т. е. искусственности, приподнятости, «стремленія сказать больше своего пониманія, выразить страсть, которая сердцемъ не пережита—словомъ, создать что-то выше своихъ творческихъ силъ», вообще *сочинительства*, *книжности*. Отсюда логическое требованіе, чтобы писатель слѣдовалъ свободному влеченію своего дарованія и не ставилъ себѣ преднамѣренныхъ задачъ въ какомъ бы то ни было направленіи.

Много лѣтъ спустя, именно въ 1877 году, Писемскій еще энергичнѣе поддерживалъ этотъ взглядъ *) и жестоко напалъ на Гоголя за положительные типы второй части *Мертвыхъ душъ* и за *Переписку*. Всякое проповѣдничество прямо ненавистно художественной натурѣ нашего автора и онъ пытался даже Жоржъ Зандъ, любимую писательницу своей молодости, оправдать отъ подозрѣній на этотъ счетъ. Одновременно Тургеневу по поводу *Нови* Писемскій высказывалъ ту же истину о свободномъ творчествѣ: «художникъ прежде всего долженъ быть объективнымъ и безпристрастнымъ и вовсе не обязанъ писать для услады какихъ-либо партій».

Всѣ эти *теоретическія* заявленія вполнѣ опредѣленны, но дѣло въ томъ, что еще Мефистофелю была извѣстна безплодность и безцѣльность весьма многихъ теорій и, съ другой стороны, мощь живой жизни. Такъ и здѣсь. Писемскій именно въ *Нови* мнилъ видѣть объективность и безпристрастіе, и можно смѣло сказать,— подобное впечатлѣніе—его исключительно личное открытіе. Послѣдній романъ геніальнаго художника переполненъ публицистикой и весьма «напряженными» мотивами. Но даже если бы Писемскій взялъ не *Новь*, а свои собственныя произведенія, онъ могъ бы свободно вычитать въ нихъ не мало положительныхъ и идеальныхъ внушеній публикѣ.

И это—законъ природы. Вполнѣ «объективно» можно воспѣвать развѣ только «трели соловья», «лепетъ», «робкое дыханье»,

*) Въ письмѣ къ проф. Буслаеву, С. Венгеровъ. *О. С.*, стр. 102 etc.

т. е. по энергическому выраженію Пушкина, сочинять «бредни» и «праздно врать», но разъ предметъ авторскаго творчества жизнь мыслящихъ и чувствующихъ существъ, подъ его кистью неизбѣжно появятся и *свѣтъ*, и *тѣни*, обнаружатся его сочувствія и антипатіи, и у читателя непремѣнно останется весьма ясное представленіе объ *идеяхъ* автора, хотя бы и искренне-безпристрастнаго и объективнаго.

Гоголь, конечно, впалъ въ трагикомическое положеніе съ своей Улинькой и съ своимъ Костанжогло, но отнюдь не потому, чтобы самый замыселъ писателя изобразить идеалы представлялъ нѣчто неестественное и фальшивое, а потому что эти изображенія не удались ему практически и по свойству его таланта, а главное, по лихорадочной стремительности во что бы то ни стало, немедленно послѣ Чичиковыхъ и Собакевичей, показать публикѣ добродѣтельнаго русскаго человѣка и прекрасную славянскую женщину. Гоголь всегда смотрѣлъ на свою литературную дѣятельность, какъ на службу отечеству и всегда мечталъ сказать своимъ согражданамъ важное и полезное слово. Необычайно быстрый ростъ славы долженъ былъ еще выше поднять въ писателѣ сознаніе своей писательской нравственной и гражданской отвѣтственности; отсюда болѣзненная страстность къ поученіямъ, проповѣдямъ— словами и образами, отсюда совершенно искреннее убѣжденіе Гоголя, что родина смотритъ на него очами, исполненными ожиданія и надежды...

Что же касается самихъ фигуръ Улиньки и Костанжогло, онѣ дѣйствительно идеалы не только Гоголя, а цѣлаго ряда другихъ писателей одного типа съ великимъ творцомъ *Мертвыхъ душъ*. Мы знаемъ основныя нравственныя черты этого типа, и если бы вы обратились съ запросомъ къ Фонвизину, Крылову, Гончарову на счетъ идеала женщины и гражданина, въ общемъ предъ вами воскресли бы образы именно гоголевскихъ мертворожденныхъ созданій. Все несчастье Гоголя—не сумѣть и не смочь отвлеченное представленіе превратить въ живое, творчески-вдохновенное лицо. Но безконечно добрая сердцемъ и невинная духомъ дѣвица, практически-энергичный и здравомыслящій русскій человѣкъ—все это Софьи, Ольги, Стародумы, Штольцы, и Писемскій, справедливо указывая на *художественные* изъяны гоголевскихъ идеаловъ, самъ раньше воспроизвелъ *нравственную* сущность тѣхъ же идеаловъ въ своихъ положительныхъ герояхъ.

Мы слышали мужицкіе отзывы о *добрыхъ, справедливыхъ, на*

стоящихъ господахъ и хозяевахъ-помѣщикахъ и видѣли, какое невыгодное освѣщеніе получали университетскіе идеологи народолюбцы рядомъ съ почвенными мудрецами дѣйствительности. Подобный контрастъ является у автора и въ другихъ случаяхъ.

Вы знаете безпощадность Писемскаго къ демонамъ и Рудинымъ, но вы не должны думать, будто автору не на комъ и не на чѣмъ успокоить свой возмущенный взоръ. Напротивъ, рядомъ съ Эльчаниновымъ дѣйствуетъ Савелій, «простой и необразованный человѣкъ», рядомъ съ Шамиловымъ «Степочка», съ Калиновичемъ отставной капитанъ, дядя Настеньки, и въ позднѣйшихъ произведеніяхъ, читатели Бѣлинскаго и Ковта, въ родѣ негодяя—донъ-жуана студента Салова, поклонники г-жи Жоржъ-Зандъ—въ родѣ Вихрова, оттѣняются грубыми, непосредственными фигурами первобытныхъ юношей Замина, Петина. Въ *Масонахъ*, докторъ Сверстовъ и капитанъ Звѣревъ «простой, но все-таки поэтическій человѣкъ», заканчиваютъ эту богатую галлерею славныхъ русскихъ людей, добрыхъ малыхъ, сердечныхъ и душевныхъ.

То же самое и среди героинь.

Намъ извѣстна привлекательнѣйшая изъ нихъ Настенька, но привлекательность ея подвергается сильному риску съ того времени, когда героиня начинаетъ утрачивать свою естественную простоту. А происходитъ это, конечно, отъ чтенія книгъ, въ особенности отъ знакомства съ французскимъ языкомъ и французской литературой.

Авторъ довольно подробно изображаетъ новыя настроенія дѣвушки, и здѣсь каждый фактъ представляетъ особый интересъ.

«Все это (французскій языкъ и чтеніе), конечно, образовало и развило ее въ умственномъ отношеніи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильно раздражило ея воображеніе. Она начала жить въ какомъ-то особенномъ мірочкѣ, наполненномъ Гомерами, Орасами, Онѣгиными, героями французской революціи. Любовь женщины она представляла себѣ не иначе, какъ чувствомъ, въ основаніи котораго должно было лежать самоотверженіе, жизнь въ обществѣ мученьемъ, общественный судъ вздоромъ, на который не стоитъ обращать вниманія. Окружавшая ее среда сдѣлалась для нея невыносимою. Добродушный и всегда довольный Петръ Михайловичъ (отецъ) сталъ ее возмущать, особенно, когда кого-нибудь хвалилъ изъ городскихъ, или разсказывалъ какія-нибудь происшествія, случавшіяся въ городѣ, и даже когда онъ съ удовольствіемъ обѣдалъ, словомъ, она начала дѣлаться для себя, для отца и для про-

чихъ домашнихъ какой-то маленькой тиранкой, и съ каждымъ днемъ больше и больше обнаруживать странностей»...

Вотъ что значитъ утратить первобытную простоту! Любопытнѣе всего, что авторъ ограничивается общими замѣчаніями о дурномъ вліяніи на свою героиню чтенія и французскаго языка. Правда, мы дальше узнаемъ, какъ Настенькѣ вдругъ захотѣлось поѣхать верхомъ и непремѣнно галопомъ, притомъ, на «непроѣзженной» лошади. Приключеніе окончилось благополучно, хотя Настенька вернулась «блѣдная» и «вся дрожала». Но всѣ наши старанія уяснить, при чемъ здѣсь книги, были бы совершенно тщетны. Да и нечего намъ доискиваться объясненія: авторъ просто хотѣлъ лишній разъ показать, до какой степени простота ума и непосредственность чувствъ выше такъ называемаго развитія.

Въ виду этого, онъ не менѣе жестоко отзовётся и о другой, столь же симпатичной героинѣ, изъ повѣсти *Бракъ по страсти*. Варвара Александровна во всѣхъ отношеніяхъ безупречна, но ей вдругъ хочется казаться передовою, «развитой» дамой и она принимается курить, да такъ неудачно, что обжигаетъ себѣ губы въ минуты сильныхъ волненій... И здѣсь «развитіе» попало какъ-то странно, окольнымъ путемъ, потому что Варвара Александровна отъ начала до конца не проявляетъ никакихъ другихъ признаковъ эмансипаціи и злотворнаго просвѣщенія.

Обратите вниманіе, всѣ эти частности отмѣчены Писемскимъ въ дореформенную эпоху дѣятельности, когда ему еще не приходилось разсчитываться съ дѣйствительно «развитыми» и «эмансипированными» дѣвицами и дамами. Уже тогда у него противъ Чайльдъ-гарольдовъ и Рудиныхъ стояли «простые и необразованные люди», противъ «развитыхъ» женщинъ—родныя дочери и сестры пушкинской Татьяны, даже еще «скромнѣе» и «проще».

Высшая ступень идеальной женщины, по представленію Писемскаго, Евпраксія—героиня *Взбаламученнаго міра*. Мы знаемъ, отъ самого автора, это—двойникъ его жены, по прозвищу «ледешка», человѣкъ необычайно уравновѣшенный, разсудительный, прямой, честный, безъ капли романтизма и фантазерства, врагъ праздныхъ идей и «пустыхъ словъ».

Всѣ эти достоинства съ особымъ блескомъ обнаружатся на исключительно оживленномъ и идейномъ фонѣ преобразовательнаго десятилѣтія. Рядомъ съ безпокойной молодежью, лихорадочно хватающейся за новыя мысли и преисполненной новыми, часто смутными, но тѣмъ болѣе мучительными и властными идеалами, «ле-

дешка» по истинѣ монументальное явленіе. Она прежде всего *ничего не читаетъ*, ничего знать не хочетъ изъ современныхъ волненій и увлеченій, рѣшительно ничѣмъ не интересуется, разъ это лежитъ за предѣлами ея домашняго благоустройства. И подобныя жены и матери кажутся автору единственной надеждой Россіи! Страна не погибла, пока существуютъ Евпраксіи: такъ провозглашаетъ идеальнѣйшій герой романа—Варегинъ.

Но спасаютъ ли они дѣйствительно, если не «страну», то хотя близкихъ имъ людей, своихъ мужей, дѣтей?

XXVII.

Въ романическихъ исторіяхъ Писемскій повсюду снабжаетъ ролями спасителей и подвижниковъ «простыхъ» людей. Савелій сравнительно съ Эльчаниновымъ—герой и джентльменъ, онъ настоящій рыцарь несчастной Анны Павловны. Предъ нимъ рѣчистый и блестящій Рудинъ теряется, не находитъ словъ, невольно выказываетъ всю свою мелочность, эгоизмъ, нечистую совѣсть, даже недомысліе. Савелій столь же высокъ своей честной простотой, какъ сама Анна Павловна «нравственнымъ инстинктомъ женщины».

Еще эффектнѣе исторія *Богатаго жениха*. Здѣсь «простота» положительнаго героя усилена пропорціонально внѣшнему блеску представителя просвѣщенія. Шамиловъ гораздо «интереснѣе» Эльчанинова, но зато и Степочка неизмѣримо «проще» Савелія, онъ просто глупъ, и въ началѣ является всеобщимъ посмѣшищемъ, но въ результатѣ—его гуманность, его вѣрное и глубокое чувство совершенно уничтожаютъ блескъ и даже человѣческое достоинство умнаго и талантливаго фразёра. Степочка возвышается до самоотверженія, Шамиловъ падаетъ до постыдной рабской роли «мужа своей жены».

Подобное лестное положеніе выпадаетъ на долю и «простымъ» героинямъ: рядомъ съ идеологами, романтиками и другими сложными и непонятными натурами г-жа Масурова изъ повѣсти *Тюфякъ* недосягаемо выше, благороднѣе и разумнѣе Бахтіарова, а она только вѣрная жена, любящая мать, безъ всякихъ выспреннихъ порывовъ и безпокойныхъ идей. То же самое и Вѣра изъ повѣсти *Богатый женихъ*, предшественница Евпраксіи: умная, невозмутимо спокойная и разсудительная, честная и искренняя, она прямо подавляетъ своимъ превосходствомъ вѣчно мятущагося,

безотчетно-фразирующаго и по временамъ жалкаго и малодушнаго «Рудина». Всѣ эти господа требуютъ сверхъестественныхъ пламенныхъ страстей, замышляютъ великіе подвиги и кончаютъ полнымъ упадкомъ нравственныхъ силъ и практическимъ ничтожествомъ. «Простыя» женщины высятся предъ ними, будто памятники неумирающаго классическаго искусства, тѣмъ болѣе прекрасные и жизненные, чѣмъ печальнѣе окружающее разрушеніе...

Да, намѣренія художника не подлежатъ сомнѣнію, точнѣе, не намѣренія, а инстинкты. Онъ безпрестанно говоритъ именно объ *инстинктахъ* своихъ положительныхъ героевъ и героинь, объ ихъ стихійной натурѣ—простой, открытой, честной, часто поэтической, и противоставляетъ ее суетному фальшивому блеску благопріобрѣтенныхъ украшеній. Во всѣхъ дореформенныхъ произведеніяхъ Писемскаго мы не находимъ сильной и доблестной личности, стоящей на уровнѣ современныхъ умственныхъ и идейныхъ теченій. Сила и доблесть будто несовмѣстимы съ идейностью и передовымъ просвѣщеніемъ. Авторъ будто стремится набрать побольше доказательствъ для извѣстной намъ гоголевской истины: «изъ просвѣщенія-то мы все-таки выберемъ то, что погаже; наружность его схватимъ, а его самаго не возьмемъ»...

И естественно—«просвѣщеные» вездѣ и всегда развѣнчиваются и безпощадно унижаются въ пользу «простыхъ».

Таковъ результатъ творчества Писемскаго въ самую раннюю пору. Можно представить, какую форму приметъ это воззрѣніе, когда среди «просвѣщенныхъ» появятся герои, несравненно болѣе притязательные и опасные, чѣмъ Батмановы и Шамиловы, когда, дѣйствительно, на сцену выступитъ вопросъ о преимуществахъ новыхъ идей и традиціонной простоты!

Но на основаніи тѣхъ же произведеній Писемскаго получается и еще одинъ выводъ, въ высшей степени важный. Положимъ «простые и необразованные люди» въ самомъ дѣлѣ достойнѣе и даже практически выше господъ съ тонкимъ европейскимъ просвѣщеніемъ, собственно не съ просвѣщеніемъ, а съ его «внѣшностью», но ограждаютъ ли они русское общество отъ заблужденій и «гадостей»? Въ тѣхъ же романахъ лучшія и умнѣйшія женщины непремѣнно увлекаются не простыми и добрыми малыми, а Бахтіаровыми и Шамиловыми. Мало этого. Узнавъ даже основательно все ничтожество пышныхъ фразёровъ, тѣ же разсудительныя героини не могутъ стряхнуть съ себя самообмана и ро-

коваго очарованія. Г-жа Масурова, достаточно, повидимому, освѣдомленная въ донъ-жуанскихъ предпріятіяхъ Бахтіарова и въ истинномъ смыслѣ его «страданій», не въ силахъ противостать его демоническимъ аллюрамъ и только послѣ вопіющей подлости съ ея братомъ рѣшается порвать съ нимъ знакомство. Еще изумительнѣе участь Вѣры, жертвы Шамилова. Самъ авторъ объясняетъ намъ, какъ умная дѣвушка шагъ за шагомъ проникаетъ въ тайники мелкой натуришки своего героя, и все-таки сердце ея обливается кровью при одной мысли о разлукѣ съ нимъ. Даже идеальная Евпраксія, только послѣ длинныхъ лѣтъ опыта и семейной пытки, усваиваетъ холодный и презрительный взглядъ на своего романтическаго мужа, да и то, кажется, потому, что ея чувству нашелся выходъ въ любви къ дѣтямъ.

Слѣдовательно, при всей несостоятельности блестящихъ героевъ, имъ принадлежитъ первое мѣсто по вліянію и власти даже среди лучшихъ женщинъ, т. е. тамъ, гдѣ авторъ нашъ полагаетъ надежду на будущее своей родины. И этотъ законъ весьма давнишняго происхожденія. Еще пушкинская Татьяна, столь близкая сердцу автора, была загублена московскимъ Чайльдъ-Гарольдомъ, лермонтовская Вѣра, не менѣе симпатичная и поэтическая—безнадежно запутывается въ сѣтяхъ подобнаго же демона. И если бы вы обратились за объясненіями къ самимъ героинямъ, онѣ всѣ единогласно повторили бы отзывы г-жи Масуровой о Бахтіаровѣ: ихъ герои въ ихъ средѣ *выше* другихъ, умнѣе, образованнѣе и «интереснѣе». . И пусть послѣ этого авторъ убѣждаетъ ихъ, что Савеліи, Сверстовы—честнѣе и лучше и что именно они достойны любви! Только развѣ на краю могилы или въ минуты полнаго разгрома нравственной жизни рѣшится Вѣра протянуть руку простѣйшему изъ смертныхъ—Степочкѣ! И она сама будетъ смотрѣть на этотъ поступокъ, какъ на самоубійство...

Въ результатѣ—дилемма: пока противоядіемъ отъ демонизма и рудинства останется «простота и необразованность», до тѣхъ поръ «надежда» Россіи въ непрестанной смертной опасности. Слѣдовательно, или надо противоставить отравѣ болѣе сильнаго противника, или у женщинъ и дѣвушекъ уничтожить нравственнную почву, столь воспріимчивую для столь тлетворнаго яда. Это совершенно логическія заключенія, но для Писемскаго, какъ и всѣ другіе *общіе* выводы, они не существуютъ. Онъ неизмѣнно будетъ стоять за «простоту». А между тѣмъ, вопросъ явно рѣшается съ другого конца—съ «образованія» и «развитія».

Батмановъ и Шамиловъ смѣшны и ничтожны,—но что же можетъ разоблачить ихъ смѣхотворность и ничтожество? Они прикрываются ореоломъ просвѣщенія и высшихъ стремленій: пусть люди поймутъ *настоящее* просвѣщеніе, проникнутся *подлинными* высшими стремленіями, и *эксплуататоры* исчезнутъ, какъ призраки предъ законными *собственниками*. У самихъ благородныхъ, хотя и простыхъ героинь вы не въ состояніи убить жажды чего то другого, помимо «простоты» и «житейской мудрости». Вы не въ силахъ заставить вашу идеальную Татьяну хотя бы въ мечтахъ не уноситься за предѣлы будничной прозы и кухонной суеты. Разъ русская семья выбита изъ домостроевской колеи,—дѣло непоправимо. Да и въ домостроевскомъ царствѣ можетъ напасть нравственная, совершенно невольная истома на какую-нибудь Катерину. Что вы будете дѣлать съ ней? Укажете на Тихона—несомнѣнно «очень простого и необразованнаго» парня, наговорите ей сколько угодно умныхъ вещей, результатъ получится не лучшій, чѣмъ послѣ проповѣдей Кабанихи. Борисъ, все-таки, останется болѣе привлекательнымъ и, главное, *высшимъ* человѣкомъ, чѣмъ законный «простой» мужъ.

Очевидно, не въ «простотѣ» спасеніе. Въ чемъ же? Одна сторона вопроса—романическая—была рѣшена очень давно, когда еще Писемскій былъ студентомъ. Мы видѣли, Невѣдомовъ изъ романа *Люди сороковыхъ годовъ* очень неодобрительно отзывался о нѣкоторыхъ статьяхъ Бѣлинскаго и, несомнѣнно, этому отзыву, съ точки зрѣнія идеальнаго художника должна подлежать рѣчь знаменитаго критика по поводу пушкинской Татьяны. Бѣлинскій, съ большой—на этотъ разъ незаслуженной—благосклонностью отнесся къ Онѣгину, высоко оцѣнилъ и *натуру* героини, но произнесъ безпощадный приговоръ надъ Татьяной, питомицей извѣстной среды, представительницей извѣстной семейной морали. Критикъ изобразилъ всю удручающую пошлость, все рабское лицемѣріе и умственную тупость общества, создающаго мечтательныхъ и въ то же время нравственно безличныхъ дѣвицъ и женъ. Онъ вполнѣ послѣдовательно объяснилъ и «романы», и брачные союзы Татьянъ въ менѣе всего идеальномъ свѣтѣ и показалъ, почему не только Онѣгины, а вообще какіе-угодно «интересные кавалеры» являются истинной моровой язвой въ столичныхъ и провинціальныхъ муравейникахъ. Нѣтъ сознательной мысли, нѣтъ человѣческаго воспитанія, нѣтъ чувства личнаго достоинства и независимости, а только мечты, кукольная дрессировка, томительная, часто подне-

вольная жажда—завоевать мужа—и въ результатѣ мишура сходитъ за золото, комедіантство за героизмъ, пустота за таинственность, и участи именно самыхъ «идеальныхъ» дѣвицъ оказываются наиболѣе трагикомическими.

И такъ останется на всегда въ томъ обществѣ, гдѣ Бахтіаровы и Шамиловы являются единственными яркими представителями ума и образованія, гдѣ дѣвушки и женщины, по натурѣ возвышающіяся надъ общимъ уровнемъ, могутъ остановить свои взоры только на подобныхъ личностяхъ. Измѣнить порядокъ вещей можно лишь однимъ путемъ: воздѣйствуя на общественную культуру и личное умственное развитіе *всѣхъ* — и героевъ, и героинь, т. е. преобразовывая самыя основы идейной жизни и нравственности. Этотъ путь—совершенная противоположность идеаламъ «простоты» и непосредственности, т. е. идетъ въ разрѣзъ съ положительными представленіями Писемскаго о спасеніи отечества. А между тѣмъ, *неизбѣжность* коренныхъ преобразованій именно *общественныхъ* устоевъ наглядно вытекаетъ изъ произведеній нашего автора,—вытекаетъ не благодаря тенденціи, а правдивому, искреннему изображенію дѣйствительности. И тѣмъ поучительнѣе и существеннѣе результатъ!

Но онъ, снова повторяемъ, внѣ *сознательнаго* кругозора писателя, совершенно такъ же, какъ *общій смыслъ Ревизора* и *Мертвыхъ душъ* ускользалъ отъ проницательности ихъ автора Единственное, сознательное цѣлебное средство противъ общественныхъ и чиновничьихъ пороковъ для Гоголя и Писемскаго состоитъ въ *нравственномъ* совершенствованіи отдѣльныхъ *личностей*: въ крѣпостномъ строѣ добрый и справедливый баринъ, въ оффиціальной службѣ—благородный и неподкупный чиновникъ, въ обществѣ—умный и простой человѣкъ, сердечная и простая женщина. А что касается почвы, на которой предстоитъ расцвѣтать этимъ высшимъ растеніямъ, она можетъ оставаться при томъ же составѣ и съ тѣмъ же удобреніемъ. Всё дѣло не въ порядкахъ, не въ стремленіяхъ, даже не въ умахъ, а въ добронравіи, въ чувствахъ, въ инстинктахъ. Такъ проповѣдывалъ Стародумъ, такою же проповѣдью закончилъ свою «службу гражданина» Гоголь, къ ней пришелъ и Писемскій наканунѣ шестидесятыхъ годовъ. Гоголю пришлось выслушать страстное негодованіе Бѣлинскаго, правда необычайно даровитаго и вліятельнаго писателя, но, все-таки отдѣльнаго частнаго дѣятеля, и мы знаемъ, сколько желчи и обиды подняло въ сердцѣ автора *Мертвыхъ душъ* единственное письмо

критика. Геніальный сатирикъ не могъ удержаться — не бросить камнемъ въ противника даже на страницахъ своей великой поэмы, въ минуты, повидимому, христіански-проникновеннаго писательскаго подвига. Что же должно было совершиться съ настроеніемъ другого автора, отнюдь не бравшаго на себя роли смиренія и всепрощенія, и встрѣтившаго противъ себя не одного или нѣсколькихъ писателей, а цѣлое поколѣніе умственныхъ и практическихъ дѣятелей на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ? И притомъ какихъ дѣятелей! Каждымъ нервомъ, каждымъ помышленіемъ стоявшихъ на стражѣ своихъ идей и стремленій.

Мы закончили характеристику дѣятельности Писемскаго въ первый дореформенный періодъ. Онъ заключается 1858 годомъ, самымъ блестящимъ и плодороднымъ за всю жизнь нашего автора. Одновременно появились *Тысяча душъ*, *Горькая судьбина*, *Старческій грѣхъ*—истинно-классическія произведенія всей русской литературы. Авторъ стоялъ на вершинѣ славы и вліянія. Двумя годами раньше онъ былъ посланъ морскимъ министерствомъ въ этнографическую командировку на берега Каспійскаго моря, т. е. попалъ въ число изслѣдователей, которымъ министерство поручало въ это время изученіе быта наименѣе извѣстныхъ мѣстностей Россіи. Результатомъ были *Путевые очерки*, мало содержательные, переполненные не жизненными наблюденіями, а историческими справками, нѣчто въ родѣ позднѣйшаго романа *Масоны*. Очевидно, выборъ министерства оказался не особенно удачнымъ. Болѣе подходящими для Писемскаго явились, несомнѣнно, обязанности редактора *Библіотеки для Чтенія*. Онъ сталъ во главѣ журнала съ 1858 года и оставался до 1863, т. е. въ самый горячій періодъ новаго движенія въ государственной и общественной жизни Россіи. Прославленный писатель обладалъ всѣми средствами заявить открыто свое личное отношеніе къ новымъ людямъ и ихъ задачамъ, и онъ заявилъ болѣе чѣмъ искренно и открыто. Почему—свѣдущіе люди могли не только объяснить, но даже предсказать, съ перваго появленія Писемскаго на литературную сцену.

XXVIII.

Писемскій до 1853 года жилъ въ провинціи, поддерживая связи съ петербургскими и московскими журналами *разнаго* направленія, *Москвитяниномъ* Погодина и *Современникомъ* западнической редакціи. Оба журнала пребывали во взаимной полемикѣ, но междо-

усобица не затрогивала Писемскаго и онъ, на сколько можемъ судить, врядъ ли вообще интересовался ея цѣлями и смысломъ. Въ 1853 году Писемскій пріѣзжаетъ въ Петербургъ, гдѣ уже давно цѣнили его талантъ и встрѣтили какъ драгоцѣннаго сотрудника. Съ первыхъ же словъ гостя петербургскіе литераторы и вообще интеллигенты почувствовали предъ собой человѣка другой планеты, *диковинку*, по выраженію одного изъ нихъ *). Кругомъ рѣяли разныя европейскія идеи, послѣднія слова науки и цивилизаціи, стремительная жажда передового просвѣщенія, восторги предъ западной культурой, часто основательныя свѣдѣнія о европейскихъ литературахъ и порядкахъ, и вдругъ среди всего этого шума, страстныхъ споровъ и увлеченій является человѣкъ, несомнѣнно, замѣчательно умный, тонко наблюдательный, насмѣшливый, блестяще одаренный—и не обнаруживаетъ рѣшительно никакой склонности вступить въ споръ, просто даже заинтересоваться спорными вопросами. Онъ ведетъ себя относительно просвѣщенныхъ петербуржцевъ совершенно какъ его народный философъ Илья Мосѣичъ относительно господъ. Для него петербургская интеллигентная суета такіе же *пустяки*, какъ для Ильи Мосѣича вообще барское образованіе, онъ также ежеминутно преисполненъ ироніи и полуснисходительнаго, полупрезрительнаго чувства къ «господамъ съ тонкими вкусами», и не прочь сразить бойкаго «барчика» загадочной, но ядовитой притчей и жесткимъ русскимъ словцомъ. Иной провинціалъ, попавъ въ столичное общество, всѣми силами старается не ударить лицомъ въ грязь по части просвѣщенія и манеръ, этотъ, напротивъ, находитъ будто особенное удовольствіе бравировать петербургскіе привычки и взгляды и повергать въ смущеніе редакторовъ и писателей провинціальнымъ акцентомъ, до крайности откровенными сужденіями о житейскихъ вопросахъ и о нихъ самихъ, редакторахъ и издателяхъ, яркими отголосками чисто домостроевской мудрости на счетъ женщины, и исконными московскими чувствами на счетъ Петербурга и его цивилизаціи...

И когда же появился такой человѣкъ! Именно въ тотъ моментъ, когда не отвлеченно, не мечтательно, а практически, принципіально была объявлена война подобнымъ отголоскамъ и чувствамъ. И если это новое настроеніе не ощущалось особенно сильно въ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ, ему предстояло все будущее, неудержимый ростъ съ каждымъ годомъ. А между тѣмъ,

---

*) Анненковъ. *А. Ф. Писемскій какъ художникъ и простой человѣкъ.*

припомните изліянія Калиновича по адресу Петербурга: они написаны какъ разъ въ самый разгаръ новыхъ вѣяній, и дышатъ тоской, отчаяніемъ, звучатъ проклятіями. «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate», читаетъ Калиновичъ на въѣздныхъ воротахъ Петербурга—«для честныхъ бѣдняковъ». И судьба героя оправдываетъ эту надпись, и авторъ намѣренно слишкомъ рѣзко и ярко подчеркиваетъ полнѣйшую безнадежность петербургской атмосферы. Это, очевидно, его личный лиризмъ, не допускающій ни единаго просвѣта на сплошномъ мрачномъ фонѣ...

А вѣдь, когда былъ оконченъ романъ, уже въ теченіи трехъ лѣтъ въ петербургскомъ воздухѣ чувствовалась несомнѣнная свѣжесть, нѣчто новое и жизненное и одинъ изъ симптомовъ даже путешествіе самого Писемскаго съ изслѣдовательскими цѣлями. Но все это такъ же мало трогало его крѣпкіе почвенные инстинкты, какъ и чисто-внѣшнія явленія петербургской культуры. Онъ, напротивъ, неизбѣжно становился все дальше отъ живой современности и, конечно, рано или поздно долженъ сознать это, — *онъ*, одинъ изъ популярнѣйшихъ писателей, давно привыкшій и къ славѣ, и къ лести, давно и законно признавшій себя силой! А теперь, являются молодые отважные люди, вооруженные, повидимому, словами съ чужого голоса, и требуютъ во имя «развитія» и «заимствованнаго ума»—безраздѣльнаго вліянія, не обращая вниманія на *художественныя*, *чисто-литературныя* заслуги какого бы то ни было писателя. Издаютъ даже диссертаціи, подрывающія окончательно кредитъ *искусства* и полагающія во главу угла *направленіе*. И во имя чего *направленіе*? Во имя *теорій*, *идей*, не только не почтенныхъ для автора, а стихійно-неспособныхъ проникнуть въ его умъ и душу. Въ результатѣ—совершенно логическое неотвратимое столкновеніе, и оно съ самаго начала будетъ отмѣчено страстностью и нетерпимостью съ обѣихъ сторонъ.

И эта нетерпимость не будетъ даже виной отдѣльныхъ личностей, Писемскаго и застрѣльщиковъ прогрессивнаго лагеря. Столкнутся не люди, даже не партіи, а міросозерцанія, точнѣе *типы* и *психологіи*, искони лежавшія въ основѣ русской культурной исторіи. Московская Русь и петербургская Россія дадутъ другъ другу генеральное сраженіе, и можно ли говорить здѣсь о личныхъ пристрастіяхъ, партійныхъ тенденціяхъ, когда всякое чувство и идея цѣликомъ покрываются стихійными силами?

Въ эпоху реформы среди русскаго общества и въ литературѣ

существовало не мало людей съ тѣмъ же нравственнымъ и національнымъ складомъ натуры, какимъ обладалъ Писемскій. Но вся тяжесть борьбы и ея роковыя послѣдствія выпали на долю нашего автора, именно потому, что онъ возвышался надъ всѣми общественными и литературными пережитками московской старины, онъ оказывался сильнѣйшимъ защитникомъ здраваго смысла и національнаго инстинкта противъ вторженія идей и иноземныхъ вліяній. И онъ долженъ былъ явиться достопамятнѣйшимъ искупленіемъ за всѣ многообразныя покушенія отжившихъ чувствъ и понятій на неотразимо грядущій разумный порядокъ вещей, высшей жертвой въ борьбѣ московской самобытности съ общечеловѣческой культурой.

Борьба открылась *публицистическимъ* произведеніемъ Писемскаго и уже этотъ фактъ указывалъ на характеръ и смыслъ одной изъ любопытнѣйшихъ междоусобицъ, какія когда-либо переживались общественными силами Россіи.

XXIX.

Въ декабрьской книгѣ *Библіотеки для Чтенія* за 1861 годъ появился фельетонъ, подписанный *Старая фельетонная кляча— Никита Безрыловъ*. Фельетонъ не занимаетъ и пяти страницъ, но содержанія въ немъ вполнѣ достаточно, чтобы возбудить у читателей энергическія чувства. Авторъ начинаетъ безобидной болтовней на счетъ столичныхъ удовольствій, потомъ переходитъ къ «невинному и юному человѣчеству» и касается темы, уже разъ затронутой въ *Запискахъ Салатушки*, въ началѣ того же года. Салатушка возмущался, что ему, въ угоду супруги начальника, приходится бывать въ воскресныхъ школахъ и созерцать «этихъ мальчишекъ, мужичье въ чуйкахъ, полушубкахъ, въ дегтярныхъ сапогахъ». Статскому совѣтнику чуть дурно не сдѣлалось...

Но такъ, можетъ быть, и надлежитъ чувствовать г-ну Салатушкѣ; какимъ же чудомъ фельетонистъ *Библіотеки для Чтенія* могъ заговорить въ томъ же самомъ духѣ о тѣхъ же школахъ?

Никиту Безрылова смутило обращеніе учителей съ «разными замарашками-мальчиками и дѣвочками» на *вы*. Онъ увѣренъ,— школьники вовсе не понимаютъ этой вѣжливости и «гораздо лучше учатся у какого-то крикуна-помѣщика и полковыхъ унтеръ-офицеровъ, чѣмъ у самыхъ современныхъ молодыхъ». Вообще— «фактъ великой гуманности» выходилъ очень забавнымъ, также

и «благодѣтельное средство гласности», но въ особенности «ученіе эмансипаціи». Оно фельетонистомъ разъяснялось такъ: «у вашей супруги будетъ, во-первыхъ—вы, мужъ, во-вторыхъ, любимый ею любовникъ, въ-третьихъ, любовникъ, который ее любитъ». Въ заключеніе поднимались на смѣхъ литературные вечера: литераторы до того надоѣли публикѣ, что рѣшили дать представленіе по совершенно особой программѣ. Объявлялось и участіе Писемскаго вмѣстѣ съ презрѣннѣйшимъ литераторомъ Аскоченскимъ: они, будто бы, вступятъ другъ съ другомъ въ задушевную бесѣду, станутъ закусывать соленымъ судакомъ и г. Писемскій обнаружитъ полное пренебреженіе къ другой закускѣ и крѣпкимъ напиткамъ—перечисляются излюбленныя блюда и питія Писемскаго. Никита Безрыловъ, слѣдовательно, не пощадилъ и редактора журнала...

Уже самъ по себѣ фельетонъ былъ очень краснорѣчивъ для современныхъ читателей, необычайно чуткихъ и нервныхъ ко всякой реакціонной или просто скептической нотѣ. Но немедленно воспослѣдовавшая полемика еще яснѣе опредѣлила не только общее положеніе Писемскаго, но и почти всѣ главнѣйшія темы его послѣдующихъ произведеній.

На фельетонъ отвѣчали *Сѣверная Пчела* и *Искра*. Особенной запальчивостью отличилась статья «Искры»—въ настоящее время даже странно читать невѣроятно яростныя нападки не столько на автора фельетона, сколько на самого редактора. Въ сущности, *Искра* и мѣтила въ Писемскаго, справедливо отожествляя его съ Никитой Безрыловымъ. Оказывалось, «никогда еще русское печатное слово не было низводимо до такого позора, до такого поруганія, до какого низвела его *Библіотека для Чтенія*», грязь, пошлость, тупоуміе, «самый жалкій паяцъ», «гнусный, позорный для человѣческаго смысла смѣхъ», «человѣкъ, надѣленный ограниченнымъ умомъ отъ природы, закоснѣвшій въ постоянной лѣни и безпутствѣ», всѣ эти эпитеты казались *Искрѣ* недостаточными для характеристики Никиты Безрылова и журналъ прямо справлялся: «Принадлежитъ ли онъ, Никита Безрыловъ, къ числу рожденныхъ или какъ-нибудь случайно попалъ въ человѣческое общество? Шевелилась ли въ немъ когда-нибудь человѣческая мысль, волновало ли его когда-нибудь и какое-нибудь человѣческое чувство?..»

Въ заключеніе—вина за фельетонъ слагалась всецѣло на Писемскаго и высказывался основной принципъ публицистической литературы шестидесятыхъ годовъ:

«Прошли тѣ времена, когда литературную извѣстность можно было пріобрѣтать ловкой фразой, сладкимъ стихомъ, даже блестящимъ остроуміемъ, даже умѣньемъ сочинять повѣсти и романы. Нынѣ всякому, даже и не учившемуся въ семинаріи, извѣстно, что талантъ, который не имѣетъ искренняго стремленія служить общественному дѣлу, не заслуживаетъ никакого уваженія, а талантъ, употребляющій свои силы на разрушеніе этого дѣла, достоинъ всякаго презрѣнія». И журналъ грозилъ съ этихъ поръ записать имя Писемскаго въ разрядъ Аскоченскихъ...

Угроза далеко не шуточная: *Искра* расходилась въ количествѣ семи тысячъ экземпляровъ, изъ журналовъ только *Современникъ* могъ соперничать съ ней по вліянію и распространенности. А потомъ *Искра* взывала къ столь доступнымъ и несомнѣнно благороднымъ чувствамъ читателей. Ударъ становился вдвойнѣ жестокимъ и неотразимымъ. Писемскій рѣшилъ защищаться.

Въ январѣ появились два «отвѣта»—отъ имени Писемскаго и Никиты Безрылова «своимъ врагамъ». Обѣ статьи не заключали никакихъ оправданій по существу, ничего не доказывали и не объясняли, а въ рѣзкомъ категорическомъ тонѣ осыпали жестокими укоризнами противниковъ. Писемскій ссылался на публику, которой извѣстны его «симпатіи» и «антипатіи» и выражалъ надежду, что его «честное имя» не будетъ почеркнуто въ глазахъ соотечественниковъ взмахомъ пера какихъ то рьяныхъ и неизвѣстныхъ ему, Писемскому, оскорбителей. Никита Безрыловъ шелъ гораздо дальше.

Онъ обвинялъ «враговъ» въ праздныхъ *словоизліяніяхъ*, фразерствѣ, а себя объявлялъ сторонникомъ *дѣла*. «Я радикалъ, а вы—шарлатаны-докторишки: замазавши больному то въ томъ, то въ другомъ мѣстѣ общее разстройство организма, вы увѣряете его, изъ личныхъ вашихъ выгодъ, что онъ уже здоровъ». «И понимаете ли вы,—спрашивалъ авторъ у своихъ противниковъ,—какъ человѣкъ съ нефельетонной душой, не развращенной до тла, въ которомъ осталась еще кровь и сердце, для котораго только одна правда имѣетъ высокую цѣну, какъ онъ долженъ бѣситься, мучиться, терзаться, когда вотъ уже около десяти почти лѣтъ, онъ только и слышитъ около себя слова, слова, слова и ни на вершокъ дѣла?» Дальше удостовѣрялось, что женскую эмансипацію рѣшительно всѣ понимаютъ на одинъ манеръ съ Никитой Безрыловымъ, и если «враги» толкуютъ иначе, то «съ чужого голоса», притомъ «и не понимая еще хорошенько этого голоса». От-

вѣтъ заканчивался откровенными эпитетами, не уступающими выстрѣламъ *Искры*.

Издатели *Искры* не приняли во вниманіе обоюдности оскорбленій и вызвали Писемскаго на дуэль. Тотъ отказался, но не избѣгъ новой, еще горшей обиды. Еженедѣльная газета *Русскій Міръ* объявила, что она вмѣстѣ съ другими литераторами протестуетъ противъ выходокъ *Искры* и будто этотъ протестъ нашелъ сочувствіе у *Современника*. Безтактность совершенно непонятная, такъ какъ въ первомъ фельетонѣ Никита Безрыловъ крайне безцеремонно издѣвался надъ сребролюбіемъ Панаева, мнимой любовью Некрасова къ бѣднымъ и его пристрастіемъ къ картежной прибыльной игрѣ. Остальные члены редакціи еще менѣе могли «сочувствовать» остроумію *Библіотеки для Чтенія*. Они и поспѣшили заявить объ этомъ печатно, т. е. выразили *полное одобреніе* статьѣ *Искры*... Оказалось, два вліятельнѣйшихъ органа печати сошлись въ безпощадномъ презрѣніи къ Писемскому.

Тогда-то нашему автору пришлось пережить впервые жесточайшую душевную муку человѣка, присутствующаго на собственныхъ нравственныхъ похоронахъ, даже больше,—созерцающаго свои униженія и безсильнаго отвѣтить на нихъ, подняться хотя бы даже въ уровень съ своими врагами. На сторонѣ враговъ стояла вся дѣятельная просвѣщенная публика и, по условіямъ времени, вполнѣ была согласна съ мнѣніемъ *Искры* на счетъ чисто-художественнаго дарованія, безполезнаго или даже вреднаго въ дѣлѣ общественнаго развитія. Потомъ на сторонѣ враговъ было и самое просвѣщеніе, часто весьма основательныя знанія и крупные таланты въ областяхъ, совершенно недоступныхъ Писемскому. Наконецъ, у него не оказалось просто *публицистическаго* оружія, сколько-нибудь пригоднаго въ столь запальчивой борьбѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, какіе аргументы приводилъ Никита Безрыловъ противъ «своихъ враговъ»? То, что они! много говорили и мало дѣлали. Но вѣдь кому же было неизвѣстно, что и говорить-то было далеко не безопасно и не просто именно въ то десятилѣтіе, о какомъ писалъ фельетонистъ. *Искру* рѣшительно всѣ слишкомъ хорошо понимали, когда она заявляла о «безчисленныхъ препятствіяхъ, какія новыя идеи встрѣчаютъ при своемъ появленіи въ русскомъ обществѣ». И самъ Писемскій на себѣ лично испыталъ это и даже впослѣдствіи счелъ нужнымъ напомнить о «препятствіяхъ» въ романѣ *Люди сороковыхъ годовъ*. Еще въ 1858 году *слово* «прогрессъ» было запрещено употреблять въ печати, и въ

то самое время, когда писались фельетоны Никиты Безрылова, вопросъ о новомъ цензурномъ уставѣ проходилъ самыя трудныя и тернистыя стадіи. И послѣ этого фельетонистъ находилъ возможнымъ издѣваться надъ «благодѣтельнымъ средствомъ гласности»! Потомъ, фельетонистъ не могъ не знать, съ какими затрудненіями встрѣтилось *дѣло* крестьянской реформы въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, не могъ не знать, что не будь доброй воли царя и энергіи великаго князя Константина Николаевича, врядъ ли бы скоро народная свобода вышла изъ области *словъ* и намѣреній. Если такъ трудно и медленно рождалось *дѣло* тамъ, гдѣ находились и сила, и власть, можно ли было бросать камнемъ въ *печать* и *общество* за ихъ бездѣятельность? Но даже и это оказывалось неправдой: дѣятельность печати, положительная и благотворная въ современныхъ преобразовательныхъ вопросахъ, была признана *оффиціальными* лицами, менѣе всего расположенными къ газетному либерализму. Такіе журналисты и ученые, какъ, напримѣръ, Кавелинъ, могли принести и дѣйствительно принесли существенную пользу, разъясняя спорныя и темныя стороны крестьянскаго быта. Морское министерство, въ лицѣ великаго князя Константина Николаевича, обращалось именно къ литераторамъ, къ печати за помощью въ изученіи русской жизни и основъ болѣе совершенной гражданственности. *Морской Сборникъ*, оффиціальное изданіе, становится самымъ живымъ общественнымъ органомъ, печатаетъ разнообразнѣйшія статьи, начиная съ педагогическихъ *Вопросовъ жизни* Пирогова и кончая полубеллетристическими очерками на важнѣйшія современныя темы. Естественно, остальные органы спѣшатъ обильно черпать изъ этого источника и такимъ путемъ во главѣ общественнаго мнѣнія идетъ *слово*, освященное самой властью.

Морское вѣдомство являлось исключеніемъ, и великій князь отнюдь не находилъ сочувствія въ высшей бюрократіи, но тѣмъ поучительнѣе фактъ, свидѣтельствовавшій о небывалой новой роли печати и гласности. И вдругъ *писатель* ополчается на *гласность*!.. Правда, онъ могъ разумѣть злоупотребленія ею, но что значили эти злоупотребленія *въ 1861 году*, т. е. за четыре года до новаго устава о безцензурной печати? Не достаточно ли было вполнѣ бдительныхъ оффиціальныхъ глазъ для пресѣченія и кары за злоупотребленія и неужели требовалось еще напоминаніе со стороны самой печати о своихъ злокозненныхъ поступкахъ? Такіе, надо полагать, разсудительные и трезвые публицисты, какъ редакторы

Московскихъ Вѣдомостей и *Русскаго Вѣстника*, защищали гласность и свободу печати безъ всякихъ оговорокъ и издѣвательствъ, а писатель-художникъ находилъ нужнымъ отгѣнить грѣхи и пройти молчаніемъ добродѣтели! Даже съ точки зрѣнія абсолютной справедливости и безпристрастія такое дѣйствіе слѣдовало бы признать несправедливымъ и пристрастнымъ. Какъ же на него можно было взглянуть съ точки зрѣнія не партійной, а просто писательской, литературной? Естественно, *Искра* загорѣлась пламенемъ.

То же самое и относительно воскресныхъ школъ.

Самъ же Никита Безрыловъ писалъ: «всякій человѣкъ, по плохому ли темпераменту, по невѣжеству ли своему, но всегда виноватъ въ томъ, что съ нимъ дѣлаютъ». Вотъ эту-то истину отлично сознавали «враги» фельетониста, выступая стѣной на невѣжество народа. Воскресныя школы показались самымъ подходящимъ, по крайней мѣрѣ на первое время, оружіемъ, и надо знать, какой восторгъ они вызвали у всѣхъ классовъ русскаго общества! Салатушка справедливо жалуется на супругу своего начальника: свѣтскія барыни, дѣйствительно, схватились за новую затѣю, какъ за свѣжую моду, и, конечно, немедленно сообщили совершенно серьезному дѣлу комическій и подчасъ недостойный характеръ. Являлись, конечно, и помимо барынь нежелательные элементы... Но, вѣдь, самъ же авторъ выразилъ прекрасную мысль по поводу такихъ явленій: «ко всѣмъ добрымъ начинаніямъ, когда они войдутъ въ силу и моду, какъ къ памятникамъ въ губернскихъ городахъ, всего больше напристанетъ грязи и навозу». И ужъ, конечно, Никита Безрыловъ могъ быть увѣренъ, что помимо его найдутся проницательные наблюдатели за «грязью» воскресныхъ школъ, и писателю нечего было безпокоиться именно въ этомъ направленіи.

Наконецъ, самое тяжелое обвиненіе — на счетъ эмансипаціи...

Если одинъ изъ лучшихъ современниковъ шестидесятыхъ годовъ увлеченіе общества воскресными школами называетъ «неистовымъ», какъ же онъ долженъ бы выразиться объ увлеченіи идеей женской свободы при изображеніи переходныхъ историческихъ эпохъ? Надо всегда помнить, *какъ* и *при какихъ условіяхъ* воспринимается новая мысль.

Здѣсь можетъ быть нѣсколько очень рѣзкихъ оттѣнковъ, въ прямой зависимости отъ историческаго развитія дѣйствительности.

Она—дѣйствительность—можетъ стоять въ двоякомъ отношеніи къ идеѣ: или свободно воспринимать ее, или оказывать ей упорное

непреодолимое сопротивленіе. Сообразно съ этимъ мѣняется и судьба идеи и характеръ идеалистовъ. Гдѣ идея не встрѣчаетъ завѣдомой стихійной вражды, тамъ она не представляетъ какого-либо экстреннаго, чрезвычайнаго явленія и люди, усвоившіе ее, не имѣютъ права на исключительное положеніе, на какой либо героизмъ. Имъ, конечно, приходится бороться, но если они умѣютъ доказать жизненность и настоятельность своей идеи, они могутъ быть увѣрены въ побѣдѣ. Все, слѣдовательно, зависитъ отъ достоинства идеи и силъ идеалистовъ.

Совершенно другая картина тамъ, гдѣ дѣйствительность невосприимчива къ идеямъ только потому, что онѣ—идеи, гдѣ она отстаиваетъ свой status quo просто во имя его самого, а не логики или даже практической пользы. На этой почвѣ идея—своего рода контрабанда, и совершенно мѣняется и ея значеніе, и роль идеалистовъ. Идея начинаетъ высоко цѣниться не по своему положительному достоинству, а потому, что она вообще *идея*, а не *фактъ* окружающей дѣйствительности, т. е. одна крайность вызываетъ другую. Отсюда—неизбѣжныя увлеченія самыми отважными теоріями, часто менѣе всего жизненными и цѣлесообразными,—фантастическія построенія въ противовѣсъ реальной жизни. Достаточно, если то или другое отвлеченное представленіе противорѣчитъ дѣйствительности, уже оно въ силу этого увлекательно, во-первыхъ, потому, что дѣйствительность органически враждебна идеалу, а потомъ она не воспитала у людей здраваго, трезваго и спокойнаго отношенія къ идеаламъ и дискредитировала все реальное и положительное *вообще*, враждуя съ идеальнымъ *безусловно*.

Это одно. Съ другой стороны тамъ, гдѣ идея — контрабанда, всякій ее исповѣдующій невольно выростаетъ въ своихъ и чужихъ глазахъ до героя, до подвижника, и тамъ, гдѣ не умѣютъ опредѣлить дѣйствительной цѣнности идеи, столь же мало умѣютъ оцѣнить и положительныя качества идеалиста.

Въ результатѣ за идеи сходятъ самые легкомысленные и дикіе продукты воображенія и теоретическаго ума, за идеалистовъ — невѣжественнѣйшіе и пустѣйшіе фантазеры, за героевъ—мишурные лицедѣи и вздорные говоруны.

И нигдѣ всѣхъ этихъ прелестей не появлялось и не могло появиться въ такомъ количествѣ, какъ въ затхломъ, застоявшемся воздухѣ дореформенной Россіи, нигдѣ, однимъ словомъ,— «ко всѣмъ добрымъ начинаніямъ» не приставало столько «грязи и навозу», Для «добрыхъ начинаній» и вообще даже самыхъ ра-

зумныхъ идей надо предварительно дорости, надо пройти продолжительный искусъ воспитанія нравственнаго и общественнаго, а кто же проходилъ этотъ искусъ тамъ, гдѣ Костанжогло являлись солью земли, Рудины и Онѣгины — существами высшей породы, Татьяны—идеальными натурами? Уже не малымъ успѣхомъ было появленіе Онѣгиныхъ, т. е. извѣстнаго чувства неудовлетворенности окружающей дѣйствительностью, и особенно Рудиныхъ, т. е. нѣкоторыхъ порывовъ за предѣлы этой дѣйствительности. Это все-таки волны, теченіе, т. е. *движеніе* въ болотномъ царствѣ, и именно въ такомъ смыслѣ Тургеневъ оцѣнилъ Рудина устами Басистова. Писемскій, мы видѣли, не усмотрѣлъ рѣшительно ничего положительнаго и жизненнаго ни въ томъ, ни въ другомъ типѣ. Это — односторонность и несомнѣнный пробѣлъ въ авторскомъ представленіи. Но то же самое останется у Писемскаго и въ эпоху реформъ и позже. Мало этого. Именно *односторонность* онъ признаетъ *правдой* своего позднѣйшаго творчества. Такъ онъ самъ заявитъ совершенно опредѣленно.

Естественно, «эмансипація» должна была доставить Писемскому особенно обильный матеріалъ. Именно въ этой области ненормальная судьба идей и странныя роли идеалистовъ неизбѣжно обнаружились съ особенной яркостью. Если питомцы университетовъ — и русскихъ и заграничныхъ—выпускали изъ своей среды Кисляковыхъ и Ворошиловыхъ, сколькихъ же среди русскихъ дѣвушекъ, искони вѣковъ не знавшихъ ни умственной работы, ни даже настоящей грамотности, и болѣе или менѣе человѣчески-достойнаго положенія, новыя идеи могли прямо сбить съ толку? Вѣдь, у самого автора жоржъ-зандизмъ не поднялся выше понятія о свободной любви, о внѣбрачныхъ удовольствіяхъ, а вѣдь авторъ могъ читать все, что угодно, слушать лекціи, вращаться въ какомъ угодно обществѣ... Какъ же могла представить себѣ жоржъ-зандизмъ какая-нибудь Нина, Мари, Софи—героини Писемскаго — изъ того самаго типа дрессированныхъ куколъ, какой изображалъ Бѣлинскій? Отвѣтъ ни для кого не подлежитъ сомнѣнію, но не для всѣхъ онъ *единственный* отвѣтъ и *единственный* смыслъ «эмансипаціи». Онъ только можетъ имѣть въ виду то, что «пристало» къ движенію, а не само движеніе. Для Никиты Безрылова не существуютъ подобныя тонкости.

Въ заключеніе, онъ, очевидно, разсчитывалъ наповалъ убить своихъ противниковъ, уличивъ ихъ въ плагіатѣ словъ и идей... Но гдѣ разграничить плагіатъ отъ собственности въ исторіи рус-

ской цивилизаціи? Вѣдь и то, что Писемскій столь увѣренно считалъ своимъ, русскимъ достояніемъ, стало таковымъ опять-таки путемъ заимствованія, взято «съ чужого голоса». Ужъ если авторъ «радикалъ», онъ долженъ быть неумолимо послѣдователенъ, и идти вплоть до Аскоченскаго, или даже еще дальше, до московскаго домостроя. Онъ полковыхъ унтеръ-офицеровъ въ качествѣ учителей предпочитаетъ «самымъ современнымъ молодымъ», но, вѣдь, было время, когда грамотный солдатъ или унтеръ-офицеръ, да еще, пожалуй, выученный на службѣ, казался столь же дикимъ явленіемъ, какимъ автору кажется гуманный педагогъ или эмансипированная дама. Онъ съ сочувствіемъ упоминаетъ о благородствѣ военной молодежи первой четверти нашего вѣка, но пусть бы онъ припомнилъ, какъ смотрѣли на эту молодежь въ свое время, на ея идеи и чувства! Именно такъ, какъ авторъ смотритъ на «самыхъ современныхъ молодыхъ» и обвиненія были тѣ же на счетъ заимствованія и «чужого голоса».

Весь вопросъ, слѣдовательно, не въ *заимствованіяхъ*: все русское просвѣщеніе заимствовано, а въ *качествѣ* заимствованнаго. Вотъ на этотъ-то пунктъ и долженъ бы направить вниманіе сатирикъ. Но, мы уже знаемъ, для него не существуетъ оттѣнковъ и ограниченій: ему достаточно общаго *впечатлѣнія* и *сужденіе* готово.

Мы такъ подробно остановились на двухъ статьяхъ Писемскаго потому, что онѣ предвосхищаютъ всю его позднѣйшую литературу. Писемскій, неумолимо послѣдовательный въ сатирѣ надъ дореформенными героями и порядками, остался также вѣренъ себѣ и въ гоненіи на новыхъ людей и не отступилъ ни на шагъ отъ разъ высказанныхъ приговоровъ.

XXX.

Исторія съ *Искрой* произвела потрясающее впечатлѣніе на нервную натуру Писемскаго. Онъ, по словамъ очевидца, «впалъ въ то состояніе изнеможенія, нервнаго упадка силъ, какое находило на него при всякихъ крупныхъ неудачахъ жизни» *). Этому настроенію не суждено окончательно исчезнуть; даже и причины, его вызвавшія, изъ году въ годъ углублялись. Разрывъ Писемскаго съ прогрессивной и вліятельной печатью былъ непоправимъ. Объ уступкахъ со стороны нашего автора не могло быть

*) Анненковъ. *О. с.*

рѣчи; напротивъ, по самой натурѣ, Писемскій могъ только еще выше поднять тонъ и «прать противъ рожна». Въ результатѣ—способность художественнаго творчества быстро понижалась и уступала мѣсто личнымъ изліяніямъ, публицистикѣ самаго крайняго направленія. И скоро самъ писатель призналъ этотъ упадокъ и принялся за въ высшей степени рѣзкія драматическія сатиры.

Но одновременно съ преобразованіемъ авторскаго таланта совершилась не менѣе роковая перемѣна и въ человѣкѣ. Наслѣдственная нервность переходила въ тяжелый недугъ, врожденный скептицизмъ, инстинктивная недовѣрчивость къ человѣчеству, боязнь внѣшнихъ враждебныхъ силъ и болѣзненная чуткость къ ихъ малѣйшему мнимо-злокозненному посягательству—все это, унаслѣдованное еще отъ отца, теперь подъ вліяніемъ вполнѣ реальныхъ публичныхъ преслѣдованій, ненависти и оскорбленій—всѣ эти задатки превратились въ источникъ жестокихъ душевныхъ страданій. Бывали минуты, когда Писемскій могъ чувствовать себя въ положеніи затравленной жертвы, и именно такія минуты наступили послѣ перваго же художественнаго произведенія автора, слѣдовавшаго за журнальной полемикой. Естественно, эти ощущенія на болѣзненной, мучительно-раздраженной почвѣ быстро выросли въ настоящую пытку. Ипохондрія и мнительность развились до крайнихъ предѣловъ, и напрасно Писемскій старался отвести душу въ романахъ и письмахъ, не щадя своихъ противниковъ, напрасно онъ клеймилъ газеты и газетную критику въ письмахъ къ французскому переводчику своихъ романовъ, напрасно не уставалъ развѣнчивать «эмансипацію» и «благодѣтельную гласность»,—глубокій мракъ окутывалъ его душу. По временамъ имъ овладѣвало «полнѣйшее отвращеніе» къ умственной работѣ; такъ онъ самъ выражается, нападала безграничная грызущая тоска, «не уступавшая никакимъ резонамъ»: такъ разсказываетъ Анненковъ.

Въ первое время еще бывали проблески, Писемскому возвращался его юморъ и благодушное настроеніе, но въ началѣ семидесятыхъ годовъ надъ нимъ разразилось жесточайшее несчастье всей его жизни: старшій, любимый сынъ, блестяще одаренный ученый математикъ покончилъ самоубійствомъ, и съ этихъ поръ жалобы Писемскаго на «страшнѣйшую ипохондрію» не прекращаются. Онъ окончательно дряхлѣетъ физически и нравственно, уже въ половинѣ семидесятыхъ годовъ представляетъ «руину» и его безпрестанно обуреваетъ смутный ужасъ предъ воображаемыми катастрофами и бѣдами. Великихъ усилій и безграничной

любви стоило со стороны окружавшихъ вносить жизнь и свѣтъ въ эту страдальческую душу...

При такихъ условіяхъ шла литературная дѣятельность Писемскаго въ эпоху реформъ. Первое произведеніе—романъ *Взбаламученное море*—уже отражаетъ жгучія нравственныя боли, терзавшія автора. Онъ писался въ самый разгаръ полемики, начатъ въ Петербургѣ и оконченъ въ Москвѣ. Полемика вынудила Писемскаго отказаться отъ редакторства, уѣхать изъ Петербурга и пристроиться на первое время къ *Русскому Вѣстнику*, въ качествѣ завѣдующаго беллетристическимъ отдѣломъ. Въ этомъ журналѣ и появился романъ въ 1863 году, годомъ позже *Отцовъ и дѣтей*.

Надъ романомъ въ критикѣ былъ произнесенъ единодушный обвинительный приговоръ, и эпитетъ *Русскаго Слова*.—«взбаламученный романистъ» являлся еще однимъ изъ безобидныхъ среди повальныхъ осужденій и упрековъ. Многія статьи не утратили *историческаго* интереса и до сихъ поръ: въ нихъ прекрасно отразились настроенія и идейныя пристрастія энергичнѣйшихъ людей эпохи. Но собственно *критика* не представляла ни малѣйшаго труда для противниковъ романа. Она просто была подсказана самимъ авторомъ. Послѣднія строки романа въ высшей степени любопытны: онѣ яснѣе всѣхъ критическихъ изслѣдованій и доводовъ характеризуютъ и отношеніе автора къ эпохѣ, и сущность его литературныхъ трудовъ—съ начала шестидесятыхъ годовъ. Нѣкоторыя слова подчеркиваемъ мы.

«Разсказъ нашъ, на сколько было въ немъ *задачи*, конченъ. За *откровенность* нашу, мы напередъ знаемъ, тысячи обвиненій падутъ на нашу голову. Но изъ всѣхъ ихъ мы принимаемъ только одно: пусть насъ уличатъ, что мы *наклеветали* на дѣйствительность!.. Не мы виноваты, что въ быту нашемъ *много* грубаго и чувственнаго, что такъ называемая образованная *толпа* привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не дѣлать, или болтать вздоръ; что не цѣня и не прислушиваясь къ нашей главной народной силѣ—*здравому смыслу* (подчеркиваетъ авторъ), она кидается на первый *фосфорическій свѣтъ*, гдѣ бы и откуда ни мелькнулъ онъ, и дѣтски вѣритъ, что въ немъ вся сила и спасеніе... Трудъ нашъ мы предпринимали вовсе не для образованія ума и сердца *шестнадцатилѣтнихъ читательницъ* и не для услады задорнаго самолюбія разныхъ *слабоголовыхъ юношей*, имъ лучше даже не читать насъ; мы имѣли совершенно иную, чтобы

не сказать *высшую* цѣль и желаемъ *гораздо большаго*: пусть будущій *историкъ* со вниманіемъ и *довѣріемъ* прочтетъ наше сказаніе; мы представляемъ ему *вѣрную*, *хотя и не полную* картину нравовъ нашего времени, и если въ ней не отразилась *вся Россія*, то за то тщательно собрана *вся ея ложь*».

Трудно искреннѣе и наивнѣе оцѣнить свой трудъ!

Прежде всего, такія выраженія—*задача, откровенность*... Да, весь романъ написанъ ради задачи, въ немъ и слѣда нѣтъ той творческой объективности, какую провозглашалъ авторъ въ статьѣ о *Мертвыхъ душахъ*. И не только *задача*, а еще *откровенно* поставленная и еще откровеннѣе выполненная. Въ какомъ направленіи—опять объясняетъ авторъ: *толпа*, *фосфорическій свѣтъ*, *вся ложь*, т. е. опять не то, о чемъ авторъ даже позже романа писалъ проф. Буслаеву: онъ вовсе не «клалъ въ мѣшокъ» всѣхъ жизненныхъ явленій и не предоставлялъ самому читателю «разобрать, что пригодно и что нѣтъ», а самъ раньше отобралъ пригодное отъ непригоднаго, именно *ложь*, по собственному сужденію, отъ *правды*, *фосфорическій свѣтъ* отъ подлиннаго, *толпу* отъ героевъ. И послѣ этого авторъ говоритъ объ *исторіи* и взываетъ къ *довѣрію*!

Мы можемъ не питать ни малѣйшаго сомнѣнія въ искренности и въ чистотѣ намѣреній автора: этого именно и заслуживаетъ Писемскій, но вѣдь представить ложь и фальшивый свѣтъ—значитъ произвести оцѣнку фактовъ и людей съ извѣстной опредѣленной точки зрѣнія—нравственной и даже политической, т. е. ввести въ дѣло *личное пониманіе* наблюдаемой дѣйствительности и притомъ еще отбросить все, что не ложь и не обманчивый блескъ. Очевидно, при такой двойной операціи личнаго *усмотрѣнія* и *выбора* не можетъ быть и рѣчи объ исторіи, и въ словахъ автора *вѣрная*, *хотя и не полная* картина заключается противорѣчіе—и съ точки зрѣнія логики и простого здраваго смысла. *Не полная*, т. е. картина односторонняя, составленная съ выборомъ однѣхъ тѣней—не можетъ быть *вѣрной*. Это не исторія и даже не искусство, а натурализмъ, точнѣе золаизмъ.

Авторъ, слѣдовательно, раньше всѣхъ критиковъ произнесъ приговоръ надъ своимъ произведеніемъ и нѣсколько лѣтъ позже еще прочнѣе установилъ свое сужденіе, заявивъ, что онъ утратилъ эпическое спокойствіе художника и потому взялся за драматическую литературу: пьесы можно писать отрывками, особенно не углубляясь въ психологическую и художественную обработку матеріала.

Это сознаніе не мѣшало Писемскому въ письмѣ къ французскому переводчику его романовъ утверждать, что именно въ романѣ *Взбаламученное море* «обширнѣе», чѣмъ въ прочихъ, «изображена Россія шестидесятыхъ годовъ». Не *ложь*, слѣдовательно, а вообще Россія: такъ думалъ авторъ въ концѣ семидесятыхъ годовъ.

И дѣйствительно, стоитъ прочесть романъ, чтобы оцѣнить дѣйствительную *задачу* Писемскаго. Его односторонность—не обычная партійная тенденція, а всеобъемлющій пессимизмъ и отчаяніе. Онъ одинаково безпощаденъ ко всѣмъ поколѣніямъ и сословіямъ, нигдѣ не видитъ здоровья, свѣта и силы. При утратѣ спокойствія автору трудно рисовать характеры полной, широкой кистью, только нѣкоторыя фигуры вышли болѣе или менѣе живыми типами, прежде всего Евпраксія, отчасти—ея мужъ, главный герой—Баклановъ и Софи—«эмансипированная» дама въ извѣстномъ намъ смыслѣ. Остальные герои и героини—необычайно рѣзкіе силуэты, однотонные и прямолинейные: къ каждому изъ нихъ можно пріурочить самую лаконическую этикетку, выражающую то или другое преимущественно анекдотическое и исключительно-уродливое явленіе «взбаламученной» эпохи.

Баклановъ уже въ началѣ преисполненъ всякихъ мерзостей: въ университетѣ распутный фанфаронъ, въ семьѣ нахальный сынъ, стыдящійся своей матери, въ деревнѣ баричъ—донъ-жуанъ. Это до новыхъ вѣяній. Потомъ, рабъ модной литературы, трусливо обезьянничающій радикаловъ и готовый примазаться къ первому встрѣчному юнцу. Въ общемъ,—фигура пошлая, тщедушная и жалкая, эстетикъ и сибаритъ въ роляхъ политика и народолюбца, по внѣшнему внушенію итальянскую оперу смѣнившій на *Колоколъ*.

Въ этомъ портретѣ, несомнѣнно, много жизненныхъ чертъ и именно потому, что автору легче было справиться съ *отцами*: онъ самъ принадлежалъ къ ихъ поколѣнію. Увлеченіе нѣкоторыхъ *отцовъ* радикализмомъ и политикой, дѣйствительно могло произвести впечатлѣніе фарса и безумія, хотя не одинъ же Баклановъ воплощалъ въ своей личности все поколѣніе! Но здѣсь, по крайней мѣрѣ, предъ нами—отрывокъ изъ жизни. Дальше слѣдуютъ *дѣти*, и—сравните тургеневскихъ нигилистовъ съ героями Писемскаго!

Мы знаемъ, еще Никита Безрыловъ издѣвался надъ «гласностью»; въ романѣ ея представителями будутъ Викторъ Басар-

динъ, совершеннѣйшій негодяй и шантажистъ, и братья Галкины—столь же доблестные, и всѣ они далеко превосходятъ Бакланова жестокостью по отношенію къ отцамъ, въ точномъ смыслѣ слова,—къ своимъ родителямъ. Это, очевидно, неотъемлемый признакъ нигилизма. Потомъ, Никита Безрыловъ уничтожалъ эмансипацію: въ романѣ явится дѣвица Елена, некрасивая, неопрятная, читающая порнографическія произведенія во имя оппозиціи русскому правительству, будто попугай, напичканный новыми словами. Никита Безрыловъ сильно налегалъ на «чужой голосъ»: въ романѣ всѣ герои вообще, а нѣкоторые въ особенности—выученики литературы: «на героя моего ужасно вліяла литература», говорится о Баклановѣ, и тоже можно сказать о Сабакѣевѣ, самомъ юномъ изъ *дѣтей*. Есть и другія фигуры, повидимому, болѣе самостоятельныя, но не менѣе странныя: напримѣръ, семинаристъ Проскриптскій. Онъ простираетъ свой скептицизмъ до того, что даже астрономическія предсказанія считаетъ случайностью и безпрестанно ядовито хихикаетъ.

Это—передовые люди. Одновременно дѣйствуютъ крѣпостники, изъ подъ палки участвующіе въ реформахъ. Чиновники, въ родѣ статскаго совѣтника Салатушки или «молодыхъ генераловъ», впадаютъ въ азартъ, пишутъ проекты, либеральничаютъ сломя голову, горятъ жаждой—«дѣлать преобразованія», о дворянахъ выражаются не иначе, какъ «дрянное сословіе», о мужикахъ «нашъ добрый, умный, честный мужичекъ»... Но все это «фосфорическій свѣтъ».

Тоже и дворяне. Авторъ изображаетъ сцену подписи либеральнаго адреса: никто адресу не сочувствуетъ, но всѣ подписываютъ—одни изъ страха передъ начальствомъ, другіе изъ рабства предъ «модными идейками».

Вообще, куда бы ни оглянулся наблюдатель, всюду одни отрицательныя, часто удручающія явленія. И здѣсь нѣтъ снисхожденія даже освобожденному народу, и онъ вноситъ богатую лепту во всеобщую смуту,—лепту дикости, животныхъ инстинктовъ, злобной мести и неразумія.

Таковы герои; не менѣе эффектна и исторія, т. е. самый разсказъ. Онъ безпрестанно переходитъ въ тонъ запальчивой журнальной статьи, авторъ нерѣдко лично появляется на сцену дѣйствующимъ и разсуждающимъ лицомъ, даже заставляетъ одного изъ героевъ высказывать общее критическое сужденіе о литературной дѣятельности «г-на Писемскаго» и, послѣ такихъ любо-

пытныхъ отступленій, слѣдуетъ замѣчаніе: «перехожу снова къ объективному методу».

Но объективность, въ сущности, до конца остается недостижимой цѣлью. Вотъ названія отдѣльныхъ главъ въ тѣхъ частяхъ романа, гдѣ авторъ думаетъ писать по «объективному методу»: *Благодѣтельная гласность*, *Начинающееся служеніе идеѣ*, *Братскій праздникъ съ народомъ*... Достаточно этихъ выраженій, чтобы предугадать содержаніе. Если это исторія, то развѣ только въ тэновскомъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ заранѣе обдуманнаго памфлета на непріятныхъ людей и ненавистныя событія.

И особенно любопытенъ *Братскій праздникъ съ народомъ*. Авторъ имѣетъ въ виду изобразить настроеніе освобожденныхъ мужиковъ, и подчеркиваетъ исключительно крестьянскія недоразумѣнія и замѣшательства. И то, и другое, дѣйствительно, было: не могло же безслѣдно пройдти трехвѣковое рабство, преисполненное неправдъ и насилій! Вѣдь самъ же авторъ причиной умственной смуты среди *образованнаго общества* считаетъ, между прочимъ, «нравственный гнетъ, который мы пережили»,—какъ же долженъ былъ отразиться этотъ гнетъ на народной массѣ? А потомъ сцены, изображенныя Писемскимъ, представляли рѣдкія, исключительныя явленія,—въ громадномъ большинствѣ случаевъ реформа 19-го февраля прошла спокойно и осуществленіе ея не оправдало ни томительныхъ страховъ друзей, ни злорадныхъ ожиданій враговъ. Спокойствіе и здравый смыслъ, обнаруженные двадцатитрехмилліонной освобожденной «темной толпой», вызвали невольное удивленіе у русскихъ и даже иноземныхъ современниковъ событій. Этотъ фактъ засвидѣтельствованъ *подлинной исторіей*, а нашъ писатель—*въ романѣ* «собирая» одну «ложь»,—неизбѣжно завѣдомо выбираемымъ фактамъ придалъ *не-историческое* значеніе.

Если мы теперь спросимъ, какое же положеніе должно занимать *Взбаламученное море* въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ, отвѣтъ не представитъ никакихъ затрудненій. Романъ только отчасти, случайно и независимо отъ авторскихъ намѣреній отражаетъ дѣйствительную Россію преобразовательной эпохи, и притомъ Россію, если можно такъ выразиться, не существенную, не характерную, столь же мало имѣющую отношеніе съ настоящей Россіи, какъ «грязь и навозъ» къ «памятникамъ въ губернскихъ городахъ». Авторъ остался вѣренъ исконному способу писателей извѣстнаго типа изображать новыя идейныя теченія: клеймя смѣхомъ

и позоромъ уродство и глупость *Иванушекъ*. И Писемскій даже прямо сравниваетъ новыхъ юношей съ «Ванюшей въ *Бригадирѣ*». Многіе юноши, конечно, иной участи и не заслуживаютъ. Но даже въ екатерининское время «галломанія» не исчерпывалась «Ванюшами» и восклицанія идіота не вмѣщали въ себѣ всю современную французскую мысль. Еще менѣе это можно было бы сказать о шестидесятыхъ годахъ.

Но съ теченіемъ времени обстоятельства измѣнились, и уже одно заглавіе произведенія Писемскаго *Взбаламученное море* краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о глубокомъ, всеохватившемъ движеніи эпохи. Общество, по самой сущности преобразованій, должно было выставить изъ своей среды достойныхъ исполнителей и помощниковъ правительственной власти, оно, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, должно было вынести на своихъ плечахъ весь ходъ событій, коренную перемѣну общественныхъ отношеній, и все это почти непосредственно послѣ самой пристальной чиновничьей опеки надъ мыслью и жизнью того же общества! Очевидно, если говорить о «Россіи шестидесятыхъ годовъ», ея надо искать не въ темныхъ закоулкахъ, переполненныхъ «грязью и навозомъ», не въ эфемерныхъ хотя бы и эффектныхъ безумствахъ Иванушекъ, не въ личныхъ преступленіяхъ шантажистовъ, а тамъ, гдѣ билъ ключъ живыхъ умственныхъ и общественныхъ силъ, разнесшій новыя сѣмена по громадному крѣпостническому царству. Иванушки — *вездѣ и всегда одинаковы*: неразуміе, попугайство, наглость—ихъ родовыя черты, какъ вообще «грязь и навозъ» вездѣ одни и тѣ же, и въ сущности ничего нѣтъ особенно поучительнаго художнику направлять свой анализъ на эти отбросы. Но совершенно иначе стоитъ вопросъ о самихъ «памятникахъ»; только они характеризуютъ духъ извѣстной эпохи и они должны сосредоточить преимущественное вниманіе писателей. А Иванушки и въ литературѣ должны занимать то самое положеніе, какое имъ достается въ жизни: посторонняго *наноснаго* элемента, той гари и копоти, которая всегда образуется при горѣніи самаго благороднаго дерева и тѣмъ въ большемъ количествѣ, чѣмъ ярче и обильнѣе горѣніе, чѣмъ больше, слѣдовательно, получается тепла и свѣта.

XXXI.

Произведенія Писемскаго, слѣдовавшія за романомъ *Взбаламученное море*, не представляютъ ни одного новаго мотива въ

общественномъ смыслѣ, и не блещутъ художественными или даже литературными достоинствами. Подвергши жестокой карѣ преобразовательную эпоху, авторъ отнюдь не думалъ пойти въ лагерь реакціи и крѣпостничества, взять на себя защиту дворянства или какихъ бы то ни было консервативныхъ направленій.

Онъ каралъ молодое поколѣніе не изъ партійнаго азарта, не на основаніи какого-либо опредѣленнаго общественнаго или политическаго ученія, а во имя *здраваго смысла* и *національнаго чувства*, т. е. противъ и молодежи шестидесятыхъ годовъ направилъ то самое оружіе, какимъ его предшественники поражали разныхъ Jean de France, и онъ самъ москоскихъ—Чайльдъ-Гарольдовъ и Рудиныхъ, вообще выучениковъ «чужого голоса».

Но уже и въ той ранней войнѣ здравый смыслъ далеко не былъ послѣднимъ словомъ истины и справедливости, даже въ чайльдъ-гарольдствѣ и рудинствѣ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, сатирикъ могъ бы открыть нѣчто не вполнѣ смѣшное и не безусловно отрицательное. Здравый смыслъ и здѣсь обнаруживалъ недостаточное пониманіе врага, ограниченный кругозоръ, и подчасъ могъ бить *мимо цѣли*.

Недоразумѣнія должны были тѣмъ болѣе усилиться и умножиться, чѣмъ серьезнѣе могли явиться идейныя теченія въ русскомъ обществѣ, и старое оружіе могло показаться почти непригоднымъ, когда костюмы, слова на европействующій ладъ уступили мѣсто убѣжденіямъ, и дѣламъ настоятельнаго, разумно-прогрессивнаго характера. Это именно и произошло постепенно, почти незамѣтно съ молодыми русскими поколѣніями, начиная еще съ первой четверти столѣтія. Преобразованіе шло къ опредѣленной цѣли, къ сознательной критикѣ господствующихъ общественныхъ отношеній, прежде всего, конечно, крѣпостного строя, и къ глубокому, часто пламенному стремленію «видѣть падшее рабство». Эта цѣль и для нашего представителя здраваго смысла существовала, но только въ скрытомъ состояніи, въ тайникахъ его творческой художественной натуры. Мы видѣли, вся литературная дореформенная дѣятельность Писемскаго *логически* и *разумно* приводила къ вопросу: что̀ же дальше? Неужели народная тягота и чиновничій разгулъ такъ и пребудутъ въ неприкосновенномъ видѣ? Неужели маіоры Одинцовы и господа Гавриловы, статскіе совѣтники Салатушки и легіонъ губернаторовъ такъ и останутся царить надъ городами и весями? У автора были *свои* отвѣты: добрый баринъ, честный администраторъ спасутъ

родину. Но тоже самое неуклонно искреннее и жизненно-правдивое творчество подвергло сомнѣнію и эти цѣлительныя средства. Что же оставалось?

Здравый смыслъ не находилъ, точнѣе, не искалъ выхода. Онъ, по природѣ, неподвиженъ, недовѣрчивъ къ новшествамъ и перемѣнамъ, одинаково и мелкимъ, и крупнымъ. Извѣстно, съ какимъ трудомъ умнѣйшіе, богатые мужики рѣшаются курныя избы замѣнить болѣе удобными хатами, шведскими спичками—сѣрныя, даже сивуху болѣе чистой водкой. Это—частныя бытовыя явленія, но они—плодъ «практической мудрости».

И нашъ авторъ не устаетъ прославлять это національное достояніе. Мы уже видѣли примѣры; можно развѣ прибавить еще разсужденіе изъ романа *Люди сороковыхъ годовъ*.

«Геній нашего народа пока выразился только въ необыкновенно *здравомъ умѣ* и вслѣдствіе этого въ сильной *устойчивости* (курсивы автора); въ насъ нѣтъ ни французской галантерейности, ни глубокомыслія нѣмецкаго, ни предпріимчивости англійской, но мы очень *благоразумны* и *разсудительны*: насъ ничѣмъ нельзя очень порадовать, но за то ничѣмъ и не запугаешь. Мы строимъ наше государство медленно, но изъ хорошаго матеріала; удерживаемъ только настоящее, а все ложное и фальшивое выкидываемъ».

И дальше, на основаніи здраваго ума отвергаются сословія и русское государство признается безсословнымъ, *хоровымъ*.

И мы не сомнѣваемся, здравый смыслъ можетъ додуматься до многихъ дѣльныхъ вещей. Мы въ теченіе всей нашей работы могли оцѣнить изумительную проницательность и силу Писемскаго въ изображеніи многообразныхъ неустройствъ старой Россіи. Въ качествѣ *критической способности* здравый смыслъ незамѣнимъ, но въ качествѣ *созидательной силы* онъ не поднимается надъ землей, вѣчно цѣпляется за особенно «устойчивый» матеріалъ, «медленность» движенія можетъ довести до полной неподвижности, «разсудительность» до непреодолимаго недовѣрія и даже отвращенія ко всему, что можетъ показаться «непрочнымъ» и рискованнымъ. И все равно, какъ идеализмъ, отрѣшенный отъ благоразумія и разсудительности, можетъ впасть въ праздное фантазерство, такъ и здравый смыслъ, оградившій себя отъ всякой возможности идеальныхъ замысловъ и увлеченій, можетъ спуститься до нестерпимо презрѣннаго «ума» и «житейскаго опыта» «нашихъ мудрецовъ», столь возмущавшихъ поэта «страданій и [illegible]»...

Писемскій, въ порывѣ личнаго раздраженія, пожалуй, способенъ былъ вступить на этотъ путь, только необычайно богатая органически честная натура до конца удержала его въ прежнемъ направленіи.

Послѣ *Взбаламученнаго моря* Писемскій принялся казнить героевъ, намѣченныхъ въ романѣ и вызванныхъ къ дѣятельности коренными экономическими перемѣнами въ русской жизни. Уже въ разсказѣ *Фанфаронъ* брошена ядовитая стрѣла въ акціонерныя компаніи, теперь быстро слѣдовали одна за другой пьесы *Ваалъ*, *Просвѣщенное время*, *Финансовый геній* (съ 1873 по 1876 годъ). Всѣ онѣ написаны въ какомъ-то лихорадочномъ тонѣ, представляютъ скорѣе рядъ внезапно и разновременно вырвавшихся у автора набросковъ. Языкъ очень энергиченъ, дѣйствіе сценично, и нѣкоторыя пьесы имѣли успѣхъ въ представленіи, но всѣ онѣ *задачи* въ сильнѣйшей степени, чѣмъ *Взбаламученное море*, тѣмъ болѣе, что авторъ «Ваала» считалъ «сильнѣйшимъ, можетъ быть, врагомъ человѣческимъ» и при извѣстныхъ намъ болѣзненныхъ нервныхъ настроеніяхъ не могъ избѣжать той самой «напряженности», какую раньше осуждалъ у другихъ.

Одновременно съ «Вааломъ» доставалось и исконному врагу Писемскаго—бюрократіи. Ниже по значенію и даже драматическому достоинству драмы изъ помѣщичьяго дореформеннаго быта: *Самоуправцы* и *Бывые соколы*. Послѣдняя построена на вопіющемъ злодѣяніи отца надъ дочерью и дала развитіе другой драмѣ среди слѣдующаго поколѣнія *Птенцы послѣдняго слета*, гдѣ на сценѣ уже не крѣпостное право, а акціонерное мошенничество. Всѣ сцены переполнены ужасами, противоестественными злодѣйствами и насильственными смертями. Онѣ краснорѣчивое отраженіе душевнаго мрака, овладѣвшаго писателемъ въ этотъ періодъ дѣятельности.

Наконецъ, въ промежуткахъ между драмами явились четыре большихъ романа—*Люди сороковыхъ годовъ*, *Въ водоворотѣ*, *Мѣщане и Масоны*. О первомъ и послѣднемъ мы говорили. Остальные два любопытны только по нѣкоторымъ частностямъ. *Въ водоворотѣ*, помимо обычнаго уничтожающаго изображенія бюрократовъ и карьеристовъ выведена представительница нигилистическаго направленія, по имени Елена, какъ и нигилистка изъ *Взбаламученнаго моря*. Авторъ на этотъ разъ нѣсколько усложнилъ вопросъ и затемнилъ свою «задачу»: Елена—польская необычайно азартная патріотка, этотъ патріотизмъ убиваетъ въ ней

рѣшительно всякое нравственное и гуманное чувство и совершенно лишаетъ ее смысла и самообладанія. Во имя своего «Молоха», она губитъ князя, искренне ее любящаго, правда, очень страннаго князя, съ нигилистической окраской, съ полонофильскими чувствами, съ революціонными наклонностями и въ то же время настоящаго *князя*, по образу жизни, по состоянію и по инстинктамъ. Но все-таки онъ, по замыслу автора, честный и добрый человѣкъ. И вотъ онъ-то жертва польской интриги.

Но и нигилизмъ не менѣе уродуетъ умъ и сердце дѣвицы. Она, напримѣръ, «по принципамъ» не признаетъ дѣвической стыдливости, человѣка считаетъ животнымъ во всѣхъ смыслахъ, переноситъ это понятіе и на отношенія дѣтей къ родителямъ и родителей къ дѣтямъ, вообще съ достаточной точностью воспроизводитъ философію Ванюши и вдобавокъ продаетъ себя богатому идіоту—не то изъ патріотизма, не то изъ оскорбленнаго самолюбія княжеской любовницы, не то «по принципамъ». Вообще, фигура, по меньшей мѣрѣ, двусмысленная и, несомнѣнно, отнюдь не реабилитирующая «модныхъ идеекъ».

Въ романѣ *Мѣщане* тоже старые мотивы, только будто обобщенные, приподнятые на нѣкоторую идеальную высоту. На сценѣ разные аферисты и негодяи въ новѣйшемъ стилѣ, но авторъ протестуетъ вообще противъ прозаическаго, низменно-матеріальнаго духа времени. Изображенію «мѣщанства» въ этомъ романѣ онъ придавалъ большое значеніе, и, несомнѣнно, «задача» была близка его истомленной природѣ.

Коммерческой разсчетливости, пошлому міросозерцанію, животнымъ радостямъ «мѣщанъ» противопоставлена старая симпатія автора — эстетикъ и романтикъ на рыцарски-благородной почвѣ. Мы упоминали объ этомъ героѣ—великолѣпномъ Бѣгушевѣ, обломкѣ экзотической барской культуры, отшельникѣ среди царства Ваала, мечтателѣ и поэтѣ рядомъ съ дѣльцами и «людьми-звѣрями». Женщина и кухня, конечно, играютъ роль центральныхъ свѣтилъ въ этомъ возвышенномъ существованіи и умѣнье поѣсть и любить—самимъ героемъ отровенно причисляется къ суммѣ преимуществъ его, Бѣгушева, надъ мѣщанами. Но что же дѣлать! Такова ужъ почва всякихъ экзотическихъ продуктовъ, и она не мѣшаетъ имъ высказывать такую философію исторіи:

«Смотри, что съ міромъ сдѣлалось: реформація и первая французская революція страшно двинули и взбудили умы. Геній творчества облеталъ всѣ лучшія головы: электричество, паръ, рабочій

вопросъ,—все въ идеяхъ предъявлено было человѣчеству, но стали эти идеи реализировать и кто на это пришелъ? Торгашъ, ремесленникъ, дрянь разная, шваль и, однако, они теперь герои дня!»

Да, это не эстетично—и «торгашъ и ремесленникъ» не менѣе, чѣмъ эпитеты «дрянь и шваль».

Бѣгушеву пріятель замѣчаетъ насчетъ одного изъ самыхъ любопытныхъ современныхъ вопросовъ,—рабочаго,—эстетикъ вопитъ:

«Пусть лучше сойдетъ на землю огненный дождь, потопъ, лопнетъ кора земная, но я этой курицы во щахъ, о которой мечталъ Генрихъ IV, міру не желаю... Бога на землю! Пусть сойдетъ снова Христосъ и обновитъ души, а иначе въ человѣкѣ все порядочное исчезнетъ и издохнетъ во мракѣ вашихъ матеріальныхъ благъ».

Очень сильно, но Христосъ сказалъ: «родъ сей требуетъ знаменія и знаменіе не дастся ему», т. е. сверхъестественныхъ чудесъ: достаточно тѣхъ, какія у всѣхъ предъ глазами. Вотъ это-то великое изреченіе не мѣшало бы припомнить нашему герою.

Но авторъ твердитъ одно: Бѣгушевъ «не былъ рабомъ чужой мысли», и по поводу его отщепенства отъ современныхъ людей—заключаетъ: «Кто изъ нихъ лучше: онъ-ли съ своимъ отвлеченнымъ міросозерцаніемъ, или окружающіе его люди, полные практической кипучей дѣятельности,—это я предоставляю судить вкусу каждаго».

Вопросъ не во вкусѣ, а въ кое-чемъ, несравненно болѣе серьезномъ и безспорномъ. Бѣгушеву съ его міросозерцаніемъ приходится сторониться рѣшительно отъ всякой *жизни*, онъ даже не трогается восточнымъ вопросомъ, гдѣ, повидимому, обладаетъ самыми основательными свѣдѣніями по личному опыту. Его судьба или запить съ горя въ трудныя минуты, что онъ и дѣлаетъ, или развѣ послѣдовать примѣру другого симпатичнаго героя, полковника Марфина, изъ романа *Массоны*, т. е. предаться «умному дѣланію». А это дѣлается такъ: «онъ сидѣлъ неподвижно на своемъ креслѣ и держалъ свою руку подъ ложечкой, потомъ все болѣе и болѣе сталъ поднимать глаза къ небу и видимо одушевлялся». Это тоже происходило въ трудныя минуты...

Нѣтъ, здѣсь не только не можетъ быть «кипучей дѣятельности», а просто человѣческаго существованія, и не таковъ выводъ и плодъ творчества нашего автора. Писемскій до конца дней оставался натурой художественной, даже бросившись въ беллетристическую публицистику. Искусство и творчество, независимо отъ идей и задачъ, пребывали его символомъ... Но знаете-ли, какъ ему

случалось выражаться о чисто-художественныхъ настроеніяхъ? Вотъ небольшой поучительный разсказъ о деревенскихъ впечатлѣніяхъ одной изъ героинь *Взбаламученнаго моря*:

«Ея *артистическій взглядъ* только и увидалъ, какъ весной задѣльные мужики, по большей части все старики, съ перекошенными отъ натуги лицами, взрывали неуклюжими косулями глинистую почву, а вечеромъ ужинали однимъ квасомъ съ хлѣбомъ, и хорошо-хорошо когда холодными щами съ забѣлкой, или какъ дворовыя женщины, а въ томъ числѣ и ходившая послѣднее время беременности, не чувствуя собственной спины, часто, послѣ заката солнца дожинали отмѣренныя имъ десятины и ихъ же потомъ бранили, что они высоко жнутъ»...

Такова проницательность *артистическаго* взгляда. А какимъ же взглядомъ надо было смотрѣть, чтобы увидѣть *не только* это—и *что̀ именно*?

Отвѣтъ отчасти даетъ интереснѣйшій герой того же романа, хотя и второстепенный, дѣйств. т. сов. Ливановъ, необычайно умный, ловкій, прошедшій огни и воды канцелярской и житейской школы, совершенно тунеядный, но слывущій за государственнаго мужа. Ему также приходится имѣть дѣло съ эстетиками, и послушайте, что̀ онъ кричитъ:

«Всѣ очень хорошо понимаютъ, что человѣческія общества стоятъ на вулканѣ. Вотъ откуда идутъ всѣ эти безпокойства и стремленія къ реформамъ; но врагъ идетъ,—дудки! Не убаюкаете его ни вашими искусствами, открытыми для всѣхъ въ музеяхъ и картинныхъ галлереяхъ, ни божескимъ, по вашему мнѣнію, правосудіемъ вашихъ жюри, ни превосходными парламентскими рѣчами, ни канальскимъ молчаніемъ, ни канальскими словами въ Тюльери,—врагъ идетъ! и въ лицѣ англійскаго пролетаріата, и во французскомъ работникѣ, и въ угнетенномъ итальянцѣ, и въ истерзанномъ негрѣ, а тамъ, пожалуй, сдуру-то и мы, русскіе, попристанемъ по пословицѣ, что и наша рука не щербата»...

Трудно энергичнѣе поразить эстетику и «умное дѣланіе»... Откуда у автора такія стрѣлы? Ужъ не отточило-ли ихъ то самое «взбаламученное» время, отъ котораго открещивался писатель? Не поднялась-ли отвѣтная волна и въ его душѣ? Вѣдь нельзя же было писать такія рѣчи и въ такомъ тонѣ, безъ внутренняго личнаго движенія.

Вопросъ для самого автора до конца остался открытымъ, точнѣе не существующимъ, но для насъ онъ настоятеленъ: въ немъ смыслъ всей дѣятельности Писемскаго.

XXXII.

Не смотря на рѣшительный разрывъ съ крупной журналистикой и даже съ *Русскимъ Вѣстникомъ*, у Писемскаго среди писателей осталось не мало доброжелателей. Тургеневъ продолжалъ съ особенно теплымъ чувствомъ относиться къ загнанному автору, внимательно слѣдилъ за его новыми произведеніями, давалъ, по возможности, лестные отзывы, подробно сообщалъ о популярности *Тысячи душъ* въ Германіи и лично участвовалъ во французскомъ переводѣ романовъ Писемскаго. Та же самая литературная дружба устроила его юбилей, 19-го января 1875 года, съ участіемъ *Общества любителей россійской словесности.*

На юбилеѣ, конечно, говорилось не мало пріятныхъ рѣчей, и въ результатѣ герой дня долженъ былъ вынести искреннее отрадное чувство. Но празднество все-таки вышло исключительно литературнымъ, общество принимало въ немъ самое слабое участіе, и фактъ подтвердился при другомъ уже всероссійскомъ событіи, во время пушкинскихъ дней.

Очевидцы до сихъ поръ не могутъ забыть многочисленныхъ подробностей, связанныхъ съ именами Тургенева и Достоевскаго по поводу праздника. но участіе въ немъ Писемскаго прошло совершенно безслѣдно. Онъ также говорилъ рѣчь, праздникъ Пушкина называлъ «своимъ праздникомъ», но мы напрасно стали бы искать отголосковъ словъ и чувствъ нашего автора у слушателей и свидѣтелей. И причина, конечно, не въ качествахъ рѣчи: на торжествахъ, подобныхъ пушкинскому, этотъ вопросъ не имѣетъ рѣшающаго значенія, а въ личности оратора. Когда мы въ настоящее время прочитываемъ рѣчи Достоевскаго и Тургенева, впечатлѣнія очевидцевъ кажутся намъ слишкомъ нервными, до крайней степени приподнятыми. Очевидно, на юбилейную публику дѣйствовало не столько содержаніе торжественныхъ словъ, сколько привходящія, собственныя чувства присутствовавшихъ читателей, ихъ заранѣе составленныя мнѣнія о личности и дѣятельности того и другого оратора. У Писемскаго, какъ человѣка и писателя, не нашлось данныхъ, способныхъ воодушевить даже снисходительныхъ, празднично-настроенныхъ слушателей, не оказывалось обаянія, окружавшаго такимъ блескомъ его сверстниковъ.

Это, несомнѣнно, чувствовалъ и самъ писатель, — чувствовалъ настолько глубоко и тяжело, что еще раньше, на своемъ юбилеѣ, принужденъ былъ отмѣтить основную заслугу своей долголѣтней литературной работы.

Такія отмѣтки, обыкновенно, не дѣлаются героями дня: на юбилеяхъ всегда слишкомъ много охотниковъ вѣнчать даже и фальшивыми лаврами виновниковъ торжества. Писемскій попалъ на особое положеніе. Рѣчь онъ составилъ раньше, съ большою тщательностью и обдуманностью, и явился, слѣдовательно, на юбилей съ нѣкоторымъ чувствомъ недовѣрія къ безпристратію и проницательности ораторовъ-чествователей и критиковъ-друзей. Несомнѣнно, упорное и безпощадное бойкотированіе писателя со стороны популярнѣйшей печати накопило въ его сердцѣ бездну горечи и обиды, и онъ будто облегчалъ свою наболѣвшую душу публичнымъ самоутѣшеніемъ, извнѣ смиреннымъ, но на самомъ дѣлѣ полемическимъ и вызывающимъ.

Это не значило, будто рѣчь заключала сплошное самохвальство,— Писемскій и теперь, обвѣянный суровой атмосферой непопулярности и даже вражды, сохранилъ исконную прямоту души и смѣлую искренность. Въ его словахъ звучала цѣнная для современниковъ и для насъ задушевная исповѣдь художника, сознательно, по всей мѣрѣ своего разумѣнія подводящаго итоги своей жизни.

Писемскій говорилъ:

«Милостивыя государыни и милостивые государи! Благодарю за ваше привѣтствіе. Волнующія меня въ настоящую минуту чувствованія мѣшаютъ мнѣ высказать то, что̀ хотѣлось бы сказать. Ограничусь немногими словами. Пройденный мною двадцатипятилѣтній литературный путь, какъ и путь товарищей моихъ по дѣлу, былъ не легокъ. Сознавая всю слабость и недостаточность трудовъ моихъ, я считаю себя вправѣ сказать только то, что я никогда въ нихъ не становился ни подъ чье чужое знамя, худо ли, хорошо ли, но всегда писалъ только то, что̀ думалъ и чувствовалъ, и ни для какихъ внѣшнихъ и суетныхъ цѣлей не ломалъ и не насиловалъ моего пониманія людей и событій и маленькихъ авторскихъ способностей, которыя даны мнѣ отъ природы. Единственной путеводной звѣздой во всѣхъ трудахъ моихъ было желаніе сказать моей странѣ, по крайнему разумѣнію, хотя, можетъ быть, и нѣсколько суровую, но все-таки *правду* про нее самое. Насколько я успѣвалъ въ этомъ случаѣ—не мое дѣло судить».

Вся эта рѣчь ничто иное, какъ сводъ мыслей и признаній, разсѣянныхъ авторомъ задолго до юбилея въ романахъ. Мы неоднократно могли оцѣнить неудержимое и глубокое отвращеніе Писемскаго къ самой идеѣ о *чужомъ знамени*, именно только *чужомъ*— безъ всякихъ соображеній на счетъ какихъ бы то ни было по-

ложительныхъ или отрицательныхъ признаковъ знамени. Такое усиленное подчеркиваніе одной и той же мысли въ теченіе многихъ лѣтъ, съ самаго начала преобразовательнаго движенія, очевидно, знаменовало своего рода авторскій девизъ Писемскаго, его собственное *знамя*. На немъ стояла краткая и на первый взглядъ въ высшей степени простая и почтенная надпись: *пребыть самимъ собой*, не смотря ни на какіе внѣшніе соблазны, ни на какія волны кругомъ взбаломученнаго моря. И девизъ нашего автора можетъ произвести впечатлѣніе античныхъ гордыхъ изреченій, украшавшихъ оружіе доблестнѣйшихъ паладиновъ стараго времени. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ можно представить выше и самоотверженнѣе, чѣмъ вѣрность своей нравственной личности и своему принципіальному жизненному пути?.. Достаточно этихъ добродѣтелей, чтобы человѣкъ имѣлъ законнѣйшее право говорить о своемъ безкорыстномъ служеніи *правдѣ* и съ полнымъ сознаніемъ своего подвига—ставить себя предъ лицомъ *своей страны*.

Но тогда почему же эта самая облагодѣтельствованная страна будто отвернулась отъ своего, несомнѣнно, даровитѣйшаго сына и облекла его былую славу въ трауръ смерти и забвенія? *Страна* не могла быть фантастически капризной дамой столь постояннаго рыцаря. Очевидно, здѣсь скрывалось какое-то недоразумѣніе, страна и писатель различно понимали благородный девизъ, и что̀ одному казалось *правдой*, другая считала чуть ли не ложью и заушеньемъ настоящей правды. Страна, въ теченіе болѣе десятилѣтія, давала одинъ и тотъ же отвѣтъ на заключительныя слова рѣчи Писемскаго: по ея мнѣнію, онъ *не успѣлъ* въ своемъ стремленіи сказать правду или не уразумѣлъ ея точно и ясно.

Подобное недоразумѣніе, можетъ быть, жесточайшій трагическій мотивъ, какой только можетъ поразить дѣятеля мысли и слова, даже вообще человѣка, обязаннаго считаться съ теченіями общественной жизни. Еще Шекспиру была ясна эта истина и онъ заставилъ исповѣдывать ее средневѣкового государя. Ричардъ II причиной своего паденія считаетъ разладъ, возникшій между нимъ—королемъ и запросами времени. Этотъ именно разладъ всей тяжестью обрушился на Писемскаго, и драма оказалась тѣмъ мрачнѣе и безнадежнѣе, что Писемскій не обнаружилъ до конца проницательности и раскаянія даже средневѣковаго человѣка. Онъ рѣшительно сталъ въ оборонительную, даже вызывающую позу, и сохранилъ ее до послѣдней строки своего художественнаго творчества. Въ результатѣ, разладъ неминуемо долженъ

былъ перейти въ полное взаимное отчужденіе страны и писателя. Это такого рода чувства, предъ которыми нѣтъ пощады одинаково настоящему и прошлому, и Писемскій *весь*—со всѣмъ своимъ талантомъ и первостепенными созданіями искусства—становился все болѣе постороннимъ, внѣшнимъ,—именно для *своей страны*.

Но разладъ только слѣдствіе, внѣшнее проявленіе извѣстной психологической и нравственной основы. Вся сущность въ этой основѣ, и она первая и послѣдняя виновница преждевременной литературной смерти Писемскаго. Мы объяснили культурный составъ его личности, поставили ее въ связь съ особымъ, вполнѣ опредѣленнымъ типомъ русскаго писателя, провели параллель между Писемскимъ и даровитѣйшими его духовными родичами въ нашей общественной исторіи. Мы могли убѣдиться, источники рокового разлада существовали и у многихъ другихъ русскихъ художниковъ, существовали не въ силу преднамѣреннаго непониманія извѣстныхъ явленій русской общественности, а въ силу естественнаго, можно сказать, роковаго инстинкта. Здѣсь сама *натура* являлась цѣлымъ *міросозерцаніемъ*, необычайно устойчивымъ и послѣдовательнымъ и все равно, какъ, напримѣръ, Фонвизину никогда не удалось бы написать любовнаго лирическаго стихотворенія, по достоинству равнаго *Недорослю*, а у Гоголя, цѣною величайшихъ нравственныхъ мученій и художественныхъ усилій, не возникло положительныхъ героевъ, такъ же трудно, неестественно было бы тому и другому автору обнаружить тонкую культурную чуткость, горячую и глубокую воспріимчивость ко внѣшнимъ, европейскимъ умственнымъ движеніямъ.

Писемскій принадлежалъ именно къ этой расѣ людей и писателей, и особенно много *гоголевскихъ* чертъ мы могли отмѣтить въ его талантѣ. Не только *чертъ*, т. е. *общихъ* совпаденій, но даже въ высшей степени характерныхъ частностей, часто похожихъ на прямыя заимствованія. Этотъ фактъ имѣетъ для насъ исключительное значеніе: онъ, обнаруживая родственность талантовъ двухъ писателей приводитъ къ рѣшительному вопросу: почему же литературная и личная судьба Писемскаго вышла совершенно не похожей на судьбу Гоголя?

Авторъ *Мертвыхъ душъ* слышалъ отъ современнаго неограниченно вліятельнаго критика не менѣе жестокія укоризны, чѣмъ Писемскій отъ либеральной журналистики. И Гоголь такъ же, подобно Писемскому, счелъ возможнымъ облегчить свою раздраженную душу въ печати, бросилъ нѣсколько стрѣлъ по адресу

своего противника, и стрѣлы эти своимъ ядомъ удивительно напоминаютъ выходки Писемскаго противъ неразумныхъ верхоглядовъ и выучениковъ чужого голоса. Очевидно, оба сатирика подъ конецъ жизни попали въ сходныя положенія относительно живыхъ публицистическихъ и культурныхъ силъ современной критики. И это сходство явилось вполнѣ естественнымъ результатомъ общаго родства натуръ учителя и ученика. Но пятый актъ драмы вышелъ совершенно различнымъ для Гоголя и Писемскаго. У одного рѣзкое столкновеніе съ Бѣлинскимъ и его партіей осталось будто мимолетнымъ эпизодомъ, не легло тѣнью ни на его личность, ни на его творчество, хотя вторая часть *Мертвыхъ душъ* и въ особенности *Переписка* менѣе всего могли поддержать раннюю славу автора. Смерть Гоголя рѣшительно всѣхъ читателей и критиковъ поразила, какъ бѣдствіе, какъ страшная, потрясающая утрата. Всѣ недоразумѣнія и размолвки смолкли у могилы писателя, и до нашихъ дней надъ ней не перестаетъ горѣть ни на минуту не тускнѣющая звѣзда побѣдоносной славы.

А между тѣмъ, вѣдь Гоголь тоже вполнѣ сознательно говорилъ своей странѣ отнюдь не лестную и усладительную правду. По поводу *Ревизора* онъ высказалъ почти буквально тѣ самыя мысли, какими Писемскій закончилъ *Взбаламученное море*.

«Въ *Ревизорѣ* я рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣми».

Мы знаемъ, какъ принято было произведеніе Гоголя: *все дурное*, тщательно собранное имъ, поразило зрителей—самыхъ равнодушныхъ и безпечныхъ—до глубины души, вызвало бездну негодованія и ненависти противъ автора. И онъ не остался безучастнымъ къ этимъ чувствамъ: его не менѣе, чѣмъ Писемскаго шестидесятыхъ годовъ, охватило скорбное настроеніе... Онъ бѣжалъ за границу «разгулять свою тоску», бѣжалъ, жестоко сѣтуя на «всеобщее невѣжество, движущее столицу», на «жалкое состояніе» русскаго писателя, на повальную вражду къ нему со стороны людей, слывущихъ образованными...

Позже писатель не пощадилъ и людей, на самомъ дѣлѣ образованныхъ, стремился воспѣть Костанжогло и Муразова въ ущербъ «рѣзкаго направленія недоучившемуся студенту», превознести

ученье на мѣдныя деньги предъ «мудростью изъ современныхъ брошюръ и газетъ», ручной трудъ направить противъ «эстетика, недокончившаго учебнаго курса»...

Развѣ это не мотивы автора *Взбаламученнаго моря*? Развѣ намекъ на участіе недоучившагося студента, духовнаго дѣтища брошюръ и газетъ,—въ противозаконномъ обществѣ, не первый камень въ молодое поколѣніе «рѣзкаго направленія»? И побудительныя причины воинственной вылазки тѣ же: оскорбленное авторское самолюбіе, военные пріемы одинаковы: каррикатура на личность противника, цѣль тожественна: унизить цѣлое общественное направленіе путемъ сатиры на одного изъ его представителей...

Развѣ все это не смертные грѣхи? И ни одинъ изъ нихъ не зачтенъ геніальному сатирику въ такой мѣрѣ, какъ его позднѣйшему соратнику и послѣдователю.

И замѣтьте, личность Гоголя, какъ человѣка, далеко не столь опредѣленна и цѣльна, какъ личность Писемскаго. Самые восторженные почитатели автора *Ревизора* не могли не признать въ его душѣ темныхъ, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ ясныхъ и свѣтлыхъ стихій. Онъ совершенно не обладалъ прямой, подчасъ грубой откровенностью и наивной искренностью Писемскаго. страдалъ несомнѣннымъ пристрастіемъ къ фразѣ и позѣ съ молодыхъ лѣтъ до послѣдняго періода жизни, не прочь былъ облечь романтической фальшивой таинственностью и трагическимъ эффектомъ свою внѣшнюю жизнь и свои помыслы. Одновременно развивался особаго рода деспотизмъ, надменная нетерпимость прославленнаго писателя, притязательность своего рода «директора чужой совѣвѣсти». Вообще, Гоголю въ минуты смиренія, дѣйствительно, можно было покаяться во многихъ душевныхъ изъянахъ, большею частью безобидныхъ для ближнихъ, но, во всякомъ случаѣ, весьма далекихъ отъ идеальныхъ совершенствъ.

Писемскій въ этомъ отношеніи рѣшительно выигрываетъ сравнительно съ Гоголемъ. Его природѣ чужды всякіе извороты, всякое поползновеніе показать товаръ лицомъ и сообщить своей особѣ, или фактамъ своей біографіи феерическое освѣщеніе. Даже самые ожесточенные критики упрекали Писемскаго въ свойствѣ, на самомъ дѣлѣ врядъ ли отрицательномъ: въ неуклонномъ стремленіи идти вездѣ и всегда напроломъ, не взирая ни на какія сопутствующія обстоятельства и возможныя препятствія. Именно этимъ стремленіемъ критики и объясняли нестерпимую запальчивость выходокъ Писемскаго противъ враждебнаго лагеря.

Конечно, имѣть дѣло съ такимъ противникомъ лицомъ къ лицу не всегда удобно, но, во всякомъ случаѣ, здѣсь, по крайней мѣрѣ, обезпеченъ безусловно опредѣленный смыслъ и ходъ борьбы, разъ навсегда можно поручиться за общую тактику и стратегическіе пріемы борца. А это обстоятельство, не только не маловажное на поприщѣ общественныхъ и литературныхъ междоусобицъ, а прямо самое существенное, единственно обезпечивающее точное разрѣшеніе вопроса.

И все-таки, эти, вовсе не заурядныя преимущества Писемскаго не создали ему почетнаго, даже просто спокойнаго, литературнаго положенія при жизни и не сообщили ни капли привлекательности его имени въ потомствѣ. Разгадка этого явленія можетъ быть достигнута съ полной ясностью именно путемъ точнаго сопоставленія Писемскаго и Гоголя, любопытнѣйшей психологической параллели, какая только умѣстна въ исторіи нашей общественной мысли.

XXXIII.

Писемскій, мы знаемъ, восторженно привѣтствовалъ сатирическое творчество своего учителя и отнесся съ безпощаднымъ осужденіемъ къ идеальнымъ потугамъ второй части *Мертвыхъ Душъ*, а особенно къ *Перепискѣ*. Писемскій правъ съ художественной и даже нравственной точки зрѣнія, но онъ ни на минуту не задумался надъ психологическимъ смысломъ странныхъ произведеній великаго сатирика, не задалъ себѣ вопроса, какъ Гоголь могъ додуматься до идеи изобразить добродѣтельнаго человѣка, раньше столь остроумно устраненнаго имъ же самимъ съ литературнаго горизонта и одновременно съ проповѣдью въ лицахъ—сочинить цѣлую книгу витійственныхъ поученій?

Вопросъ далеко не праздный, напротивъ, въ высшей степени настоятельный. Вѣдь, творецъ Костанжогло и авторъ *Переписки* цѣлые годы переживалъ жесточайшія нравственныя муки именно ради и во имя своихъ жалкихъ и, подчасъ, уродливыхъ дѣтищъ, до трехъ разъ сжигалъ поэму и, несомнѣнно, болью сердца писалъ нѣкоторыя изліянія друзьямъ. Здѣсь, на этихъ, столь притязательныхъ и часто раздражающихъ страницахъ, чувствуется страдальческая, безпомощно мятущаяся человѣческая душа и мы съ невольнымъ волненіемъ и искреннимъ сочувствіемъ къ самому автору читаемъ его пламенный вопль, обращенный къ поэту-другу, мы готовы его же слова цѣликомъ оправдать на немъ самомъ:

«На колѣна передъ Богомъ, и проси у Него гнѣва и любви! Гнѣва противъ того, что губитъ человѣка, любви къ бѣдной душѣ человѣка, которую губятъ со всѣхъ сторонъ и которую губитъ онъ самъ»...

И дальше, величественное изображеніе поэта-пророка, вооруженнаго огненными, неотразимыми рѣчами,—изображеніе, столь излюбленное въ русской поэзіи, горѣвшее предъ очами величайшихъ нашихъ поэтовъ въ благороднѣйшія минуты вдохновенія.

И это видѣніе не пустой сонъ, не игра своевольнаго и самонадѣяннаго воображенія. Въ немъ подлинный нравственный и культурный смыслъ нашей классической литературы. Пророкъ-страдалецъ—не художественный только образъ для нашихъ поэтовъ, а жизненная стихія ихъ талантовъ, сущность ихъ труда и вдохновенія. Сознаніе ея наполняло Гоголя отъ начала до конца его дѣятельности, съ первыхъ юношескихъ наивныхъ мечтаній «сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства», до гордой, высокопарящей надежды сказать своей родинѣ спасительное слово, если не творческими образами, то прямыми проповѣдями.

Это не суетныя притязанія геройствующаго юноши и замечтавшейся знаменитости, это—въ полномъ смыслѣ божественное пламя сердца, стихійная жгучая жажда,—все, о чемъ другой поэтъ говорилъ въ своемъ *Пророкѣ*.

Послушайте, что пишетъ Гоголь своему родственнику задолго до своей славы; сопоставьте эти слова съ позднѣйшимъ прорицательскимъ экстазомъ, съ предсмертными муками ради совершеннаго, *нужнаго для души* литературнаго труда, вамъ не придетъ на мысль усомниться ни въ искренности автора, ни въ его изумительно-возвышенной задачѣ цѣлой жизни.

«Тревожная мысль, что я не буду мочь, что мнѣ преградятъ дорогу, что не дадутъ возможности принести хоть малѣйшую пользу, бросала меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакивалъ на лицѣ моемъ при мысли, что, можетъ быть, мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ. Быть въ мірѣ и не означить своего существованія была для меня мысль ужасная».

Подобныя мечты въ молодости могутъ обуревать даже заурядныхъ людей, прекраснодушныхъ идеалистовъ исключительно по неопытности и неразумію: отъ такихъ мечтаній и идеаловъ чаще всего остаются лишь одни прекрасныя, но ни на что негодныя и ни къ чему не ведущія воспоминанія.

Не то съ Гоголемъ.

Онъ несетъ свою мечту сквозь всѣ житейскія, подчасъ удручающія положенія, и она растетъ одновременно съ успѣхами, становится тѣмъ нетерпѣливѣе и болѣзненнѣе, чѣмъ шире разростается слава. И когда Гоголь въ концѣ *Мертвыхъ Душъ* говорилъ объ очахъ Россіи, будто бы устремленныхъ на него съ тоской ожиданія, чего-то требующихъ отъ него и отъ его таланта, эти слова являлись отнюдь не лирической фразой: авторъ готовился искупить ее годами одинокихъ страданій, лишь бы отвѣтить на чудившуюся ему надежду его родины.

Но даже если бы у насъ не было подлинныхъ біографическихъ свидѣтельствъ о настроеніяхъ Гоголя, его произведенія раскрыли бы намъ ту же тайну его творческаго духа. Они показали бы намъ, сколько личной боли, личныхъ душевныхъ опытовъ заключено въ самыя, повидимому, спокойныя созданія поэта, сколько нервнаго трепета великаго человѣческаго сердца вложено въ страницы, сверкающія юморомъ и смѣхомъ.

Откуда эта грусть, неотвязно подстерегающая автора ежеминутно, среди роскошнѣйшей малороссійской природы, въ разгаръ ослѣпительнаго лѣтняго дня, въ толпѣ молодыхъ красавицъ и влюбленныхъ паробковъ, въ минуты ихъ наивнаго веселья и яснаго счастья, откуда этотъ невольно тоскливый припѣвъ, будто издали врывающійся въ шумъ пѣсенъ и смѣха?

«Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье? Въ собственномъ эхо слышитъ онъ уже грусть и пустыню и дико внемлетъ ему... И тяжело, и грустно становится сердцу и нечѣмъ помочь ему»...

Этотъ мотивъ не прерывается во всѣхъ юношескихъ повѣстяхъ Гоголя, съ теченіемъ времени чисто-поэтическая грусть и мимолетное раздумье выростаютъ въ совершенно опредѣленное чувство— жалости ко всѣмъ немощнымъ и несчастнымъ. Если раньше пѣсни обрывались тоскующей нотой, теперь явно въ смѣхѣ начинаютъ звучать слезы и надорванный, едва внятный вопль забитаго Акакія Акакіевича: «я—братъ твой»,—не замолкаетъ вплоть до стремительнаго воззванія о любви къ душѣ человѣка.

И посмотрите, какую теорію искусства проповѣдуетъ родоначальникъ русскаго художественнаго реализма! Онъ низвелъ поэзію съ неба на землю, съ высотъ героизма и чистой красоты въ юдоль пошлости и уродства, и онъ же, одушевленный все тѣмъ

же страданіемъ за человѣка, потребовалъ отъ самого художника души и сердца во всякомъ его созданіи.

«Рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ нестройнымъ крикомъ... Если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно предстанетъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренный свѣтомъ, какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность и видишь отвратительнаго человѣка».

Никто не станетъ обвинять автора этихъ словъ въ прикрашиваніи человѣка; напротивъ, всѣ произведенія Гоголя—своего рода умыселъ противъ фальшивой красоты и щегольской добродѣтели. Подчасъ самому писателю становилось будто тяжело изображать все мелкое и низкое въ человѣческой природѣ, и онъ предъ своими же созданіями впадалъ въ пессимизмъ и душевную горечь:

«Боже, что̀ за жизнь наша! Вѣчный раздоръ мечты съ существенностью»... И первый виновникъ раздора—самъ же вѣнецъ созданья: «сколько въ человѣкѣ безчеловѣчья!»...

Нѣтъ, здѣсь не было снисхожденія къ злу и близорукости въ оцѣнкѣ мельчайшихъ явленій дѣйствительности. Было нѣчто бо̀льшее, что̀ самъ Гоголь сравниваетъ съ солнцемъ. Безъ солнца великолѣпнѣйшій пейзажъ кажется несовершеннымъ, такъ и реальнѣйшее произведеніе искусства, не одухотворенное авторскимъ участіемъ и сочувствіемъ, теряетъ въ силѣ и даже въ правдѣ.

Такъ думалъ Гоголь. Мы можемъ пойти дальше—авторъ такихъ произведеній обрекаетъ себя на истинно-драматическую участь. У него не будетъ читателей-друзей, между нимъ и публикой не установится той таинственной связи, того духовно-родственнаго единенія, какое писателя, даже для людей, лично его никогда не знавшихъ, превращаетъ въ своего, дорогого человѣка, въ совѣтника, учителя, часто вдохновителя и утѣшителя. Книга тогда замѣняетъ живую личность, даже больше,—являетъ эту личность воображенію читателя болѣе яркой, будто приподнятой и облагороженной. Иллюзія можетъ дойти до глубочайшихъ чувствъ любви и преданности извѣстному имени, до отождествленія всего нравственнаго существа писателя съ переиспытанными впечатлѣніями отъ его таланта, съ общими, не всегда достовѣрными выводами изъ его литературной дѣятельности.

Тогда именно возможны такіе тріумфы, какіе видѣли у насъ Тургеневъ и Достоевскій, естественны поразительно единодушные стихійные взрывы общественнаго мнѣнія. Писатель пожинаетъ плоды *участія* и *сочувствія*, вложенные въ его произведенія, воспринимаетъ отраженія своей *души*, разсѣянной въ творческихъ образахъ...

Гоголь зналъ тайну *этой* славы. Достоинства и успѣхъ своихъ произведеній онъ объяснялъ совершенно согласно съ своей эстетикой: съ его книгами «соединялась» его «собственная душевная исторія». И будто ради художественной живой иллюстраціи идеи онъ изобразилъ трогательную картину русскаго восторженнаго читателя за книгой любимаго автора.

Поэтъ перенесъ свое изображеніе въ бѣдную, нищенскую среду, окружилъ его всей неприглядною прозой нашихъ будней, и все затѣмъ, чтобы въ возможно яркомъ блескѣ показать значеніе писательскаго слова у лучшихъ русскихъ людей. И что́ особенно любопытно, гоголевская картина цѣликомъ перешла въ талантливѣйшую европейскую критику о нашей литературѣ, и тамъ отличительной чертой русскаго искусства признали именно это духовное единеніе автора и читателя, неотразимое *нравственное* дѣйствіе художественныхъ произведеній на душу и умъ юношески-чуткой публики.

Вы помните, съ какимъ трогательнымъ чувствомъ авторъ *Мертвыхъ душъ* говорилъ о «наслажденіяхъ», почерпаемыхъ молодыми сердцами на «свѣтлыхъ страницахъ вдохновеннаго русскаго поэта», помните,—подобныхъ наслажденій, по мнѣнію Гоголя, можетъ быть «не водится и подъ полуденнымъ небомъ», что петербургская вьюга и тьма—единственный въ своемъ родѣ фонъ для мерцающихъ искръ идейнаго свѣта и восторженнаго чувства.

Такъ писалъ авторъ, отнюдь не склонный къ преднамѣреннымъ изліяніямъ, — писалъ по непосредственному внушенію своей писательской натуры, сливавшей въ изумительной гармоніи силу творчества съ неизсякаемымъ источникомъ *участія* и *сочувствія*.

Много лѣтъ спустя французскій критикъ Вогюэ, съ нѣкоторымъ завистливымъ чувствомъ, сравнивалъ общественное положеніе русской литературы и западной. Въ Россіи, «писатель—вождь своего племени», «поэтъ въ древнемъ и полномъ смыслѣ этого слова, vates, поэтъ-пророкъ». Литературное произведеніе—не предметъ моды, магазинной выставки, мимолетнаго повседневнаго интереса, а насущный хлѣбъ для души читателя, фактъ его лич-

наго нравственнаго бытія... И Вогюэ имѣлъ право высказывать эти мысли, приступая къ характеристикѣ первостепенныхъ русскихъ художниковъ. Онъ только не заинтересовался психологической основой оригинальнаго явленія: она именно и составляетъ сущность русской литературы, по крайней мѣрѣ, составляла въ періодъ ея высшаго развитія.

Повсюду, одинъ и тотъ же мотивъ творчества, какъ бы ни различались таланты писателей. Пушкинъ, истерзанный современными условіями, страстно негодовалъ, что родился въ извѣстной средѣ «*съ душой* и талантомъ». Та же душа подсказала ему идею такой же литературной службы родинѣ, о какой мечталъ Гоголь, и великій поэтъ нашелъ смерть въ эпоху искреннѣйшихъ гражданскихъ стремленій и общественно-просвѣтительныхъ задачъ. Его восторженный ученикъ, Тургеневъ вложилъ всю свою душу въ свое творчество и съ молодыхъ лѣтъ произнесъ «аннибалову клятву», послужить своей странѣ борьбой съ ея жестокимъ недугомъ, крѣпостнымъ правомъ. И мы бы могли назвать цѣлый рядъ другихъ, менѣе сильныхъ талантомъ писателей, но не менѣе горячихъ *душою* и, слѣдовательно, дѣятельными гражданскими инстинктами.

И всѣ они—*vates*, поэты-пророки на сценѣ общественныхъ вопросовъ, и ближайшіе друзья, лично дорогіе люди для каждаго отдѣльнаго читателя. Нерѣдко можно встрѣтить людей разнаго возраста, того и другого пола, которые связываютъ цѣлыя эпохи своего нравственнаго бытія съ прочтеніемъ того или другого литературнаго произведенія. Это чаще всего бываетъ въ молодости, но тѣмъ яснѣе духовная сила искусства, его сродство съ чуткими натурами и «безпокойными умами».

Это сродство отнюдь не результатъ какой-либо тенденціи: ни Гоголь, ни Пушкинъ совершенно не были доступны ей. Они, подобно Писемскому, также могли сказать о себѣ, что не становились ни подъ чье чужое знамя, не насиловали своихъ талантовъ ради внѣшнихъ теченій и неизмѣнно слѣдовали внушеніямъ своего генія, но также и своей души. Вотъ она-то и сообщила ихъ произведеніямъ нѣчто, несравненно болѣе мощное и долговѣчное, чѣмъ какая угодно благонамѣренная тенденція. Она въ высокой степени очеловѣчила и воодушевила ихъ созданія, согрѣла ихъ теплотой человѣческаго сердца. Это не преднамѣренный замыселъ, а извѣстный строй самой натуры, одинаково свойственный и даровитымъ, и обыкновеннымъ людямъ. Одинъ и тотъ же предметъ,

въ передачѣ двухъ разныхъ очевидцевъ, принимаетъ совершенно различные, хотя часто едва уловимые оттѣнки. Нѣтъ никакихъ видимыхъ усилій со стороны разсказчика произвести эффектъ, поразить или растрогать, а на слушателей вѣетъ какимъ-то таинственнымъ, влекущимъ дыханіемъ проникновенной правды, будто невѣдомыми путями сообщается имъ чужая нервная сила, и тогда говорятъ: съ какой душой, какъ симпатично, какъ увлекательно ведетъ этотъ человѣкъ свою бесѣду!.. Его хочется слушать не столько по значительности и разнообразію его разговора, сколько по общему, трудно даже выразимому впечатлѣнію.

Таковы и писательскіе таланты. Одинъ можетъ быть необыкновенно силенъ, разностороненъ, блестящъ, другой—скроменъ по формѣ и содержанію, но присоедините къ послѣднему чудный даръ *участія* и *сочувствія*, вы навѣрное затмите его соперника, если не въ строго разсудочной критикѣ и литературной исторіи, то непремѣнно въ кругу читателей, въ области общественной популярности. Одного будутъ любить, ради любви многое прощать и приписывать даже не вполнѣ основательныя достоинства, другого будутъ читать съ холоднымъ любопытствомъ, просмотрятъ крупнѣйшія заслуги его таланта, и безъ колебаній перейдутъ отъ холода къ полному равнодушію, лишь только окажется для этого достаточно сильный, даже случайный мотивъ.

Личность и судьба Писемскаго едва ли не самые яркіе примѣры сравнительнаго безсилія несомнѣнно великаго таланта и незаслуженно жестокой расплаты за совершенно несущественную вину.

Идейныя орудія Писемскаго—здравый смыслъ и національное чувство, вовлекшія его въ близорукую и пристрастную оцѣнку важнѣйшихъ общественныхъ явленій, сами по себѣ не могли бы создать для него столь трагической участи. Доказательство—другой писатель съ такимъ же умственнымъ складомъ. У Писемскаго проявилось съ самаго начала и оставалось до конца другое нравственное свойство, то самое безучастіе, о какомъ Гоголь говорилъ съ такимъ порицаніемъ.

Въ созданіяхъ автора *Тысячи душъ* всегда было много жизни, чрезвычайно правдивой, значительной, но не было солнца, согрѣвающаго пейзажъ, не было напряженнаго трепета человѣческаго существа автора, блисталъ *талантъ* и отсутствовала *душа*. Авторъ все время будто говорилъ читателямъ: вотъ вамъ, читайте мои писанія, а «мое дѣло сторона». Тоже самое и относительно героевъ: ихъ нѣсколько сотъ, авторъ признаетъ ихъ сплош-

ной «дрянью»; это же могъ бы сказать и Гоголь о своихъ дѣтищахъ, но съ одною великою разницей: на языкѣ Гоголя слово «дрянь» звучало бы недоступнымъ для Писемскаго тономъ, сквозь негодованіе и смѣхъ звучали бы слезы и чуялся бы тайный голосъ: «это братъ твой», «любви къ бѣдной душѣ человѣка!»...

Нигдѣ, ни на одной страницѣ Писемскаго мы не уловимъ даже и намека на подобное чувство; напротивъ, авторъ будто испытываетъ особенное удовольствіе очерствить наши впечатлѣнія и лишить своихъ героевъ права на наше состраданіе и снисхожденіе. А если ему и вздумается обратиться къ этимъ мотивамъ, онъ сдѣлаетъ это путемъ логическихъ доказательствъ, юридическихъ и житейскихъ соображеній, обратится къ нашему разсудку, а не къ душѣ и сердцу.

XXXIV.

Шекспировскій Гамлетъ, весь гнѣвъ и отчаяніе, съ особенной силой возстаетъ противъ тлетворнѣйшаго, по его мнѣнію, явленія человѣческаго общества, противъ *кажущагося*, противъ всякой личины, не соотвѣтствующей сущности предмета, его внутреннему содержанію и дѣйствительному смыслу. Писемскій можетъ стоять рядомъ съ датскимъ принцемъ по не менѣе глубокому чувству отвращенія ко всякой поддѣлкѣ и шарлатанству.

У него безпрестанно встрѣчается одинъ и тотъ же пріемъ въ характеристикахъ героевъ и въ объясненіяхъ событій: *два объясненія*,—одно, такъ сказать, для большой легковѣрной публики, другое—для избранныхъ, болѣе проницательныхъ знатоковъ человѣческой натуры.

Напримѣръ, дама деревнѣ предпочитаетъ Петербургъ: существуютъ двѣ причины этого пристрастія, не имѣющія между собой ничего общаго: одна—страстная любовь къ дѣтямъ, живущимъ въ столицѣ, другая—гвардейскій уланъ. Чрезвычайно умный государственный мужъ дѣльно и горячо поражаетъ юныхъ мечтателей, изъ-за чего?—опять два мотива—или изъ совершенно естественнаго негодованія на скоропалительныя фантазіи, или потому, что красавица Софи раздражила его, отвергнувъ его деньги и любовь. Старый слуга приходитъ въ крайнее огорченіе по случаю болѣзни своего барина,—отчего: отъ жалости, неизбѣжной уже въ силу привычки, или отъ страха утратить тунеядную лакейскую жизнь?..

И такъ безъ конца—отъ крупныхъ до самыхъ мелкихъ движеній человѣческой души, отъ рѣшительныхъ событій до ничтож-

ныхъ будничныхъ случайностей,—всюду непремѣнно таится злополучная ложка дегтю, саркастическая стрѣла, несравненно болѣе безпощадная и леденящая, чѣмъ даже мефистофелевская улыбка.

У гётевскаго героя по временамъ является какой-то едва уловимый оттѣнокъ горечи, грустнаго пессимизма и нервнаго разочарованія. Это—духъ, не порвавшій всѣхъ связей съ бренными страданіями смертныхъ, онъ подчасъ производитъ впечатлѣніе острослова, будто кѣмъ-то свыше назначеннаго состоять на роли презрительнаго насмѣшника и жестокаго отрезвителя поэтическихъ душъ.

Мы не хотимъ сказать, будто нашъ писатель—человѣкъ чистой мефистофелевской породы, мы только указываемъ, что его сарказмы и души холодной воды спокойнѣе, уравновѣшеннѣе и даже откровеннѣе, чѣмъ шуточки Мефистофеля. Писемскій не оттачиваетъ тонкой изящной стрѣлы, а дѣйствуетъ въ высшей степени громоздкими снарядами, и тамъ, гдѣ Мефистофель только пронзаетъ извѣстное явленіе, Писемскій расплющиваетъ его до послѣдняго живого мѣста.

Сравните, напримѣръ, вольтерьянскія насмѣшки Мефистофеля надъ любовной тоской Фауста съ разсказомъ о путешествіи Калиновича въ Петербургъ, о встрѣчѣ его съ блондинкой нѣмецкой національности, и позже стремительныя рѣчи Настеньки о женской любви. Остроты Мефистофеля, въ сущности, остаются совершенно безобидными и никакого дѣйствія не оказываютъ ни на Фауста, ни на читателей. Просто—оригинальный взглядъ на любовь, ни для кого не обязательный, хотя и не лишенный интереса.

И рядомъ съ этой игрой словъ—систематическое издѣвательство русскаго автора надъ тѣмъ, чего «не допускается въ романахъ»!—издѣвательство, здѣсь же подкрѣпляемое блестящими художественными сценами и, повидимому, неопровержимыми жизненными доказательствами.

Приключеніе Калиновича съ Амальхенъ уполномочиваетъ автора сдѣлать общій выводъ самаго удручающаго смысла: мужчина особенно способенъ измѣнить любимой женщинѣ, не переставая любить ее «съ прежнею страстью», именно въ первое время разлуки съ ней, потому что «чувства жаждутъ привычныхъ наслажденій»...

Теорію женской любви мы уже знаемъ со словъ Настеньки. И замѣтьте, практика и теорія связаны будто нарочно съ достойнѣйшими, умнѣйшими и сильнѣйшими героями: истины, очевидно не должны подлежать сомнѣнію.

Такова *дѣйствительность* въ той области, гдѣ предполагается особенно законное вмѣшательство романа, т. е. героическихъ и идеальныхъ чувствъ и происшествій.

Писемскій не желаетъ ограничиться такимъ суровымъ результатомъ,—онъ по временамъ станетъ смягчать обстоятельства и оправдывать героевъ, и будетъ производить эту операцію въ высшей степени оригинально. Самое смягченіе и оправданіе, вмѣсто того, чтобы просвѣтлять слишкомъ мрачныя впечатлѣнія читателей, еще больше прибавятъ мрака и весьма двусмысленнаго настроенія, похожаго на отчаяніе.

Гуманные приговоры Писемскаго основаны не на вѣрѣ въ человѣческую природу и сравнительную силу добра надъ зломъ, а въ сущности на самомъ пессимистическомъ принципѣ: что жъ? за что ее или его осуждать,—на свѣтѣ бываетъ и хуже, другимъ сходятъ съ рукъ и не такіе грѣхи и преступленія.

На сценѣ, напримѣръ, изумительно чувственная и развратная особа женскаго пола, настоящая femme-bête—и по грубости инстинктовъ, и по слѣпому безсердечью, и по цинической откровенности натуры. Авторъ изображаетъ всѣ эти мерзости съ невозмутимымъ реализмомъ, повторяетъ по нѣскольку сценъ на одинъ и тотъ же мотивъ, и вдругъ совершенно неожиданно проникается нѣжнымъ чувствомъ къ своему чудовищу и пишетъ такую мораль:

«Катринъ прежде всего недюжинное существо, не лимфа, условливающая во многихъ особахъ прекраснаго пола всевозможныя добродѣтели», и съ другимъ мужемъ, по мнѣнію автора, эта Катринъ «вышла бы вѣрная и нѣжная жена». И это послѣ того, какъ она причинила смерть отцу своей жестокостью до замужества, питалась въ дѣвицахъ романами Поль-де-Кока, какъ «высшей поэзіей»!..

Такъ удачно авторъ вводитъ въ свои изображенія гуманность и снисхожденіе!

Другая героиня, на этотъ разъ жена идеальнаго человѣка и мужа, извѣстнаго намъ масона Мареина, влюбляется въ молодого офицера; мужъ разрѣшаетъ ей эту любовь, и симпатичнѣйшій для автора — докторъ Сверстовъ освящаетъ всю исторію такой философіей:

«Что дѣлать? Законъ природы, его же не прейдеши»...

Соображеніе, конечно, основательное, но оно давитъ нашу мысль удручающимъ холодомъ резонерства. Мы не видимъ ни капли сердечности, поэзіи, красоты женскаго искренняго увлеченія,—всего,

что дѣйствительно смягчаетъ вины и приближаетъ къ нашему сочувствію грѣшниковъ и грѣшницъ. Выходитъ какая-то сдѣлка, гдѣ авторъ устами дѣйствующихъ лицъ по всѣмъ правиламъ бухгалтеріи подводитъ итоги, и преподноситъ намъ въ результатѣ математическую формулу, оставляетъ насъ совершенно равнодушными къ героямъ и не даетъ дѣйствительно жизненнаго и психологическаго освѣщенія фактамъ.

И такъ вездѣ, гдѣ авторъ попадаетъ въ область якобы сердечныхъ построеній и задушевныхъ воззрѣній на ходъ человѣческихъ дѣлъ. Въ одномъ изъ разсказовъ *Русскіе лгуны—Красавецъ*—мы узнаемъ, что «любовь сдѣлала бѣдную женщину даже юристкою», т. е. изощрила ея логическія способности и практическую сообразительность, не измѣнивъ ея чувствъ къ герою.

То же самое можно примѣнить къ самому автору, съ одной существенной оговоркой: гуманное настроеніе дѣлаетъ Писемскаго юристомъ, но совершенно не сообщаетъ ему любви. По поводу той же влюбленной юристки авторъ пускается въ пріятныя, повидимому, для него оправданія женскихъ увлеченій. У героини любовь къ «Красавцу» смѣнилась презрѣніемъ и перешла на другой предметъ,—авторъ замѣчаетъ: «За будущее никто не можетъ поручиться: смѣемъ васъ завѣрить, что самъ пламенный Ромео покраснѣлъ бы до конца ушей своихъ, или взбѣсился бы до-нельзя, еслибъ ему напомнили буква въ букву тѣ слова, которыя онъ расточалъ своей божественной Юліи, стоя передъ ея балкономъ, особенно если бы жестокіе родители не разлучили ихъ, а женили».

Вы видите, авторъ готовъ даже завѣрять васъ въ весьма спорныхъ истинахъ, лишь бы остаться вѣрнымъ особенному способу сглаживать тѣни, выставляя предъ нами еще болѣе густой мракъ.

И это не пессимизмъ въ обычномъ смыслѣ. Писемскій въ личной жизни проявлялъ крайнія эпикурейскія наклонности, въ литературѣ менѣе всего старался провести отчаянный взглядъ на жизнь. Напротивъ, жить слѣдуетъ возможно лучше и возможно дольше, жить хотя бы подобно Катринъ, не насилуя своей природы и не вступая въ борьбу съ темными инстинктами. Въ жизни много хорошаго, прежде всего та же женская любовь и особенно комфортъ: Писемскій умнѣйшаго и даровитѣйшаго своего героя Калиновича гипнотизируетъ комфортомъ, очевидно, сливая въ одно свои личныя вожделѣнія и задачи художественной характеристики...

Нѣтъ, предъ нами не пессимистъ въ смыслѣ системы извѣст-

ныхъ воззрѣній. Даже ипохондрія и озлобленіе послѣднихъ лѣтъ не результатъ принциповъ и взглядовъ, а нервнаго разстройства и оскорбленнаго самолюбія. Предъ нами человѣкъ съ малой любовью, точнѣе, съ ограниченной *сердечной* чуткостью къ жизни и къ людямъ. Какъ это ни кажется удивительнымъ, но таково органическое свойство чисто художественныхъ натуръ.

Необычайно воспріимчивыя къ явленіямъ внѣшняго міра, какъ таковымъ, они болѣе или менѣе равнодушны къ ихъ нравственному смыслу. Есть, конечно, множество степеней чисто-художественной даровитости—отъ Фета до нашего автора,—степеней въ способности вообще воспринимать или наблюдать разныя области явленій, или природы, или человѣческой жизни. Это, такъ сказать, поэтическій вкусъ; отъ разнообразія его не мѣняется самая сущность психологіи.

Фетъ отличался изумительнымъ непониманіемъ общественной дѣйствительности, часто жестокимъ равнодушіемъ или прямой ненавистью къ ея благороднѣйшимъ и гуманнѣйшимъ запросамъ. Пѣвцу «робкаго дыханья» и «трелей соловья» общественныя и даже литературныя отношенія рисовались въ елико первобытной формѣ, полнѣйшаго торжества аристократическаго принципа и всякихъ другихъ привилегій. Поэтъ мало понималъ, потому что, глядя на многое, ничего не видѣлъ. У Писемскаго художественный взоръ неизмѣримо изощреннѣе. Онъ не сталъ бы посвящать своихъ досуговъ сладкимъ звукамъ и идиллическимъ пейзажамъ. Его поэтическая воспріимчивость охватывала громадный горизонтъ людскихъ отношеній, вниманіе сосредоточивалось на человѣкѣ и обществѣ по преимуществу, и, естественно, изъ подъ его пера выходили картины, исполненныя значенія и смысла.

Но было ли для самого художника ясно значеніе и установленъ смыслъ его собственныхъ созданій? Мы видѣли, съ полнымъ основаніемъ можно дать отрицательный отвѣтъ. И теперь мы знаемъ нравственныя стихіи въ личности Писемскаго, сдѣлавшія неизбѣжнымъ именно такой отвѣтъ.

Прежде всего крайне бѣдный источникъ для всякаго рода идей—непосредственный здравый смыслъ, благородная, но для новой русской исторіи слишкомъ узкая основа общественныхъ идеаловъ—національное чувство; это — недостатки ума, міросозерцанія. Они помѣшали автору вдуматься въ движеніе шестидесятыхъ годовъ, съ этой эпохи до конца его дѣятельности—держали его личную мысль и писательскія сочувствія далеко позади современной дѣй-

ствительности, на уровнѣ своего рода старовѣрія и домостроевскихъ идеаловъ.

Писемскій могъ не злоумышлять противъ молодого поколѣнія, и, пожалуй, искренне не считать своего *Взбаламученнаго моря*—памфлетомъ. Тотъ фактъ, что онъ слишкомъ приналегъ на нѣкоторые эпизоды и черты, не представлялъ ничего исключительнаго въ его творчествѣ. Вѣдь признавался же онъ съ своеобразной наивностью, что именно этотъ пріемъ нарочитаго сгущенія красокъ онъ употребилъ въ своемъ лучшемъ романѣ и относительно героя, во многихъ отношеніяхъ близкой его собственной личности.

«Въ продолженіи всего моего романа, — писалъ авторъ *Тысячи душъ*,—читатель видѣлъ, что я нигдѣ не льстилъ моему герою, а напротивъ, всѣ нравственные недостатки его старался представить въ усиленно-яркомъ видѣ»...

Зачѣмъ же, спросите вы, непремѣнно въ *усиленно*-яркомъ видѣ, а не просто въ правдивомъ? Приходится помириться, что у автора особенная наклонность къ подчеркиванію отрицательныхъ явленій, и намъ невольно припоминается удивительный разговоръ двухъ симпатичныхъ героевъ изъ романа *Въ водоворотѣ*. Одинъ доказываетъ такую истину: «Тотъ, кто не хочетъ обманываться въ людяхъ, долженъ непремѣнно со всякимъ человѣкомъ дѣйствовать юридически и нравственно такъ, какъ бы онъ дѣйствовалъ съ величайшимъ подлецомъ въ мірѣ».

Слушатель согласенъ, и оба они, несомнѣнно, снабжены многими личными чувствами автора; напримѣръ, одинъ изъ нихъ, побывавшій въ Европѣ и вывезшій изъ путешествія крайній скептицизмъ на счетъ европейскихъ «людишекъ», явно говоритъ за счетъ самого Писемскаго.

Вотъ, слѣдовательно, господствующая струя въ философіи писателя. Естественно, она должна была, сама по себѣ, независимо отъ тенденціи захватить прогрессивную молодежь. Писемскій чувствовалъ себя по всему складу своей натуры чужимъ среди этой молодежи, и этого чувства совершенно достаточно, чтобы живопись вышла до крайней степени мрачной, «усиленно яркой». Оскорбленное самолюбіе только привходящій, второстепенный мотивъ. Онъ могъ подсказать автору нѣкоторыя отдѣльныя выходки, частные штрихи, вся композиція заранѣе точно предопредѣлена неуклонной логикой личной авторской психологіи.

Но, если бы духовные изъяны Писемскаго ограничились только слишкомъ узкимъ умственнымъ и нравственнымъ кругозоромъ, ре-

зультаты его дѣятельности отнюдь не вышли бы столь прискорбными для его имени. Мы указали на Гоголя, какъ предшественника нашего автора по воззрѣніямъ, не соотвѣтствовавшимъ общему культурному духу эпохи, и видѣли, это несоотвѣтствіе не поколебало высокаго писательскаго пьедестала автора *Ревизора* и *Переписки*. Гоголя спасла сила души и сердца, и она то какъ разъ не одушевляла великаго таланта Писемскаго. Съ культурной ограниченностью идей соединялась чистая художественность натуры. Она одарена изумительной способностью наблюдать и творчески воспроизводить дѣйствительность, но лишена одной незамѣнимой стихіи, свойственной первостепенымъ русскимъ писателямъ и уже давно замѣченной и оцѣненной даже иностранцами: лишена чувствительнаго, точнѣе *сердечнаго идеализма*, въ ней не живетъ безграничнаго *чувства жалости*, придающаго въ глазахъ иностранцевъ столь оригинальный и возвышенный характеръ новой русской литературѣ, она не одушевлена *инстинктомъ всепрощенія*, спасающимъ человѣка среди самыхъ удручающихъ житейскихъ мелочей и пошлостей.

Будь этотъ инстинктъ у Писемскаго, его представленія о новыхъ русскихъ людяхъ неизбѣжно смягчились бы, приблизились бы къ настоящей правдѣ, сердце возмѣстило бы недостатокъ пониманія, все равно, какъ то же сердце внушило Гоголю не мало высокихъ мыслей даже въ эпоху *Переписки*. Онѣ будто свѣтъ съ мглою борется, напримѣръ, въ изображеніи идеальнаго педагога во второй части *Мертвыхъ душъ*, будто молнія прорѣзываютъ угнетенное настроеніе писателя въ трогательныхъ строкахъ о судьбѣ русскихъ идеалистовъ.

Ничего подобнаго не найти въ безучастной душѣ Писемскаго, и до конца ни откуда не являлось къ нему спасеніе отъ невольныхъ недоразумѣній и несправедливостей. Мы говоримъ *невольныхъ* и настаиваемъ на этомъ, потому что все отрицательное такъ же, какъ и положительное въ литературной дѣятельности Писемскаго—прямое слѣдствіе его натуры. Онъ дѣйствительно былъ правъ, что всю жизнь оставался самимъ собой и не склонялся ни предъ какими внѣшними теченіями. *Вообще* это свойство—великое нравственное достоинство—вѣрность себѣ, своей личности, и особенно рѣдкостное, почти исключительное на русской почвѣ... Но, помимо человѣческой личности, существуетъ другая, отнюдь не менѣе законная сила—общество съ его неуклоннымъ историческимъ развитіемъ, и вотъ эта-то сила можетъ самодовлѣющую личность по-

тавить въ самое критическое положеніе. Чѣмъ личность самобытнѣе и устойчивѣе, тѣмъ положеніе неотвратимѣе и тягостнѣе. Именно оно и выпало на долю нашего автора непосредственно послѣ славы...

XXXV.

Нашъ выводъ послѣ подробнаго изученія таланта и личности Писемскаго можетъ быть очень краткимъ и вполнѣ опредѣленнымъ. Мы хотѣли уяснить общественный смыслъ дѣятельности нашего писателя, показать, насколько великъ и проченъ этотъ смыслъ въ нашей литературѣ, мы также разсчитывали установить правильный историческій взглядъ на исключительную судьбу великаго дарованія и оригинальнѣйшихъ созданій Писемскаго среди цѣлаго ряда поколѣній русскихъ читателей. Смѣемъ думать, наша цѣль достигнута.

Для насъ не представляло особенно трудной задачей—показать все богатство именно идейнаго содержанія произведеній Писемскаго, прослѣдить ихъ изумительно краснорѣчивый и высокопоучительный смыслъ для того самого преобразовательнаго теченія, которое должно было унести славу автора. Читатели легко согласятся, болѣе полной, исторически подлинной и художественно-яркой картины дореформенной Россіи нѣтъ ни у одного изъ русскихъ писателей и, можно думать, никогда и не появится. Писемскій навсегда останется единственнымъ лѣтописцемъ стараго русскаго общества и народнаго быта по всесторонности и достовѣрности личныхъ свѣдѣній, по добросовѣстности и неуклонной правдивости ихъ художественнаго воплощенія. Искусство Писемскаго, въ сильной степени благодаря самымъ недостаткамъ его личной натуры, его умственнаго склада, выполнило единственное въ своемъ родѣ назначеніе: слилось съ исторіей и завѣщало потомству документы и свидѣтельства, часто болѣе надежные, чѣмъ чисто-фактическія записки и свидѣтельскія показанія.

Но именно громадная художественная талантливость Писемскаго, безотносительная значительность его литературнаго дѣла выдвинули предъ нами не менѣе важный вопросъ общаго нравственнаго и культурнаго смысла.

Мы могли изобразить цѣлый многолѣтній періодъ дѣятельности писателя, какъ исторію невольной расплаты за свою писательскую и человѣческую личность. Писемскій былъ по своему

правъ, когда начиналъ и упорно продолжалъ вести безпощадную войну противъ новой Россіи: онъ искренне не замѣтилъ, что всѣ стремленія его враговъ, всѣ мотивы ихъ новой дѣятельности, всѣ основы ихъ вражды къ старому и страстной жажды иного будущаго,—что все это можетъ быть вполнѣ удовлетворительно *оправдано* его же собственными произведеніями. Но были правы и тѣ, кто подвергался гнѣву писателя... Не въ разгаръ борьбы соображать о тонкихъ психологическихъ причинахъ недоразумѣнія: въ глаза рѣзко и больно мечутся факты, вполнѣ наглядные результаты авторскихъ настроеній, и воинственный крикъ поднимается подъ вліяніемъ исключительно этихъ данныхъ.

Въ этомъ подъемѣ есть и *общая* доля истины, независимо отъ полной естественности его при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Это—истина не новая и въ сущности не требующая доказательствъ: только по нашимъ временамъ она становится спорной и даже совсѣмъ ненужной.

Исторія Писемскаго доказываетъ, какъ недостаточно для безупречнаго осуществленія великаго призванія писателя однѣхъ художественныхъ силъ, къ какимъ ошибкамъ и настоящимъ паденіямъ можетъ привести даровитѣйшаго автора талантъ, не возвышенный вдумчивой идейной работой и не облагороженный чуткимъ сердцемъ.

Личность Писемскаго, въ результатѣ, не менѣе поучительна для насъ и для самыхъ отдаленныхъ поколѣній, чѣмъ исторически значительно его творчество. Въ его произведеніяхъ читатели вѣчно будутъ находить нелицепріятное объясненіе и, если бы потребовалось,—краснорѣчивѣйшее оправданіе одной изъ благороднѣйшихъ эпохъ нашей исторіи; его личность столь же неуклонно будетъ свидѣтельствовать о незыблемости лучшихъ преданій нашего литературнаго слова, вообще нашего художественнаго творчества: поэтъ-подвижникъ и пророкъ, писатель-вождь и учитель.

ТОГО ЖЕ АВТОРА.

Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII вѣка. Москва. 1895 г. Цѣна 3 р. 50 к.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. Личность. Творчество. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 р

Шекспиръ. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 к.

Цѣна 1 рубль.

Stanford University Libraries
3 6105 124 436 143

PG
3337
P5
Z75

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.